

СОВРЕМЕННОИИК



SOVREMENNIIK

NO. 35—36

ТОРОНТО

СОВРЕМЕННОК

ЖУРНАЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И
НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ

ОСНОВАН ПРОФ. Л. И. СТРАХОВСКИМ
И
В. Л. САВИНЫМ

Главный редактор: Л. Е. Фабрициус
Ответственный секретарь: Г. А. Гидони-Румянцева

Журнал издает Редакционная Коллегия

Благодарю Тебя, Творец, благодарю,
Что мы не скованы лжеудростию узкой,
Что с гордостью я всем сказать могу, я — русский.
Что пламенем одним с Россией я горю.

Аполлон Майков

1977.

NO. 35 — 36

1977.

Торонто

Канада

COPYRIGHT © 1977 BY The "Sovremennik" Publishing Ass'n Inc.

Subscription price for institutions \$15.00 per year.
Individual subscription \$10.00 for 4 issues.
Senior citizens - 20% discount.
Single copy - \$2.50, (double issue - \$5.00).

Make cheques or money orders payable to
"Sovremennik" Publishing Ass'n, Inc.,
9 Garnet Ave., Toronto, Ontario, Canada M6G - 1V6

Sovremennik Publishing Association, Inc.
9 Garnet ave., Toronto, Ontario, Canada. M6G 1V6.

CONTENTS

Contents in English	3
In Memoriam.	5
A.N. Tsvetikoff	7
Igor Chinnov. Eight Poems	11
Leonard Gendlin. 'Half a Century – Executed'	49
M. Mueller-Henning. Poem	50
L. Rossaliani. 'That's The Life'. Short Stories	65
V. Kazakov. Poems	66
L. Fabricius. 'The Comeback'. Novel, Part II	68
A. Guidoni. Poetry	98
E. Tsvetkov. 'Two thousand years later'. Short Story	106
V. Pereleshin. 'A Poem without Subject'	127
A. Guidoni. 'The crucial Days of Pot'ma'. Sketch	154
A. Velichkovsky. Poems	171
V. Seduro. 'Solzhenitsyn and the Tradition of the Dostoevski's Polyphonic Novel	172
G. Rumiantseva. Two poems	179
B. Nartsissov. 'The yellow haired teenager'	181
B. Nartsissov. 'The Chloroform', 'Cards'. Poems	192
A. Druzhinin. 'The History on the pages of the 'Continent'	194
N. Arseniev. 'The 'blossoming' of the Russian Culture at the beginning of the XX Century'	211
The Literary Heritage	
B. Kazakov. 'Zudesnik'	218
G. Panin. 'Encounters with Achmatova'	221
Forum	
A. Shifrin. 'The deadly C/camps'	224
L. Fabricius. Editor's Notebook	226
G. Galin. 'Through the Prism of Time'	229
Our Interviews. (We talk to Mr. U. Samchuk and Mr. K. Akula)	240
V. Ingul. 'The Willowtree'. Poem	250
Letters to the Editor. (K. Tetenov. A. Skuratov)	251
Polemics. (<i>Potencial Utopia – S. Mjuge. Speaking of Utopia – V.I. A. Druzhinin responds.</i>)	256
'October Circus'. (<i>G. Galin, K. Akula, A. Gordin.</i>)	266

Bibliography

- Oleg Bukov. A. Avtorchanov. Enigma of Stalin's Death.*
Kastus Akula. Joseph Mackiewicz. Unnecessary to speak loud.
Alexander Guidoni. Soviet Editions of the Masters of Poetry.
Yuri Grigorov. 'Golos Zarubezhia', fl fl 4 – 6.
Victor Temin. 'Continent' fl 12, 1977.
The Book Shelf 271 – 284
- Ads** 285 – 288
Contents in Russian 289

* * *

One of the best Russian-language journals published outside of Russia, **Sovremennik** is an excellent source of objective information on Russian cultural affairs. It can also be used in teaching as a reading supplement for students majoring in Russian.

The subscription price, for four regular or two double issues, is \$10.00 and \$15.00 per year for universities and libraries.

Subscribe Now. Make your cheque payable to: Sovremennik Publishing Association, Inc. 9 Garnet Ave., Toronto, Ontario, Canada. M6G 1V6.

А.Н. ЦВЕТИКОВ

8 августа сего года скончался в Калифорнии сотрудник "Современника" доктор Алексей Николаевич Цветиков, известный читателям журнала своими рассказами из области фантастики, критическими статьями и стихотворениями (последние появлялись в печати под псевдонимом Ал. Флорина).

Д-р Цветиков был человеком необыкновенно широкой эрудиции, одаренным разносторонними художественными талантами.

Он родился 21 марта 1900 г. в Черниговской губернии. В 1925 г. окончил физико-математический факультет Киевского университета, а в 1928 году – медицинский институт, со званием доктора медицины. В 1936 году он получает степень доктора биохимии при Украинской Академии Наук и работает при Киевском университете, читая лекции по биохимии и физической химии до 1941 года.

Попав в ходе военных событий в Германию, он продолжает научную работу при Институте Кайзера Вильгельма. Эмигрировав в США в 1949 году, д-р Цветиков работает старшим научным сотрудником при Станфордском университете, в Пало Альто (Калифорния) до 1964 года, когда по болезни выходит в отставку.

Выход в отставку не прекратил научной деятельности Алексея Николаевича: он, будучи членом Американского Физического Общества, Американской Ассоциации по Распространению Научных Знаний, Объединения "Сигма-Кси" и Русско-Американского Культурно-просветительного Общества, выступает с лекциями и докладами, пишет научные статьи (по вопросам происхождения тяготения, энергии и материи – из времени!) и является научным консультантом.

Параллельно с этой научной деятельностью он пишет рассказы, критические статьи и занимается живописью и музыкой: композицией и игрой на рояле. Им был сочинен балет: "Призраки" (на тему одноименного рассказа И.С.Тургенева). Алексей Николаевич был вы-

дающим ся художником: в Сан-Франциско устраивались выставки его картин. Они были и фантастическими – в стиле его рассказов, и глубоко прочувствованными лирическими пейзажами – в стиле его описаний природы.

Как поэт, он отразил научную фантастику и реальные достижения космических исследований нашего времени:

Редко на узкую скалу
Всползает шестиногое чудовище,
Шевелящее стеклистыми антеннами на солнце,
Посмотреть в золотую трубу
На ракету – Мертвый Корабль.

Это – из стихотворения "В Долине Голубых Растений", из цикла "В пропастях Будущего".

Будем же помнить, что жил между нами многосторонний ученый и одаренный художник, поэт и писатель!

Борис Нарциссов.



ПГОРЬ ЧШШОВ

1.

Парижская старая пена,
Осенняя серая Сена,
Сырая стена.

И снова – привычное дело,
И снова – прильнувшее тело,
Где мало тепла.

И дождик мерцает над миром,
Над этим болезненным жиром,
Над черным двором.

К холодным отелям-постелям
(По дням, по часам, по неделям)
Под нежным дождём.

И видеть не грусть и не муку,
А грудь и нежнейшую руку
С пятном, где укус.

2.

Даже в полночь – будничный мир.
Скребется не призрак, а мышь.
И в саду кружит не вампир,
А летучая мышь.
– Тоже мышь.
Только мышь.

И печален будничный мир.
Снова дождь и лай или плач.
И вода за стенкой шумит,
С хриплым всхлипом, как плач.
– Тоже плач.
Только плач.

Может быть, мировая скорбь –
Не тоска, не скука, не боль,
И не грустный Богу укор,

А зубная лишь боль.
– Тоже боль.
Только боль.

3.

Остаток лунной пилюли
Липнет к небу и к нёбу.
Прозрачный призрак на стуле
Похож на больную амёбу.

Какая томная гнилость
В мутном воздухе ночи!
Мы знаем, что-то случилось
И с нами, и с миром, и с прочим.

...Две крысы юрко шмыгнули,
В общем, жить неохота.
Совсем, как с лунной пилюли,
Сошла со всего позолота.

Мы что-то поняли в жизни
– Скверный намек прозрачный –
... А призрак (на стуле) – признак
Довольно тревожный, признаться.

4.

Где-то светлый Бог, где-то вечный свет.
Предъявить бы счет, вернуть билет.
Здесь нельзя дышать, мне темно от зла.
Дай мне воздуха, света, тепла.

Но хотя я мучаюсь, маюсь, мечусь,
Я билет вернуть боюсь.
Белкой в колесе... Как рыба об лед.
Предъявить не смея счет.

Ты увидел бы взмах моей руки
Над мерцаньем ночной реки?
Ты увидишь тусклую тень и пятно –
Если выброшусь я в окно?

Я не выброшусь. Я готов стареть,
Чашу пить до конца, молчать, терпеть.
И дождусь. Не будет грусти и мук,
Вместо грусти будет – каюк.

* * *

Живу, изящными уютами
От ужасов отгородясь
(А время капает минутами
В кладбищенскую непролазь).

Живу, любуюсь безделушками,
А вечность тянет, как магнит,
И – пасторальными пастушками
(Как неожиданно!) – манит.

Там даже туча именинница,
Кокетничает с ветерком,
Река целуется, бесстыдница,
С кисельным сладким бережком.

И розовыми хороводами
Пейзанки нежные плывут
В альков с маркизами, милордами,
Маня в изящнейший уют.

Пикник в раю! Сия идеечка
Мне по душе! Адье! Пиф-паф! –
И смерть запела канареечкой,
Остаток зернышек склевав.

* * *

Они, пожалуй, полудики,
Но по-французски говорят.
В глухой столице Мартиники
Муниципальный тощий сад.

Мелькает юбочка цветная,
В бассейне луч на мелком дне
И памятник напоминает
О Жозефине Богарнэ.

И профилем Наполеона
Украшен серый пьедестал.
О, островок вечно-зеленый!
Ты Корсикой, ты Эльбой стал
И, наконец, Святой Еленой –
Как много значат острова!
На Мартинике незабвенно
Звучат забытые слова.

Антильский ветерок струится,
Волнуя слабо цветники.
Креолочка, императрица!
Теперь вы где? вы луч? вы птица?
Ах, все на свете пустяки.

* * *

Помнится, Цезарь сказал: *finis Poloniae*, –
Наполеон: ты победил, Галилеянин! –
Кажется, Гитлер кричал: Отдай мне мои легионы!

Голос (Отелло? Атиллы?): *noli tangere circulos meos!*
Иродиада вопила: надо снести Карфаген!
– Эврика! – крикнул Ахилл, усекая главу Архимеду.

Ах, да не все ли равно, кто когда
Говорил, погибал, завоевывал, бился, губил?
Филистимляне и гунны, Агамемнон, глава Олоферна,
Валериан император с ободранной заживо кожей,
Глава Иоанна. Избави нас, Эммануил!



ЛЕОНАРД ГЕНДЛИН

РАССТРЕЛЯННОЕ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

(Записки Современника).

1976 год.

Спасибо за Долготерпение и Внимание, за чуткость и бескорыстную помощь, за мудрость и понимание.

Привал делать рано, впереди у нас новые горизонты, крутые подъемы, до Вершины еще далеко.

С Тобой, родная, ничего не страшно.
Лидочке — жене и другу посвящаю.

А в т о р .

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ В "СОВРЕМЕННИКЕ" "РАССТРЕЛЯННОГО ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ"

В самые трудные дни моей жизни, я с огромным волнением передаю редакции журнала Русского Зарубежья право первой публикации своей Главной Книги — "Расстрелянное пятидесятилетие" (Записки Современника).

В раннем детстве одна из первых книг, которую мне довелось прочитать, была в красочной обложке бессмертная Поэма Генри Лонгфелло "Песнь о Гайавате" в чудесном переводе И.А. Бунина. А потом в руки попал роман "Гнев Моо-Тони", к сожалению, не помню автора. В этой удивительной книге увлекательно и живо рассказывалось о Канадской Земле и ее людях.

На закрытых просмотрах в Московском Доме кино я увидел несколько документальных фильмов об этой далекой и заманчивой стране. Постепенно Канада прочно осела в моем сердце, как нечто близкое и очень родное.

Сотрудники Канадского радио прислали мне в подарок журнал "Современник". Завязалась дружеская переписка с Э.И. Бобровой, доктором Брунером. Я начал публиковать статьи в "Современнике", в журнале, к которому отношусь с большим уважением и теперь считаю его в какой-то степени своим.

Счастливы, что у меня появились настоящие друзья – Лев Фабрициус, Галина Гидони-Румянцева, Александр Гидони.

Сердце мое переполнено огромной радостью от того, что моя рукопись попала в надежные руки и впервые увидит свет на страницах КАНАДСКОГО "СОВРЕМЕННОКА".

Буду бесконечно признателен читателям за их письменные отзывы.

21 мая 1977 года.

ЛЕОНАРД ГЕНДЛИН.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В Советском Союзе я прожил почти полвека. Из них более тридцати лет отдано любимой профессии – журналистике. Писал для радио и телевидения, сотрудничал в газетах и журналах, по моим сценариям снимались документальные фильмы, редактировал книги и брошюры по искусству.

Десять лет учился в средней школе, занимался в Театральной студии и в университете на факультете журналистики.

Солдат. Военный корреспондент. Участник Второй мировой войны. На Северном фронте, в лесах Карелии получил две тяжелые контузии.

Работал на киностудии "Мосфильм". Был сотрудником Сергея Эйзенштейна по фильму "Иван Грозный". Писал пьесы. Выпустил несколько книг о кино, поэтах и писателях. Сотни часов провел в самолетах, поездах, пароходах. На верблюдах исколесил пустыни Средней Азии, с сахалинскими рыбаками ходил в море на рыбные промыслы. Объездил весь Дальний Восток, Урал, Сибирь, среднюю полосу России, Украину, Белоруссию, Прибалтику...

Встречался с Королевой Бельгийской Елизаветой, Президентами и Премьерами, артистами и писателями, учеными и с церковными иерархами, политическими деятелями и с кинозвездами, художниками и с тюремщиками-психиатрами, которые меня насильно держали в психотюрьме за то, что я хотел с семьей уехать в Израиль.

С девяти лет я начал вести Дневник и вел его сорок лет. Во время командировок я заучивал целые страницы и повторял их как Заклинание.

КНИГА-ИСПОВЕДЬ стала ИДЕЕЙ всей моей духовной и нравственной жизни.

Во время обысков, которые проводили у нас на квартире сотрудники КГБ и МВД, нам пришлось уничтожить часть архива: дневники, записные книжки, фотографии, письма.

Только через сорок лет произошла долгожданная, выстраданная Встреча с Родиной.

20 марта 1972 года мы вступили на ИЗРАИЛЬСКУЮ ЗЕМЛЮ.

С первых дней ИСХОДА я начал осуществлять свою давнюю Мечту.

Свято верю, что Земля Израиля для всех изгнанников-евреев станет на века – ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ.

Б. Д.

ЛЕОНАРДУ ГЕНДЛИНУ

*Трудной откровенности поверьте,
Открывая обожженный век:
Из страны отчаянья и смерти
Возвратился этот человек.*

*Озарен неясностью смущенья,
Подлость атакующий боец
Навсегда обязан возвращеньем
Мужеству безмолвному сердца.*

*Возвратился горестною вестью,
Поколенья мужеству уча,
Как неотвратимое возмездье,
Настигающее палача.*

*И пускай он с виду неприметен, –
Каждый день кого-нибудь
В наш век
Из страны отчаянья и смерти
Возвращает этот человек.*

Москва, 8 марта 1967 г.

Родители.

Мой отец – Гендлин Евгений Исаакович, родился в белорусском местечке Хиславичи. Он рано познал нужду. Пас коров. По утрам бегал в хедер. За невыученные уроки получал шлепки. Мальчиком отправился на заработки в Харьков. Там познакомился со студенчеством, примкнул к со-

циалистам. Как "злостного" сиониста шестнадцатилетнего юношу приговорили к четырем годам тюремного заключения. Срок отбывал в Орловском каторжном централье. В тюрьме ему удалось пополнить скудное образование. После отбытия наказания его по этапу отправили на вечное поселение в Сибирь, оттуда он бежал в Америку. Там основал либеральную газету, занимался преподавательской деятельностью. В круг интересов Е.И. входили еврейская философия, юдаика, сионизм, экономические проблемы, история, русская и западно-европейская литература, В Нью-Йорке отец познакомился с колонией политических эмигрантов, которые отнеслись к нему с большой сердечностью.

Е.И. тепло принял революцию в России. Тогда он не мог предвидеть трагедию, которая в скором времени разыграется на его родине. Неожиданно пришло письмо от В.И. Ленина (Ульянова) с предложением вернуться в Россию.

Трудно порывать с Америкой, страной, которая дала кров, образование, независимость, любимую работу, свободу.

Недолгие сборы.

Грустное прощание с друзьями и товарищами.

Через месяц пароход доставил родителей в город Владивосток.

Моя мать – Белла Исааковна Гуревич, родилась на Украине в местечке Лысая Гора, Херсонской губернии. Она всеми силами стремилась в Россию.

Е.И. работал в периодической печати. Его статьи публиковались в центральных газетах и журналах, а также в журнале Общества Политкаторжан "Каторга и ссылка".

В 1924 году наша семья по просьбе А.В. Луначарского переехала на постоянное жительство в Москву. Е.И. работал в Госиздате и в издательстве "Работник просвещения", был одним из организаторов Института "Красной профессуры", читал лекции в Московском университете, имел звание профессора и научную степень доктора экономических наук. В 1926 году в Госиздате вышла его книга "Записки рядового революционера", переведенная на многие языки мира.

В Москве мы жили на Покровке в доме Политкаторжан. Е.И. был активным членом этого общества.

В январе 1930 г. нам предоставили отдельную трехкомнатную квартиру в Сиротском переулке. Там мы прожили спокойно восемь месяцев. В том году произошли события, которые наизнанку вывернули мою детскую душу. Как-то вечером отец пришел домой очень расстроенный. За ужином он сказал:

– Вчера застрелился Владимир Владимирович Маяковский!

Е.И. хорошо знал Маяковского, человека со сложным и неуравновешенным характером. Находясь во Франции, в последней заграничной командировке, поэт чувствовал, что над его головой сгущаются тучи. Ведь не секрет, что Сталин не любил Маяковского, как и всех, у кого была малейшая популярность. Вернувшись из Парижа, Владимир Маяковский в тот же день зашел к Е.И. в издательство, а потом они вместе приехали к нам.

Их разговора я не слышал. Только помню, как из кожаного коричневого портфеля поэт достал свои книги и на каждой сделал теплую надпись.

На территории бывшего Донского монастыря было воздвигнуто мрачное, серое, для того времени монументальное здание – крематорий. Огромный двор страшного заведения был переполнен. Сюда пришли не только почитатели поэта.

На похороны Маяковского отец взял только меня. К нам подошел высокий, худой человек. Он легко взял меня на руки, прижал к себе. Его длинные тонкие пальцы нежно гладили нервное, испуганное тельце ребенка. До конца кремации Борис Леонидович Пастернак держал меня на своих руках.

До сих пор не могу забыть страшную процедуру сжигания, гроб, из которого выглядывали огромные ступни ног. Когда гроб с телом Маяковского автоматически стал опускаться в пылающую ярко-оранжевую печь, я истерически закричал. Тотчас же Борис Леонидович вынес меня из крематория.

Обеда дома не получилось. Есть никто не мог. Вытирая кружевным платком пот со лба, Пастернак глухо проговорил:

– Боюсь, что Россию ждут невиданные в истории потрясения.

Отец и мать промолчали.

12 сентября 1930 года отец приехал домой во втором часу ночи. Мама его спросила:

– Почему так поздно? Что случилось?

Е.И. долго молчал, ему не хотелось расстраивать любимую женщину. Мама не унималась, она продолжала допытываться:

– Женечка, родной, скажи, что произошло? На тебе нет лица, ты весь посерел.

Отцу пришлось сдаться.

– Меня вызывал Ярославский (1). Он подробно интересовался моей службой в Америке, спрашивал, что я делал в Палестине, Японии, Китае, Владивостоке. Предложил назвать фамилии и адреса близких друзей и товарищей. Спрашивал и про тебя, в каких американских фирмах ты работала, чем занималась в Австрии и в Аргентине. Затем он сказал, что я исключен из Общества Политкаторжан и намекнул на то, что в самое ближайшее время мне придется искать другую работу...

Ночью Е.И. поехал к Луначарскому.

– Дорогой Евгений Исаакович, – сказал он, – вы добрый, хороший человек, но бойтесь этого псевдореволюционера. По своей структуре Ярославский отчаянный трус, антисемит и ярый юдофоб. За ним водятся немало грешков. Уверен, что этот рафинированный шовинист непременно станет академиком и в скором времени начнет нас всех поучать окриками. К сожалению, я бессилен в борьбе с Емельяном. На вас кто-то написал донос. Мы живем с вами в смутное время. Постарайтесь уничтожить компрометирующие бумаги. Но я вам ничего не говорил, и, простите меня, не давал советов...

В полночь 27 сентября в квартире раздался требовательный стук в двери. Е. рубашке я выбежал в коридор, где уже находились перепуганные

мама, тетя, сестра. Дворник, татарин Хаким, просил открыть двери "для приехавшего начальства". Мама открыла. В квартиру ворвались работники ОГПУ. Они предъявили ордер на обыск. До самого рассвета черные посланцы рыскали по комнатам. Что они пытались найти, вряд ли известно и самому Господу. Они перерыли огромную библиотеку, на куски рвали старинные переплеты редчайших книг, веревками перевязывали папки, в которых хранилась личная переписка отца, автографы, рукописи, дневники, статьи. Когда наступила скорбная минута прощания, я громко крикнул:

– Не смейте забирать моего папу! Он хороший человек!

Здоровенный чекист приподнял меня и с силой отбросил к окну. Я ударился головой о батарею. Из правого виска пошла кровь. От обиды и боли я бросился на ненавистных людей. Но что мог сделать семилетний ребенок?

Отца увезли на черном вороне. Из окна мы услышали рев мотора.

Нашей семье разрешили свидание с Е.И. Измученная мама сказала, что папа находится в Бутырской тюрьме. Наступил долгожданный день. Как я радовался, что увижу доброго, любимого отца, который в жизни никого не обидел. На свидание мама взяла сестру и меня. С нами поехала тетя Анна. Туда же приехали папины сестры.

Огромная Бутырская тюрьма. Стена шириной в полметра, высота в несколько метров. Крошечная калиточка обита кованым железом. Большой, вместительный зал. Сотни людей. Шум, крики, плач. Из-за гула голосов ничего нельзя разобрать. Рослый военный один раз с кафедры выкрикивает фамилию. Если кто-то прозевает, повторно не вызывают, свидание считается аннулированным. Подошла наша очередь. Расталкивая толпу, мы бросились к перилам ограды. Кругом молчаливые, равнодушные, насупившиеся часовые-монументы с ружьями наперевес. Деревянная черная стена разделена на двенадцать кабинок, каждая из которых имеет небольшое оконце. Мы предупреждены, что свидание продлится всего лишь **д е с я т ь м и н у т**. Раздался пронзительный звонок. По узкому коридору гуськом проходят заключенные. Руки они держат за спиной. Снова плач, стоны, причитания, слова прощания, клятвенные обещания Веры и Любви.

Резкий окрик:

– Свидание окончено!

И снова тот же монотонный, гнусавый голос:

– Всем выходить на улицу! Не задерживаться! Не разговаривать!

Мы хорошо знаем, что мы не одни. Ежедневно на свидания в российские, бескрайние тюрьмы приходят легионы жен, невест, матерей, сыновей. Многие в черной траурной одежде, которую они будут носить до конца своих дней...

Э Т О Б Ы Л О Т О Л ь К О Н А Ч А Л О . . .

На долгие годы в наш дом пришли траур, голод, нищета. Мы с сестрой разучились смеяться. Дома разговаривали вполголоса, а чаще шепотом. Почти все наши знакомые были арестованы. Многие, пройдя через нечеловеческие пытки, сошли с ума, покончили жизнь самоубийством или

же расстреляны, Я не знаю ни одного политкаторжанина, которые сегодня остался бы в живых.

Мы принялись за уничтожение "крамольных" книг. По совету друзей в первую очередь сожгли первое собрание сочинений Ленина и книгу-хронику американского журналиста, коммуниста Джона Рида "Десять дней, которые потрясли мир".

1). Ярославский { Губельман) Емельян Михайлович, (1878–1943).

Член ЦК ВКП(б), секретарь партколлегии.

Я – сионист!

Опустел наш гостеприимный дом. Иногда заходил неутомимый путешественник Исаак Эммануилович Бабель. Он, как мог, успокаивал маму. Придумывал для нее веселые истории, приносил конфеты, дарил книги. Помню его рассказы, наполненные трагическим юмором, про знаменитого одесского жулика Беню Крика.

Мы были рады посещениям жизнерадостного Корнея Ивановича Чуковского, который изредка навещался из Ленинграда в Москву. Приходил и Борис Леонидович Пастернак. Он приносил продукты для папы, помогал нам материально. Его приезды не были случайными. Он подолгу сидел у нас. Я очень любил слушать его игру на рояле.

Особым праздником для всех нас были наезды Анны Андреевны Ахматовой. Она приезжала без предупреждения, прямо с вокзала являлась к нам с авоськами, корзинками, саквояжем, в недрах которых всегда были вкуснейшие "ахматовские" пирожки, печенья собственного изготовления, орешки, шоколад. Хотя сама Ахматова жила трудно и напряженно, Анна Андреевна любила повторять:

– Я готовить не люблю и не умею.

В нашем доме царил дух еврейства. В конце 1918 года отец шесть недель провел в Палестине. Там он познакомился с Владимиром Жаботинским. Они подружились и стали переписываться. В 1921 году во Владивостоке под редакцией Е.И. вышел литературно-художественный Альманах "Наедине с Мечтой", посвященный палестинскому еврейству, с предисловием Жаботинского. В этом Альманахе Е.И. напечатал большую статью "Палестина – Обетованная Земля". В кабинете отца над письменным столом висели портреты поэта Х.Н. Бялика и В. Жаботинского.

По субботам у нас собирались гости. Приходили ученые, артисты, художники, писатели. Помню, как артист Московского Художественного театра Василий Иванович Качалов читал стихи Бялика в переводах Вяч. Иванова, В. Жаботинского, Ф. Сологуба, Ю. Балтрушайтиса. Каждая строка поэта хватала за душу, щемила сердце.

Я увлекся Бяликом. Он стал для меня родным и близким. С наслаждением выучивал целые страницы его вдохновенных строк, хотя не все понимал.

Во время обыска книги по юдаике, более трех тысяч томов, были вывезены сотрудниками ОГПУ и, конечно, канули в неизвестность. Я лишился любимого Бялика, Еврейской энциклопедии на русском языке, произведений Абрама Эфроса, которыми очень дорожил. Узнав о моем горе, Борис Пастернак принес мне в подарок томик стихотворений и поэм Бялика. Я с ними не расставался даже ночью, книга всегда лежала под подушкой. Она согревала мою истерзанную душу.

Во мне начала просыпаться, может быть, еще не до конца осознанная любовь к еврейству, подрепленная чтением книг Шолом-Алейхема, позднее – Менделя-Мойхер Сфорима, Переца, Шолом Аша. Эти книги мама брала в библиотеке. Она не успевала их менять, я их буквально проглатывал. По субботам стал ездить в синагогу, хотя обрядов не знал. Нужна была отдушина. В канун праздника Пасхи члены Общины давали мне бесплатно мацу, которую я бережно приносил домой. По воскресным дням меня пропускали на спектакли Еврейского Камерного Театра.

30 июля 1931 года мне исполнилось восемь лет. Пришли родные и друзья отца – Б. Пастернак, И. Бабель, О. Мандельштам с какой-то дамой, М. Зощенко, А. Ахматова, С. Михоэлс, В. Мейерхольд, И. Москвин, В. Качалов, А. Коонен, А. Таиров. Эти люди знали, что праздничного ужина не будет. Они пришли по велению сердца, и тем самым выразили свой протест, связанный с изоляцией отца. Мы с сестрой Элеонорой получили чудесные подарки. После чая меня попросили что-нибудь продекламировать. Я прочел стихотворения Бялика "У порога" и "Вечер". Всеволод Эмильевич Мейерхольд поцеловал меня. Потом он подошел к заплаканной маме и тихо сказал ей:

– После окончания школы ваш сын должен поступить в театральную студию. У него от природы прекрасная дикция. Я начну с ним заниматься два-три раза в месяц, если вы не будете возражать.

Мама благодарно кивнула.

Ночью я ее разбудил. Волнуясь, глотая слезы, проговорил горячим шепотом:

– Mamочka, на вечные времена моим учителем будет не школа, а Бялик!.. – рыдания не дали говорить...

Мама и тетя старались найти слова успокоения. Но я твердил свое:

– Теперь я знаю, что нам надо делать! Нам не нужна Москва! Не хочу жить в России! Как только папа вернется из тюрьмы, мы уедем в Палестину. Папа говорил, что там евреев не обижают, и что мы, евреи, должны жить только на своей земле.

Сколько раз мы с сестрой говорили маме:

– Зачем вы с папой вернулись в Россию?

Свою сокровенную Мечту я пронес через десятилетия. Горжусь тем, что в восьмилетнем возрасте мог назвать себя – с и о н и с т о м, и никогда не изменил своим идеалам.

Поруганное детство.

Я переступил порог школы, которая помещалась в двухэтажном деревянном здании. Когда-то здесь находилась ветеринарная лечебница. В

классх на стенах висели засиженные мухами портреты вождей: Ленина, Сталина, Рыкова, Бухарина, Калинина, Зиновьева, Каменева, Томского и др., кажется, работы художника Юрия Анненкова.

Классным руководителем у нас была учительница Ольга Лукинична Крякина. Никогда не изгладится из памяти первое знакомство. Топая большими ногами, в класс вошла высокая, широкоплечая женщина, насквозь пропахшая жареным луком и дешевой махоркой. Внимательно оглядев притихших учеников, она назвала мою фамилию. Я встал. Она спросила:

– Где работает твой отец?

Смутившись, сказал, что папа находится в длительной командировке, а мама работает в артели, чистит фитили для керосинок. Ребята дружно рассмеялись.

– Я тебя не спрашиваю про мать! В данный момент нас интересует твой отец, который является врагом советской власти, он шпион и вредитель, и за это его посадили в тюрьму.

– Вы говорите неправду! Мой папа честный человек! – слезы заволкли лицо. Я крикнул: – Вы сами вредители!

Надо было видеть лицо Крякиной. В классе воцарилась угрожающая тишина. Учительница побледнела. Схватив в охапку раскрытый портфель, набитый бумагами, Ольга Лукинична рысью помчалась в учительскую. Через несколько минут в класс влетели разъяренный директор школы Петр Иванович Пролыгов и маленькая, толстенькая, с короткой шеей, похожая на сдобный пирожок, Сара Бенционовна Рапопорт – педолог.

Пролыгов – молодой выдвиженец, сельский коммунист, образовательный ценз которого состоял в том, что он умел читать по складам, кое-как распсыиваться и виртуозно ругаться.

– Я сама с ним разберусь, – прокудахтала С.Б. Она цепко схватила меня за руку и, не выпуская, потащила в свой кабинет. Ее небольшая комнатка была увешана диаграммами, лозунгами, плакатами, фотографиями. Оглушенный, я тихо присел на самый край предложенного стула. Рапопорт резким движением сорвала телефонную трубку. После длительного разговора она повернулась ко мне:

– Ну, Коля Спиридонов, давай знакомиться? Надеюсь, что мы станем друзьями?

– Вы ошиблись? Меня зовут Леонард, а фамилию, конечно, помните?

– Мальчик, ты всегда перебиваешь взрослых? Андрей, давай серьезно разговаривать.

Я возмущенно повторил:

– Вы меня с кем-то пугаете. Повторяю, меня зовут Леонард.

– Ну хорошо, согласна, возможно ты и прав, пусть будет по-твоему. Иногда надо уступать, сегодня я тебе, завтра – ты мне. Ты читать умеешь? Что такое изложение, знаешь? Диктанты писать умеешь? Какие у тебя отметки? Назови фамилии товарищей с кем ты дружишь? В какой тюрьме сидит твой отец? Твою мать еще не арестовали? Ты хотел бы жить в детском доме?

Во время монолога эта маленькая женщина все время облизывала сухим языком бескровные губы. Говорила она быстро, захлебываясь, проглатывала слова. Без переводчика невозможно было понять такую скороговорку. Воспользовавшись паузой, я сделал попытку ответить хотя бы на один из ее многочисленных вопросов, но С.Б. снова перебила:

– Мне все ясно! Пусть срочно придет ко мне твоя мать.

– Мама много работает, ей даже некогда спать.

– Буду рада, если вместо нее зайдет отец. Ладно, так и быть, я позволю матери на работу, выясню ее платформу, поговорю с секретарем партийной ячейки, возможно, и с председателем артели.

Рапорт (1) задавала вопросы и сама тут же на них скоропалительно отвечала. Это не дружеский шарж и не злая карикатура, а страшная действительность.

Когда я выходил из школы, мне навстречу попался директор. Я сделал вид, что его не заметил. Пролыгов, словно рассерженный бык, бросился на меня. Обезумев от боли, не помня себя от ярости, я укусил его в указательный палец. Здоровенным крестьянским кулаком директор ударил меня в бок.

Врач велел две недели лежать в постели. Меня навестил заведующий учебной частью нашей школы Натан Захарович Софроницкий (2). Мы его уважали за порядочность и большую культуру.

Медленно проходило выздоровление. В "храм науки" возвращаться не хотелось. Не успел переступить порог школы, как дежурная учительница попросила срочно зайти к директору. В кабинете у него находились военные. Запомнил одну фамилию – Парамонов. Он задавал вопросы:

– Скажи, мальчик, откуда твоя мама знает заведующего учебной частью вашей школы Софроницкого?

– Мама не знает завуча, – сказал я.

– Ты говоришь неправду! Софроницкий был у вас дома! А тебе известно, что он вредитель, мы его арестовали, он находится в тюрьме, как и твой отец. Напиши нам все, что ты о нем знаешь и думаешь!

– Писать о Софроницком ничего не буду. Я видел его всего три раза. К нам он приходил один раз, справлялся о моем здоровье.

После ареста семейный руль перешел в руки матери. Она хорошо владела английским и испанским языками. Мы считали, что мама легко найдет работу. Но уже в те годы в отделах кадров любой, самой незначительной организации поступающему на работу необходимо было заполнить громоздкую анкету и подробно ответить на вопросы. Написать, что нет мужа – нельзя: один телефонный звонок в милицию, и ложь раскрыта. А семью надо кормить, мужу посылать посылки, детей поднимать на ноги, платить квартирную плату.

С трудом маме удалось получить место машинистки в "Химимпорте". Она печатала техническую документацию на английском и русском языках. Через три месяца ее вызвали в отдел кадров. Бесстрастным голосом заведующая сообщила об увольнении. Все было ясно – ж е н а д е п р е с -

С и р о в а н н о г о .

Маму приняли в артель рабочей-надомницей – чистить и обрабатывать фитили для керосинок. Наша квартира пропахла керосином и бензином, руки не отмывались месяцами. Чтобы заработать несколько рублей на хлеб, мы все трудились с раннего утра и до позднего вечера. Опять поступала беда. Арестовали председателя артели Хаима Райзмана. Началась проверка "социального" положения рабочих и служащих артели. В первую очередь уволили маму. Снова, в который раз, замаячила улица. Мы боялись нарушить паспортный режим. Неработающего в любую минуту могли выселить из Москвы. После долгих мытарств, просьб и унижений мама устроилась младшей машинисткой в московский энергетический институт им. Молотова, где проработала до самого начала Второй мировой войны.

Боясь конфискации имущества, мы оптом начали продавать уникальную библиотеку отца. Ведь книги по юдаике уже были увезены! Ежедневно приходили букинисты и спекулянты-перекупщики. Много книг приобрел лысый и очень толстый "пролетарский" поэт Демьян Бедный (Придворов). Покупали и друзья – Пастернак, Бабель, Чуковский, Зощенко, Ахматова. Мама стеснялась брать у них деньги.

Мы приобрели пишущую машинку "Ундервуд". Мама стала брать работу на дом. Мы с сестрой по очереди ей диктовали. Я научился печатать и часто по ночам облегчал ее каторжный труд. Кроме того, нелегально сдавали комнату, папин кабинет. Среди наших жильцов был ответственный секретарь газеты "Москау Ньюс" – Лев Лазаревич Нехамкин, уроженец Харбина. Он приносил мне марки, дарил цветные карандаши, открытки, книги. В его комнате всегда стоял нежный запах ароматных духов. Он элегантно одевался, имел персональную машину. В 1937 году Нехамкин таинственно исчез. Потом стало известно, что газету "Москау Ньюс" закрыли как "шпионский центр". Сотрудников, включая курьера, уборщиц, шоферов, секретарей, отправили в отдаленные места рубить лес, выкорчевывать пни, строить дороги.

Родственники репрессированных получали паспорта на срок от одного до трех месяцев. Те, кто их лишался, обязаны были в 24 часа покинуть пределы Москвы. За время "чисток" органы милиции выселили из столицы более двух миллионов человек.

Для того, чтобы один раз в два месяца отправить отцу посылку (потом он был лишен и этого права), нам приходилось выезжать за 101 километр в город Александров. Билет стоил дорого. Железная дорога еще не была электрифицирована. Поезд шел один раз в сутки и всегда переполненный. Посадка убийственная, в основном через окно. Кроме билета проводнику надо дать на "чай". Найдешь местечко – счастливчик. Люди спрессованы задами, спинами, животами. От густого махорочного дыма стоит непроницаемый туман. У некурящих слезятся глаза. Особенно тяжело беременным. Мужики на них кричат, скрюченными пальцами указывают:

– Ишь, пузо стервы распустили, упрятать не могут!?

– Зачем брюхатых баб в вагон пуцают? Лучше б на полатях сидели!

Джентльменства здесь нет. Мужчины занимают нижние полки. Женщи-

ны, подростки, старухи, старики, и инвалиды устраиваются на вторых и третьих – багажных полках или же на смрадном полу. Только бы доехать! У всех большие корзины и деревянные ящики-сундуки с продуктами и нательными вещами. В пути никто не разговаривает, каждый думает о своем горе. Здесь воруют, убивают, насилуют. За одно слово могут выкинуть из вагона. Зимой и летом окна закрыты. От зловония нечем дышать. Пять часов, еле передвигая конечности, шлепает по путям почтовый поезд. Он останавливается на всех промежуточных станциях и полустанках. Конечная станция – город Александров. Толпа, сметая все на своем пути, несетя на почту, которая размещена в развалившемся от сырости деревянном домике. Очереди длинные, иногда приходится стоять несколько суток. Если паспорт просрочен, то можешь идти на все четыре стороны. У такого человека посылки не принимаются. С подростками вообще никто не разговаривает. Работницы почты – усталые, замученные женщины, ничего не могут изменить. Они вынуждены не обращать внимания на многоликое, повседневное горе. Посылки тщательно проверяются сотрудниками НКВД – жесткими, безжалостными, ко всему безразличными людьми.

Наступили зимние школьные каникулы. Ударили крещенские морозы.

В России празднование Рождества /Нового года/ на протяжении многих лет советской власти было подпольным. За елки – тюрьма, ссылка, каторга. Бывали случаи, когда арестовывались целые семьи вместе с пришедшими гостями. Запрет был снят, кажется, только после 1938 года.

Мы, группа ребят десяти-двенадцати лет, решили навестить своих отцов и матерей, томящихся в концентрационных лагерях без права переписки, без имени и рода. Прежде, чем отправиться в путь, нам предстояло узнать где они находятся – название, номер полевой почты и, главное – местонахождение.

Президентом страны был Михаил Иванович Калинин, бывший тверской металлист. Посетителей он не принимал. Покой его охраняли сотрудники карательных органов и солдаты специального военного подразделения.

В приемной номинального царя России вежливо сообщили, что Михаил Иванович с детьми вообще не разговаривает. У него для этого нет времени. Я заплакал, начал кричать. Охрана постеснялась сражаться с ребенком. Случайно в приемную зашел сутулый старик с пепельно-седоватой бородкой клинышком, в пенсне. Он был похож на старого козла. Калинин подошел, положил руку на мое вздрагивающее плечо, участливо спросил:

– Что тебе нужно, мальчик? Зачем ты пришел сюда?

– Мы давно не имеем от папы писем, мы не знаем, где его искать? А мне так хочется увидеть его хотя бы одним глазком!

Калинин подозвал сотрудника, тот записал мою фамилию и адрес. Потной рукой я протянул президенту листочек бумаги, вырванный из школьной тетрадки, на котором были выведены печатными буквами девять фамилий родителей моих товарищей, терпеливо ожидавших меня на улице.

Насупившись, Михаил Иванович строго отчеканил:

– Мальчик, ты должен знать, что любой гражданин Советского Союза имеет право хлопотать только за одного себя!

Не попрощавшись, Калинин направился в свои покои. Повидимому, я для него стал потенциальным врагом.

Три часа пришлось ждать. Наконец появился сотрудник приемной. Говорил он внушительно, медленно, старался растянуть каждое слово. На всякий случай еще раз переспросил мою фамилию, имя, отчество; осведомился, есть ли у меня паспорт. Он сказал, что папа находится в Соловках. Пропуск смогу получить "в порядке исключения", на основании их письма, в Ленинграде. Родители моих товарищей сидят в "исправительно-трудовых лагерях" Карело-Финской АССР – ББК НКВД СССР (3).

Осторожно прячу в ранец копию письма, на котором стоит жирный штамп и круглая гербовая печать.

Мы заранее начали подготовку к свиданию. Каждый из нас отвечает за определенный участок. Одни собирают окурки, сушат табак, затем его спрессовывают в брикеты и набивают гильзы; другие выскивают чистые хлебные корки, пригодные для сухарей. В столовых и на фабриках-кухнях выпрашиваем подсолнечное масло; старые тряпки вымениваем у торговков на рынке, взамен получаем лук, чеснок, фасоль, муку, крупу. Собранное "продовольствие" делится на равные десять частей.

Наступило время отъезда. Нас никто не провожает. Ночью мы собрались на Ленинградском вокзале. Мы уговорили проводников общего вагона, чтобы они нас бесплатно довели до Ленинграда. Торговались упорно и долго. Их сердца растопила бутылка водки.

На другой день в одиннадцать часов утра поезд подошел к Московскому вокзалу. Было холодно. Хотелось есть. Мы берегли каждую копейку. Сын профессора Ройзмана, Алик (4), попросился домой, в Москву, к маме. Уговорили его замолчать.

До Смольного добрались пешком. Нужно было попасть на прием к первому секретарю Ленинградского областного комитета партии – Кирову. Это нам посоветовали родственники.

Молоденький охранник куда-то позвонил. Тотчас же перед нами вырос дородный начальник. Сытость его выпирала. В ответ на нашу просьбу встретиться с Кировым, он разразился диким хохотом, и так долго ржал, пока лицо его не покрылось испариной.

Мы перестали бояться. Страх навсегда покинул наши души.

Я показал бумагу, полученную в приемной Калинина. Сытый начальник ушел. К нам подошел человек исполинского роста с огромной черной бородой, расчесанной надвое – гроза Ленинграда, один из начальников ОГПУ Медведь. Мы сказали, что нам необходимо встретиться по очень важному делу с Сергеем Мироновичем Кировым. Огромный Медведь разразился таким же диким хохотом, как и его подчиненный. Ведь яблоко от яблони падает совсем рядом. Раскатистый смех-воплъ нарушил патриархальную тишину Смольного. Ржание оборвалось. Медведь подтянулся. К нам приближался Сергей Киров. Коренастый, выше среднего роста, с приятным открытым лицом, не сказав ни одного слова, он нам был симпатичен. Одет просто: гимнастерка синего цвета, галифе, сапоги, отливающие зеркальным блеском.

Мы находились еще в том возрасте, когда трудно было дать конкретное определение человеческим поступкам. Через десятилетия стало известно, что руки Кирова, как и всех советских вождей, обгарены кровью ни в чем неповинных людей (5).

У Сергея Мироновича Кирова не было своих детей, возможно, поэтому он так тепло отнесся к невзгодам "чужих" детей.

– Здравствуйте, юные товарищи! – улыбаясь, проговорил хозяин бывшего Петербурга.

Мы хором ответили на приветствие.

– Если пришли в Смольный, значит, есть серьезное дело?

Киров пригласил нас к себе. Я обратил внимание, что Медведь проводил нас налитыми кровью глазами.

Просторный светлый кабинет. На стене – большая географическая карта города и области. В золоченой раме портрет Ленина.

– Ребятки, поудобней рассаживайтесь! Небось, проголодались? Что, прямо с вокзала ко мне, в Смольный?

Мы кивнули.

Киров снял телефонную трубку:

– Дора Абрамовна! Говорит Сергей Миронович. У нас гости из Москвы, десять человек. Пожалуйста, организуйте чай с бутербродами, только принесите побольше!

Высокая, красивая, голубоглазая женщина накрыла на стол. Она принесла чай, целую гору бутербродов с маслом, икрой паюсной и зернистой, колбасой копченой и вареной, сыром, ветчиной. На отдельном блюде возвышались пирожки разных сортов, халва, шоколадные конфеты. Многие из нас впервые увидели ломтики тонко нарезанного лимона.

– Перед завтраком, ребятки, – сказал, улыбаясь, Киров, – полагается как следует вымыть руки.

Нас проводили в туалет. Горячая и холодная вода, махровые полотенца, необычная обстановка растопили наши надломленные души. Когда сели за стол, я тихо сказал:

– Сергей Миронович! Наши отцы и матери находятся в исправительно-трудовых лагерях Карелии и Соловков. Вы знаете, что заключенных кормят плохо. Разрешите нам взять эти бутерброды, фрукты и сладости с собой, чтобы отдать нашим родителям?

Наступила долгая пауза,

Нахмурившись, Киров молча ходил по кабинету. Тишина нарушалась только скрипом его сапог. Он энергично снял телефонную трубку:

– Срочно попросите Лазуркину! Дора Абрамовна, еще раз беспокоит Сергей Миронович. Нашим юным гостям предстоит длительная, тяжелая дорога. Прошу срочно подготовить десять индивидуальных пайков на пятнадцать суток за счет обкома партии. Детей также необходимо одеть. Достаньте на вещевом складе или попросите у военных товарищей валенки, теплые варежки, шерстяные носки – десять комплектов. Срок исполнения – два часа.

Киров попросил секретарей, чтобы его ни с кем не соединяли по те-

лефону. После завтрака началась откровенная беседа. Каждый из нас называл фамилию и коротко говорил о своих осужденных родителях. Когда очередь дошла до меня, Сергей Миронович сказал:

– Ты, мальчик, можешь гордиться своим отцом. Я с ним встречался несколько раз. Евгений Исаакович один из самых образованных людей, которых я знал. Передай ему от меня привет. Скажи всем, кого там увидишь, что скоро, совсем скоро наступит такое время, когда в нашей стране не будет ни тюрем, ни лагерей.

Алик Ройзман, вытирая слезы, тихо спросил:

– Скажите, когда мой папа вернется домой?

Вопрос Алика повис в воздухе.

Нам показали Ленинград, а вечером отвезли на вокзал. Там голубоглазая женщина из секретариата Кирова вручила каждому бесплатный литературный билет на поезд в оба конца, пайки с продовольствием, теплые вещи и немного денег.

В дни XX съезда КПСС я встретился со старым членом большевистской партии, делегатом съезда Дорой Абрамовной Лазуркиной, которая когда-то работала в секретариате Кирова. Это он с ней говорил по телефону, просил обеспечить нас, детей политкаторжан, сухим пайком и теплыми вещами. Это она провожала нас в глухую и неведомую Карелию. Меня поразил облик этой женщины. Высокая, худая, словно высохшее дерево. Седая, лысеющая голова. Бледное лицо, запавшие горящие глаза, синие губы, ни одного своего зуба и непрерывно куращая. А ведь я ее знал другой: красивой, обаятельной, голубоглазой и еще белозубой.

Хочется выть от того, как **меняет людей социалистический строй!**

Когда я напомнил Лазуркиной, что видел ее в кабинете Кирова, Дора Абрамовна как-то странно улыбнулась.

Я читал в газете ее выступление, "отредактированное", "приглаженное" и сокращенное. Вот что она рассказала:

– Я поехала на дачу в Сестрорецк. Там узнала о злодейском убийстве Кирова. Сомнения не давали покоя. Мозг сверлила одна мысль – "Кому это нужно было?". Кирова в России любили. Он пользовался большим авторитетом. К нему одинаково хорошо относились рабочие, крестьяне, интеллигенция.

На попутной машине вернулась в Ленинград. Таких торжественных похорон я никогда не видела. Гроб выносил Сталин. Весь город был оцеплен войсками НКВД, конной и пешей милицией. Три дня въезд и выезд разрешался только по специальным мандатам.

Первым секретарем областного комитета партии назначили Андрея Александровича Жданова. С его приходом стали исчезать люди. И среди них мои друзья, товарищи по революционной борьбе. Меня перевели в отдел агитации и пропаганды. Когда арестовали Марту Казимировну Оранскую-Лившиц, я записалась на прием к Жданову. В одно мгновение раскрылся облик этого холодного, мрачно-злого нелюдима-человеконенавистника. Я напомнила ему, что Марту и меня в партию рекомендовали Надеж-

да Константиновна Крупская и Елена Дмитриевна Стасова. Засмеявшись, Жданов показал оскал крупных лошадиных зубов.

– Слушайте, Лазуркина! – прокричал он. – Не советую становится поперек дороги нашей партии, иначе плохо будет! Вы скоро все меня узнаете! Такой хорошенькой женщине не пристало заниматься пустячными интригами. Идите, продолжайте работать. Прежде, чем что-то предпринять, советую лишний раз как следует подумать.

В отчаянии я написала личное письмо Сталину. После этого несколько успокоилась.

21 февраля 1935 года арестовали моего мужа, штурмана торгового флота. Меня взяли в здании обкома партии через месяц – 22 марта. В одиночной камере Большого дома на Литейном проспекте (6) просидела три месяца. В товарном вагоне совершила "путешествие" в Москву. Допросы продолжались на Лубянке. Там же состоялось вторичное знакомство со старшим следователем Николаем Горчилиным. Он когда-то работал в нашем обкоме. Был тихим, робким, бесшумно-застенчивым инструктором отдела кадров. Затягиваясь папироской, он проговорил сквозь зубы:

– Лазуркина, нам известно, что ты состояла в заговоре против товарища Кирова. Но ты пошла еще дальше, стала одновременно готовить покушение на жизнь товарищей Иосифа Виссарионовича Сталина и Андрея Александровича Жданова.

Я нервно рассмееалась. Придя в себя, гневно сказала:

– Горчилин, как вы смеете со мной так разговаривать? Я еще до октября 1917 года вступила в ряды большевистской партии и никогда не отступала от своих принципов и убеждений.

Следователь Горчилин не дал договорить. Я получила страшный, ошеломляющий удар в челюсть. Обливаясь кровью, выплюнула на пол выбитые зубы. От второго, не менее страшного удара, лишилась сознания. Очнулась в одиночке. Побои продолжались по ночам. Я потеряла счет времени. Хотелось умереть. В каторжных условиях это не так просто. Однажды следователь привел ко мне в камеру заключенного. Лохмотья с кусками кожи висели на нем, словно растянутые веревки. Лицо и тело в струпьях, чесоточных волдырях, кровоточащих нарывах. Он был почти обнаженный. Ко мне приближался живой труп. От чудовища несло мертвечиной. Мне стало страшно. Капли пронизывающего ледяного пота вызвали дрожь. От тошноты и человеческого зловония закружилась голова.

– Лазуркина! – улыбаясь, проговорил накрахмаленный, надушенный, чисто выбритый Горчилин. – Ну, дорогуша, хватит ломаться, строить из себя недотрогу. Или же ты подписываешь протоколы допросов и мы твое дело передаем в суд, или же вот этот сифилитик, находящийся в последней стадии, приговоренный к высшей мере наказания – расстрелу, будет тебя сегодня иметь всю ночь? Хотя терять тебе нечего, ты ведь все равно давно уже не девочка?

По знаку следователя сифилитик, что-то бормоча себе под нос, стал медленно приближаться, вытянув руки вперед. На несколько дней меня покинуло сознание.

Девятнадцать лет я просидела в тюрьмах и лагерях. Мужа моего расстреляли, он посмертно реабилитирован. Дети умерли в детской политической спецтюрьме в Караганде. Ездил туда два раза, копалась в архивах – следов их обнаружить не удалось. Даже фотографий не осталось. Помню, что дочку звали Катенькой, а сыночка – Севой.

Лазуркина задумалась. Прошло минут сорок. Она залпом выпила стакан кипичного чаю. Потом, словно от забытья – очнулась:

– Извините, трудно и страшно вспоминать омытые кровью десятилетия, свою трижды р а с с т р е л я н н у ю ж и з н ь. Но я обязана говорить...

Со мной в лагере последние три года сидела Ната Селиверстова. Ее муж работал личным шофером Кирова. По ночам, лежа на нарах, мы часами шептались, отводили душу. Это единственное, что можно было. Молодая женщина рассказала, как был убит Сергей Миронович. Николаев, обвиненный в троцкизме, в него не стрелял. Кирова убили по приказанию Медведя и еще каких-то, неведомых мне лиц. За три дня до убийства в Ленинград приехал Сталин. Возможно – двойник. Этому товарищу партия не доверяла с первых дней.

– Мой Петя, – сказала Ната, – случайно услышал разговор Сталина с Медведем. Иосиф Виссарионович "проговорился", что Киров собирается его ликвидировать.

– Я знала, – продолжала Лазуркина, – что Медведев послал секретное письмо Сталину, в котором писал, что Киров собирается совершить политический переворот в стране с тем, чтобы захватить власть. Письмо печатала на машинке моя близкая приятельница Белочка Развозова, к которой был равнодушен Медведев. Она умерла от воспаления легких на этапе под Тайшетом. Говорили, что она сошла с ума.

Кирову подменили пальто, он куда-то торопился. Стрелять приказали новобранцу Горликову. За несколько минут до убийства на письменном столе Николаева раздался телефонный звонок. Его попросили спуститься вниз, принять срочный пакет. В пальто ему подложили заряженный револьвер. Мы все считаем, что режиссером этого зловещего "с п е к т а к л я" был Сталин. Николаев, Горликов, Селиверстов и еще 9997 человек, как я потом узнала, по приказу Сталина были р а с с т р е л я н ы.

И вот теперь, во времена наступившей оттепели, я могу о прошедшем времени говорить только в тиши гостиничного номера...

По своей наивности Дора Абрамовна Лазуркина не понимала или не хотела понимать, что в гостиницах Союза Советских Расстрелянных Республик магнитофонная сеть работает без обеденного перерыва – к р у г л о с у т о ч н о ...

Мы разъехались по отделениям и лагерным пунктам. Мне одному пришлось добираться до Соловков. Ботинки спрятал в мешочек, одел валенки. На станции Кемь сделал пересадку. Рабочий поезд довез меня почти до самого Попова острова. Около пересыльного пункта познакомился с возчиком, перевозившим почту. Нам предстоял долгий путь по снежно-ледя-

ному полю. Белое море у Карельского берега и у Соловецких островов замерзает в зимние месяцы на десятки километров. Мы сделали привал. Туманную ледяную мглу освещал обыкновенный, тусклый, дорожный фонарь. Перекусили черный хлеб с солью. За трапезой возчик разговорился:

– Ты, мальчик, не смотри на меня, что я так скверно одет. Поверь, что у каждого заключенного, которого ты увидишь, имеется за плечами большая жизнь.

Бывший человек мечтательно вздохнул:

– Я – Корн Исаак Маркович (7), профессор, доктор медицины. Здесь нахожусь восемь лет. В лагере мне не всегда доверяют. Когда начальство серьезно заболевает, тогда величают доктором, называют по имени-отчеству, просят оказать необходимую медицинскую помощь и не гнушаются советом заключенного-врача. Приедешь домой, перечитай басню Крылова "Волк и журавль".

Из коробки я достал бутерброды. При виде их Исаак Маркович заплакал:

– Милый Леня, я голоден и не в состоянии отказаться от такого королевского лакомства. Прости меня! Спасибо, родной, Когда ты вернешься в Москву, постарайся найти мою жену и дочь, передай им привет, скажи, что я честный человек и ни в чем не виноват...

На рассвете мы подъехали к зоне. Вот они, тени-очертания Соловецкого монастыря. Древние, выдавшие виды монастырские башни оцеплены рядами колючей проволоки. Кругом смотровые будки. Часовые с пулеметами охраняют "врагов" народа. Мощные прожектора непрерывно освещают некогда "божественную" территорию. По ночам с цепи спускают злых, откормленных псов.

Предписание Кирова не произвело должного впечатления на начальника охраны Овезова и коменданта лагеря Ещенко. После долгих расспросов начальник отделения Фрол Кузин разрешил свидание на одни сутки.

Два охранника с пристрастием проверяли содержимое мешка и коробки с продуктами. Меня раздели. Нижнее белье просматривалось на свет. Швы распорили. Через лупу исследовали задний проход и другие интимные места. После столь "приятной" процедуры меня повели на рабочий двор. Отца узнал сразу. Он пилил дрова. Я бросился к нему. Стужа с замерзающими слезами мешала говорить. Из горла вырывались хриплые междометия. Рыдание сотрясало душу и тело. Охрипшим голосом я крикнул:

– Папочка! Хороший мой, наконец-то я тебя нашел!

Папа, мой папа, обросший, усталый, седой, еле передвигая ноги, обнял меня заскорузлыми, покрытыми волдырями руками. Из мешка я достал шерстяные носки – подарок добросердечной Анны Андреевны Ахматовой. Увидев их, один стрелок зло процедил:

– Работать надо, жидовье, говно собачье! А не то живо отправлю в карцер. А ты, паразит, – обратился он ко мне, – давай сюды носки вонючие!

– Будя тебе мальина пугать, зверюга проклятый! – проговорил второй

стрелок (8). – Постыдился бы паренька, ведь у тебя, скотина, тоже сыны имеются!

– Я на тебя, пахло, рапорт напишу! – пригрозил, шиня, первый стрелок.

Их диалог нарушил старший конвойный, начальник караула Рахматулин:

– Начальник отделения разрешил заключенному Гендлину односуточное свидание с последующей отработкой.

...Монастырь. Огромные сводчатые залы для моления были превращены в комнаты барачного типа. Каменный пол. Двухэтажные нары без перегородок. Длина зала более двухсот метров. В одном помещении "проживает" 1200 человек. У отца "место" на "втором этаже". Из постельных принадлежностей – прогнившая солома. Баня – один раз в месяц. Бритье не разрешалось. Кормили два раза в день. (В последующие годы, после нескольких смертных случаев, которые не удалось скрыть, режим изменился. Кормили три раза в день, баня была два раза в месяц). Подъем летом в пять часов утра, зимой – в 5.15. После проверки пятиминутный туалет. Завтрак – пайка черного хлеба, вареная брюква, соль, кипяток. Рабочий день начинался в 6 часов утра и заканчивался зимой в 6 часов вечера с 30-минутным перерывом на обед, состоявший из дурно пахнущей баланды, ржавых килек или тухлой рыбы с неизменной брюквой, иногда заменявшейся мороженой картошкой в шелухе. В "свободное" время читать и писать не разрешалось. За малейшую провинность – карцер. В те годы Соловки считались лагерем самого страшного режима.

Товарищи отца помогли забраться на наш этаж. Мы легли, тесно прижавшись друг к другу. Папу интересовала наша жизнь, жизнь без основного кормильца. Разве я мог ему сказать, что мы голодаем, что меня в школе и во дворе мальчишки называют "вредителем", "шпионом" и другими прозвищами; что мама с утра и до поздней ночи, не разгибая спины, вынуждена сверхурочно печатать, что мы продаем книги, что каждые две недели надо идти на поклон к начальнику милиции, что почти все знакомые от нас отвернулись, что мы с сестрой забыли, что такое смех и что такое радость, что мама поседела, что у нее болят глаза, что она часто в одиночестве плачет? Я старался ободрить отца, говорил, что дома все хорошо, рассказал про встречу с Кировым, про его привет, про внимание и сердечность настоящих друзей – Бабея, Пастернака, Чуковского, Зощенко, Ахматовой, Мейерхольда, Коонен, Таирова, Михоэлса.

Ночью по ногам пробежало темное существо. Я испуганно вздрогнул. Это была огромная крыса. Ее голодные, злые глаза сверкнули фосфорическим блеском.

Отец глухо проговорил:

– Крыс, сыночек, здесь больше, чем людей. Не обращай на них внимания. Изнуренных, больных, измученных – они съедают заживо.

Вдруг раздались дикие выкрики, хохот, площадная ругань. Спящие с трудом подняли усталые головы. В помещение ворвалась толпа охранников во главе с пьяным начальником отделения и ленинградским "знакомым" по Смольному, Медведем (9).

– Сволочи, хриstoppодавцы, жиды! – оралы они во всю глотку. – Вредители проклятые! Всем раздеться наголо! Стать смиpно! Не шевелиться! Руки поднять вверх! – зарычал Кузин. – Кто скажет слово, тому пушу пулю в задницу! – рявкнул Медведь.

Раздалась команда начинать обыск.

Здесь, в мире рабов, ОНИ были полновластными хозяевами и распорядителями судеб десятков тысяч людей. Они имели право миловать и убивать, бить и терзать. Это была их – б е з о т ч е т н а я в о т ч и н а.

Охранники на совесть перетряхивали нехитрые пожитки эзков. Четыре часа стояли на каменном полу обнаженные люди.

Шатаясь, Медведь подошел к нам:

– А ты, сволочь, смотри у меня! У, дерьмо, щенка твоего сразу приметил. В Смольный, сука, пролез? Я ему покажу товарища Кирова!!

Сердце не выдержало оскорблений. Я крикнул срывающимся голосом:

– Сергей Миронович сказал, что скоро закроются все тюрьмы и лагеря, и что все мамы и папы вернутся домой, а вас посадят в тюрьму.

Испугавшись, отец зажал мне рот заскоруждой рукой. Глаза Медведя наливались бешеной злобой.

– Убрать этого гаденыша! Подождите, суки, мы и до товарища Кирова когда-нибудь доберемся. Не ему устанавливать порядки в России! Мы ему покажем, где раки зимуют! Мы вам, сволочам, покажем наш рабоче-крестьянский кулак!

И п о к а з а л и . . . а Запад десятилетиями м о л ч а л . . .

У Медведя начинался очередной припадок эпилепсии Подчиненные увели хрипящего зверя с закатынными глазами.

Рано утром я простился с отцом. Мы оба не сумели подавить охватившее нас волнение.

Добрый доктор Корн через день ездил за почтой. Он узнал, что мне предстоит добираться пешком до железнодорожной станции, и уже поджидал меня за зоной. Полуобмороченные лошади с трудом едва тащили сани. На горизонте показалась радуга северного сияния. Когда мы проехали километров пять, появилась стая волков. Корн привык к такому эскорту. Волки, как и люди России, были голодны. Они бежали рысцей, все время набирая скорость. Почувствовав опасность, лошади понеслись, выбиваясь из последних сил. На всякий случай доктор зажег дорожный фонарь.

– У волков хорошая зрительная память, – грустно проговорил старый доктор. – Они давно уже меня приметили, и каждый раз бегут за нами. Когда не будет сил, они съедят меня вместе со старушкой Матильдой и тихоней Викой.

На память Корн подарил мне самодельную зажигалку:

– Пусть этот скромный амулет станет для тебя символом радости...

В железнодорожной кассе Кемского вокзала билетов на поезд не оказалось. Замерзшими руками я достал из кармана рваного пальто литерное предписание. Дежурный по станции, человек с усталыми от бессонницы глазами, повел меня к начальнику поезда. Меня посадили в купе проводников плацкартного вагона. Простые русские женщины напоили чаем с

вишневым вареньем, уложили на мягкий матрац, по-матерински, с причитаниями, накрыли двумя одеялами.

Через двое суток я был в Москве.

На другой день к нам пришли родственники и друзья отца. Я не только рассказывал, но и показывал скучными изобразительными средствами встречавшихся на моем пути различных персонажей: доброго и внимательного, немного наивного доктора-возчика Корна; Кирова; голубоглазую Дору Абрамовну Лазуркину; шипящего Медведя; разбойников-стрелков; товарищей отца по соловецким нарам.

За чаем Бабель сказал:

– Леонард, ты обязан вести дневник. Записывай как можно больше. К сожалению, все надо тщательно прятать. Верю, что ты сумеешь написать книгу о своем поруганном детстве.

Исаак Эммануилович молча допил стакан чаю, потом продолжил прерванную мысль:

– Три писателя, три художника, три гуманиста могли бы осветить наше горемычное время: Гомер, Шекспир, Пушкин. А трагико-комический роман, конечно, создал бы бесстрашный господин Рабинович, неунывающий оптимист и жизнелюбец Шолом-Алейхем. Но их давно уже нет на свете.

Бабеля никто не перебивал. После паузы он снова заговорил:

– То, что нам поведал сегодня этот повзрослевший мальчик с седеной, – **более, чем страшно**. Что может быть ужаснее, чем безропотное молчание сотен тысяч людей?

– Согласен, что возмутятся многие, – проговорил мягко Борис Леонидович Пастернак, – но где и кто напечатает про эту щекотливую тему?

Бабелю и Пастернаку ответила Анна Андреевна Ахматова:

– За малейшую антисоветскую пропаганду – тюрьма, лагерь, ссылка и, говорят, – расстрел. Многие писатели и поэты давно уже перестали быть искренними и потеряли свое лицо, свою индивидуальность.

Никто не спорил. У всех было подавленное настроение.

Осип Эмильевич Мандельштам, человек с грустными библейскими глазами, прочитал несколько стихотворений. Огромное впечатление произвел на меня его "Фазтонщик".

После зимних каникул пришлось снова пойти в ненавистную школу. С молчаливого согласия учителей травля продолжалась. Занимались мы в третью смену, с 16.30 до 22.30.

Однажды мальчишки старших классов затеяли драку. Жертвами стали мои товарищи по классу – Гриша Тыгер(10), Юра Фарбер(11), Роза Кацман(12), Борис Бриташицкий(13). Около ворот, в куче мусора, валялся ржавый железный лом. Я его схватил и стал им вращать. Некоторые мальчишки получили сильные удары, остальные, струсив, убежали.

В школе меня больше никто не трогал.

О злополучной драке узнали директор Пролыгов и его вездесущий адъютант-оруженосец Сара Бенционовна Рапопорт, которая продолжала проявлять ко мне нездоровый интерес. Брызгая слюной, коротышка-педо-

лог кричала на мою маму:

– Ваш сын зверски избивает русских детей. Представьте себе, что он железным ломом ударил по голове сына помощника председателя Москворецкого райисполкома? Мы обязаны его отправить в колонию для малолетних правонарушителей. Он же профессиональный убийца!

1. Рапопорт С.Б., подруга Р. Землячки и друг С.Орджоникидзе. В годы гражданской войны работала на Северном Кавказе. Во Владикавказе, Алагире, Моздоке, Нальчике она самолично пытала и расстреливала людей. Арестована в 1937 году.

2. В 1937 году в Читинской каторжной тюрьме Софроницкому Н.З. ампутировали руки. Он умер от гангрены. Жена его, пианистка, Бела Наумовна Кац умерла в ссылке от дистрофии. Их сын Альберт погиб под Сталинградом. Дочь Изабелла выслана в Казахстан, в город Семипалатинск. В Москву не может вернуться – потеряла право на жилую площадь.

3. Беломорско-Балтийский комбинат НКВД СССР.

4. Профессор Ройзман расстрелян в 1938 году. Его сын Алик умер от истощения в детской колонии в Караганде.

5. Киров по приказу Льва Троцкого (Бронштейна) и по согласованности с В.И. Лениным (Ульяновым) вместе с Чугуновым принимал самое активное участие в расстреле бастующих, умирающих от голода астраханских рабочих.

6. Главная ленинградская тюрьма. В настоящее время оборудована по последнему слову техники: с подвалами, одиночками, пыточными камерами.

7. Жена профессора Корна – Фрида Наумовна Корн-Вихновская, была арестована вслед за мужем. Ее осудили на 10 лет. Дочь Рину отправили на "лечение" в Вятскую (г. Киров) психиатрическую больницу, где содержатся хроники. Там она потеряла рассудок, умерла в 1957 году. Фамилия лечащего врача-психиатра – Забродина Лариса Павловна.

8. Меня разыскал пенсионер А.С. Промыслов, который работал стрелком ВОХРа в Соловках. Он передал фотографию отца и его записи, которые послужили основным материалом для главы "Моя Одиссея".

9. Не мог предвидеть Филипп Медведь, что он когда-нибудь станет каторжанином, что будет сидеть в одиночке Соловецкого монастыря, что уголовники выбьют ему глаз, что от цинги у него выпадут зубы, что его вместе с женой расстреляют, а их сын Миша, честный, хороший парень, долгое время будет скитаться по колониям, тюрьмам и концентрационным лагерям строгого режима.

10. Тыгер погиб под Бухарестом в 1944 году. Его отец, крупный биолог, расстрелян в 1938-ом. Мать умерла во время этапа. Брат и сестра – студенты консерватории, четыре года находились в психиатрической больнице в Белых Столбах (Подольский район, Московская область). Они на всю жизнь остались инвалидами. Высланы навечно в Тамбовскую область. Были прикреплены к колхозу "Новая Заря".

11. Фарбер – врач-терапевт. Во время "дела врачей" исключен из чле-

нов КПСС. Выслан в Казахстан. В 1957 г. вернулся в Москву. В 1973 г. подал заявление на выезд в Израиль.

12. Кацман отчислена из консерватории. Работала долгое время проводником дачных поездов. Ее мать, астроном Пулковской обсерватории, была арестована в 1949 г. Отец – ответственный сотрудник Совета Министров СССР, повесился на работе в уборной. Роза вскрыла себе вены, умерла, не приходя в сознание. Муж от нее отказался. Ребенок воспитывается в детском доме.

13. Бриташинский погиб в Берлине 3 мая 1945 года.

Психиатрический изолятор.

В первых числах января 1935 года в нашу квартиру постучал соседский мальчик Виктор Гутальников. Я был один дома. Ничего не подозревая, открыл двери. Без приглашения в коридорчик протиснулись две женщины и один мужчина. С "проникновенной речью" ко мне обратилась седая, исполинского роста усатая дама:

– Мальчик, мы приехали за тобой на автомобиле, чтобы отвезти тебя в самый лучший детский санаторий. Нам известно, что твоя мама целыми днями занята на работе и за тобой некому присмотреть. А в санаторных условиях под наблюдением опытных педагогов и врачей ты сумеешь продолжить учебу.

Вначале я растерялся. Придя в себя, сказал, что без мамы никуда не поеду. Тогда мужчина схватил меня за руку. Я вырвался, побежал в уборную. Пришельцы взломали двери. Дядя достал из кармана тугой белый шнур, которым обычно хозяйки перевязывают белье для прачечной. Женщины вдохновенно ему помогали. От чрезмерных усилий у одной дамы, которая говорила речь, сползло пенсне и упало, разбившись на мелкие кусочки. Троица силой вытащила меня из квартиры, втолкнула в карету "скорой помощи". Мои рыдания их не тронули.

Через полчаса меня ввели в приемный покой детской психиатрической больницы имени Кашенко. Адрес: Москва, Загородное шоссе, напротив Даниловского кладбища. Не правда ли, какой заманчивый вид открывается детскому взору? Меня измерили, взвесили, остригли наголо, вымыли, затем повели в третье отделение, где окна с решетками находятся под самым потолком, деревянные столы и скамейки привинчены к полу, еда подается в мисках, пищу надо есть гнущимися ложками. Отделение состоит из шести палат, двух врачебных кабинетов, ванной, процедурной. Также имеется изолятор.

Маму увидел через три недели. Она хотела забрать меня домой, сказала врачам, что я совершенно здоров и что в домашней обстановке мне будет гораздо легче переносить временное отсутствие отца. Разговор с доктором происходил на улице, потому что врачи боялись сестер, а медицинские сестры – врачей. Заведующая отделением Фаня Яковлевна Кацнельсон (I) мягко проговорила:

– Белла Исааковна, вы настоящая мать. Вам единственной я обязана сказать правду. Ваш сын Леонард действительно абсолютно здоров, никаких отклонений от нормы. Консилиум признал его нормальным ребенком. Но я ничего не могу сделать. У нас имеется предписание держать вашего сына на строгом режиме до особого распоряжения. Основание – сын репрессированного. Но это сугубо между нами.

Мама заплакала. Сдержанность ее покинула.

Фаня Яковлевна продолжала:

– Пожалуйста, не волнуйтесь! Обещаю приложить все усилия, чтобы Леонард не отстал от школы.

Сестры и санитарки – сущие ведьмы. За малейший проступок – побои, наказание – изолятором. Запирали в крошечную, без света и окон холодную комнату, где кроме привинченной койки ничего не было. Кормили плохо. Меню однообразное: каша, селедка, рыба, рубленые котлеты, солянка из кислой капусты и кусочков жесткого, как подошва, мяса.

Быт – бесправно-унизительный.

Борис Левит учился в музыкальной школе. Его родители отбывали срок в дальневосточных тюрьмах: отец – в Читинской, мать – в Благовещенской. Как-то вечером, медицинская сестра Маргарита Гусева – ширококостная женщина лет 45-ти, попросила красивого тринадцатилетнего подростка зайти в процедурную. Через некоторое время оттуда раздался душераздирающий крик. Мы бросились спасать товарища. Двери оказались запертыми. Санитарки и сестры пытались загнать нас в палаты. Но не так легко справиться с разбушевавшимися подростками. Мы все-таки прорвались в процедурную. На полу в кровавой луже лежал избитый Боря Левит. Мы осторожно перенесли его в палату. Ночью он рассказал нам о том, что произошло в процедурной.

– Я думал, что сестра хочет дать лекарство. Она велела раздеться и лечь. Сказала, что сделает безболезненный укол. Я лег на кушетку. В это время Гусева скинула халат, сбросила трико и голая повалилась на меня. Я закричал. Придвигаясь ко мне, Маргарита Ивановна зашептала: "Иди ко мне, миленький, хорошенький! Не бойся тетю Риту, я научу тебя любви, и за это вкусно, вкусно буду тебя кормить..." У нее как-то странно блеснули глаза. Я испугался. Стал вырываться. Маргарита Ивановна схватила ножницы и острый нож. Она злобно прошептала: "Я тебя все равно поймаю и сделаю тебе обрезание!" После этих слов она дико захохотала. На столе лежала коробка с медицинскими инструментами, понял, что в ней мое спасение. Я схватил ее и изо всей силы бросил ненавистной бабе в лицо. Озверев от боли, Гусева повалила меня на пол, стала наносить удары и топтать ногами.

После этой печальной истории Гусеву повысили в должности. Ее ввели в состав партийного бюро и назначили заведующей моргом больницы Кашенко.

В Москву приехал немецкий писатель Лион Фейхтвангер с дружеским визитом. Ему показали достопримечательности советской столицы и новозелли в Подмосковье. В Кремле с ним беседовал Сталин. Фейхтвангер за-

интересовался лечением детей, больных нервным расстройством. Любопытство привело его в детскую психиатрическую больницу им. Кашенко, в наше третье отделение.

Няньки, сестры, врачи целыми днями мыли и скребли стены, натирали полы. В палатах и коридоре появились ковры и ковровые дорожки, на кроватях – новые, стерильной белизны простыни и шерстяные верблюжьи одеяла. Нам выдали пижамы и даже носовые платки – роскошь, доселе невиданная. Состоялось знакомство с "врачами", которые неумело носили новенькие накрахмаленные халаты, Это были работники НКВД. Они проводили с нами многочасовые "репетиции", давали уроки "хорошего тона": как вести себя и, главное, **К а к** отвечать на вопросы знаменитого писателя-антифашиста.

Накануне визита Фейхтвангера старую мебель заменили новой. В отделение привезли плетеные качалки, игрушки, книги, журналы, настольный бильярд. Впервые за всю историю больницы на окнах зашелестели ажурные тюлевые занавески. Мы с удовольствием погружались в мягкие удобные кресла, с любопытством рассматривали замечательные картины русских художников, полученные из музея на временное пользование. Вместо огромного обеденного стола появились миниатюрные столики, накрытые разноцветными скатертями. На полотняные салфетки дежурные няньки поставили хрустальные вазы с фруктами и вазочки с шоколадными конфетами.

Наступил "великий" день.

Наши глаза заблестели при виде зернистой икры, ветчины, копченой рыбы, осетрины, семги, балыка, холодного мяса, голландского сыра, жареных кур. Общий восторг вызвали бутылки с лимонадом, шампанским, портвейном, кагором.

Рябой "доктор" Губин злобно прошипел:

– Предупреждаю, на столах ничего не трогать! Угощение только для гостей.

Как все это похоже на сцену из романа Диккенса "Оливер Твист", когда в приют с многочисленной оравой приезжает попечитель "отведать" приютскую пищу.

В нашем богоугодном заведении нам не приходилось жаловаться на отсутствие аппетита – каждодневно ощущали мы в своих желудках волчий голод.

7 января 1937 года в двенадцать часов дня главный врач больницы Каганович со свитой (2) пришел в наше отделение встречать именитого гостя. Фейхтвангера сопровождали: заместитель народного комиссара здравоохранения Каминский (3), писатели Алексей Толстой (4), Ольга Форш (5), Лев Кассиль (6). Нас всех поставили по стойке "смирно", слово нам предстояло идти на парад молодых дарований. Высоких гостей пригласили к праздничному столу. Писатель, улыбаясь, сказал:

– Я буду рад, если сначала позавтракают дети, а я в это время сделаю несколько снимков.

Губин смешался. Это не было запланировано. Вероятно, он начал в

уме подсчитывать убытки. Оставалось только надеяться на нашу воспитанность.

Мы ринулись к столам. Дружно заработали ложками, вилками, ножами – столы мгновенно оказались пустыми. Мы выпили всю воду и вино, и подобрали крошки от нежно-хрустящего хлеба.

– Меня радует, – проговорил Лион Фейхтвангер, – что больные дети так хорошо питаются и содержатся в таких замечательных условиях. Должен сказать, что ваша страна все больше и больше притягивает к себе западный мир, который о вас, фактически, так мало знает.

Алексей Толстой молча курил неизменную трубку. На его одутловатом бабьем лице ничего нельзя было прочесть. Он только присутствовал. Наступило неловкое молчание.

Мы не знали, что интеллигентный, воспитанный, всегда выдержанный Саша Пятаков знает немецкий язык. Мальчик крикнул на чистейшем немецком языке:

– Господин Фейхтвангер! Не верьте им! Это для вас устроили оригинальный маскарад. Скатерти, икра, конфеты, вино, картины, кресла-качалки – только ради вашего приезда. Мебель, салфетки – тоже специально для вас. Декорацию и бутафорию привезли вчера. Мужчины – работники НКВД. Посмотрите внимательно, и вы увидите, что под халатами у них спрятаны мундиры и револьверы...

Губин истерически закричал:

– Сейчас же заткните мальчишке глотку! Воткните ему в задницу сульфазол! (7).

Нам, несчастным, обездоленным детям, нужен был только повод. Горе и безжалостная судьба расстрелянного поколения объединила нас. Мы взорвались. Стали срывать нарядные скатерти, бить посуду; няnek и сестер втолкнули в самую большую палату. Начальство с Фейхтвангером моментально ретировались. Потом мы узнали (8), что писателю сказали, что его по ошибке привели в наше отделение. Он пролил снисходительно отнестись к поступкам больных детей.

Сашу Пятакова увезли в Даниловский приемник, затем его направили в Караганду. Дальнейшая его судьба мне неизвестна, как и судьбы многих, которые были моими скорбными товарищами по заключению в детском политическом отделении психиатрической больницы имени Кашенко.

Заведующая отделением Ф.Я. Кацнельсон получила строгий выговор с предупреждением и новую помощницу – сухую, злую женщину, психиатра Ксению Алексеевну Новлянскую (9). Всем без разбора, вне зависимости от диагноза, она велела делать болезненные, разрушающие организм уколы, а самым непослушным – пункцию. На ее личном счету немало искалеченных детских душ. На моих глазах потерял навсегда рассудок Роман Панизовский (10), сын одесского журналиста.

В нашем отделении находились Саша Пятаков, племянник Карла Радека Борис Собельсон, Наум Эйдеман, Андрей Бухарин, Натан Зиновьев, Саша Чубарь, Витя Егоров, Миша Горьковатый, Арнольд Эйхе. Это были дети расстрелянных руководителей советского государства и видных военачальников, которые свою храбрость и преданность Ленину-Сталину-пар-

тии большевиков доказали еще в предреволюционные годы.

По ночам мы вели нескончаемые разговоры. Каждому хотелось пове-
дать свою историю. Несмотря на то, что с тех пор прошло четыре десяти-
летия, память не в состоянии вырвать из сердца события, перевернувшие
наши души. Рубцы не заживают. Далекое прошлое стоит перед глазами.

Натан Зиновьев рассказал об обыске, который длился 18 часов.

– В час ночи к нам позвонили. Двери открыла домашняя работница
Пелагея Кирилловна Норд (11). В квартиру ворвались несколько человек.
Обыском руководили Джакоев и Киряковский (12). Из кабинета вышел
поблдневший отец. Сотрудники НКВД одновременно начали ворошить во
всех комнатах, а также в ванной, кухне, уборной. Книги отца увязывали
в пачки, посуду бережно упаковывали в наши же чемоданы. Тогда я еще
не знал, что означает зловещая фраза "...с полной конфискацией имуще-
ства". Суда и приговора еще не было, а вещи забирали без стыда и совес-
ти. И как при этом еще ссорились между собой! Обыск закончился в 7 ча-
сов вечера. Джакоев на плохом русском языке спросил у отца, где нахо-
дится его личная переписка с Троцким. Рассмеявшись, отец ответил, что
таковой вообще не существует в природе, что это дешевый шантаж. Тогда
Джакоев, размахнувшись, ударил отца по лицу. Сильный удар пришелся в
переносицу. Из носа пошла кровь. Мать кинулась на палача с кулаками.
Кто-то из чекистов грозно повысил голос:

– Кто здесь собирается оказывать сопротивление представителям
советской власти?

Мать связали канатной веревкой.

У меня в ящике письменного стола хранился перочинный ножичек.
Незаметно я подкрался к матери. Чекист из Джакоевской банды ударил
меня сапогом в живот.

Пелагея Никифоровна Норд крикнула срывающимся голосом:

– Вы разве советская власть? Вы бандиты с большой дороги! Нынче
я напишу о вашем произволе товарищу Сталину!

Отцу на руки надели наручники.

Мать и Норд связали одной цепью.

Все комнаты, кроме кухни и подсобных помещений, чекисты опеча-
тали сургучными печатями.

Родителей и Норд увели.

Я все еще корчился от боли, когда раздался повторный звонок. С тру-
дом дополз до двери. На пороге стояли три женщины и двое мужчин. Не
много ли на одного безоружного мальчишку? Главной была психиатр Вера
Федоровна Подряскина. Без лишних слов она приступила к делу:

– Натан Зиновьев, слушай нас внимательно! Родители твои оказались
недостойными людьми. Они арестованы. Мы обязаны подумать о твоём
будущем, и решили поместить тебя в больницу санаторного типа. Потом,
если ты захочешь, я устрою тебя в один из лучших детских домов.

Сказал, что никуда не собираюсь ехать. Попытался забаррикадиро-
вать кухонные двери. Им удалось меня схватить. Как и родителям, муж-
чины в медицинских халатах одели на мои руки металлические кольца-на-
ручники. В закрытой, без окон, машине меня привезли в детский изолятор,

который в Ленинграде помещается на Васильевском острове, потом поездом отправили в Москву и заперли в третье проклятое отделение больницы Кащенко.

Страшна история Андрея Бухарина.

Когда в их квартиру ворвались чекисты, Николай Иванович писал для газеты "Известия" статью – "Большевики во главе движения ударников". Обыск длился до поздней ночи. Имущество было вывезено на нескольких грузовых машинах. Уникальную коллекцию бабочек чекисты растоптали сапогами. Вместе с избитым Бухариным и его молодой беременной женой Лариной был арестован усыновленный племянник, 13-летний Андрей. Сначала Бухарина били в присутствии жены, затем Ларину избивали на глазах Н.И. Бухарина. Палками с железными наконечниками били Андрея. 55 суток продержали его в изоляторе Даниловского приемника. Обессиленного мальчика привезли в больницу имени Кащенко.

Навечно запомнились слова Андрея Бухарина:

– Я, конечно, не выживу. Но, если кто-нибудь из вас выберется из этой проклятой страны, расскажите всем, всем, всем, что представляет собой СССР и что такое советская власть...

Когда Андрей узнал, что его приемный отец расстрелян, он повесился в уборной. Мальчик предвидел свою раннюю, преждевременную смерть. Из простыней он скрутил веревку. Мы видели, как перепуганные санитарки и сестры, крестясь на ходу, выносили обмякшее, посиневшее тело нашего товарища по заключению. В отделении начался переполох. На полную мощность заработала юридическая машина. Нас по очереди стали вызывать к следователям. На допросах присутствовали врачи-психиатры: Кацнельсон, Новлянская, А.А.Александрова, И.В.Шур и главный врач детской больницы Марк Осипович Липидус (14). После смерти Андрея Бухарина режим в отделении стал более облегченным.

Позже мне довелось познакомиться с Лариной, вдовой Н.И. Бухарина. Эта смелая женщина наизусть выучила предсмертное письмо мужа, обращенное к коммунистам нового поколения. Я не стану его цитировать, оно достаточно хорошо известно зарубежному читателю.

Ларина рассказала, что "враги народа" Зиновьев, Каменев, Рыков, Пятаков, маршал Тухачевский и многие другие не присутствовали на "открытых" процессах. Еще до начала судебных заседаний их замучили в подвалах следственных камер.

В 1957 году из магаданских лагерей возвратился Александр Моисеевич Розанов, который "сыграл" роль Рыкова. Артист Сергей Коренков за "изображение" Зиновьева семь лет проработал на лесоповале в Кеми, где заболел цынгой. У него выпали зубы, он умер от истощения. Его жена, актриса Инга Никольская (по судебной инсценировке – Рудакова) умерла в бараке для сумасшедших в Магадане.

Самым старшим из нас был Андрей Пильняк, высокий подросток с седыми волосами. Его отец, замечательный русский писатель, автор "Голого Года," был расстрелян. Зубы Андрею выбили на Лубянке. Он рассказал, что 10 дней находился в камере смертников. Несколько раз его выводили

ли на имитированный расстрел, ставили к стенке с завязанными глазами, солдатам приказывали стрелять, но... мимо. "Гуманисты" из НКВД пытались запугать юношу, подавить его волю к сопротивлению, поработить мозг, сделать из него послушного робота, чтобы он оговорил отца, мать, друзей, товарищей. Там, на Лубянке, он стал совершенно белым – седым. Андрей оказался сильнее своих мучителей. Он отказался говорить и отвечать на вопросы. Спустя много лет мне рассказали, что Андрея Борисовича Вогау-Пильняка не по возрасту старым человеком видели в одном из северный лагерей.

Борис Собельсон, племянник журналиста и политического деятеля Карла Радека, оказался наивным, простодушным мальчиком. Он предложил написать большое, "откровенное" письмо товарищу Сталину, а копию послать в редакцию газеты "Пионерская правда". Мы ему сказали, что "товарищ" Сталин самый большой бандит в советском государстве и что когда-нибудь он живым или мертвым попадет на скамью подсудимых. Я слышал от друзей, что в 1957 году, после реабилитации, Боря Собельсон покончил жизнь самоубийством.

В шесть часов утра няньки поднимали нас с криком и руганью. Мы рано познакомились с русским матом, который был завезен в Россию во времена еще татарского нашествия.

Два часа в день с нами занималась учительница, бывшая княгиня, Надежда Прохоровна Белохвостова-Воздвиженская. Она вела все предметы. На вопросы не отвечала по "принципиальным соображениям".

Старшие медицинские сестры вели дневник. В толстую клеенчатую тетрадь записывались не только назначения врачей, температура, но фиксировалось поведение, а главным образом – **р а з г о в о р ы** "больных" **детей**. Эти записи внимательно изучались врачами и сотрудниками НКВД, "прикрепленными" к нашему отделению. Нам удалось перехитрить медицинский персонал. Из кусочков проволоки мы сделали отмычки. Таким образом нам удалось проникнуть в процедурную, где хранился дневник и время от времени его похищать. Дело кончилось тем, что врачи стали прятать дневник в несгораемый шкаф.

В нашем отделении находился сын врача-писателя Выгодского. Обливаясь слезами, Алик рассказал нам в уборной, что его вызывали какие-то люди, обещали сытно кормить, но за это он **должен стать провокатором**, каждую субботу подробно их информировать о том, что происходит в отделении. Мы пошли на хитрость. Алик давал подробнейшую информацию. Он их ловко дезинформировал, говорил совершенно обратное тому, что было на самом деле. Выгодский, захлебываясь, сообщал, какие мы хорошие ребята, что в свободное время декламируем стихотворения Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Безыменского. Что многие из нас готовы публично отречься от родителей и что после выхода из больницы мы все решили вступить в пионеры, а некоторые – записаться в комсомол. Все, что он говорил, принималось за чистую монету.

1. Ф.Я. Кацнельсон чем только могла, помогала детям репрессированных родителей. Для нас она была – Матерью. Ф.Я. написала замечательный научный труд, который послужил ей основой для диссертации "О проблемах и лечении шизофрении у детей". В 1952 году ее изгнали из больницы им. Кащенко, где она безупречно проработала 25 лет. Умерла она от инфаркта. Мы, бывшие ее пациенты, оставшиеся в живых, собрали деньги на памятник. На ее могиле всегда живые цветы.

2. Родственник Л.М. Кагановича.

3. Григорий Каминский бывший секретарь Тульского обкома ВКП(б), народный комиссар здравоохранения. Расстрелян.

4. А.Н. Толстой (1883 – 1945).

5. О.Д. Форш (Комарова), (1873 – 1961).

6. Л.А. Кассиль (1905 – 1970).

7. Сульфазол – сера, очень болезненный укол, температура доходит до 40 по Цельсию, вызывает страшную головную боль, тошноту, головокружение.

8. Писатель Лев Абрамович Кассиль рассказал автору, что Л.Фейхтвангер подробно описал свое посещение 3-го специализированного отделения больницы им. Кащенко. Его статьи были опубликованы в американских газетах. По цензурным "соображениям" этот материал не попал в его документальную книгу "Москва 1937 года".

9. К.А. Новоявленская врач-психиатр, доцент, кандидат медицинских наук, осведомитель НКВД. Впоследствии получила звание майора. Умерла в 1972 году.

10. Панизовского перевели в Вятскую психиатрическую больницу. Последующая его судьба неизвестна.

11. Норд умерла на Лубянке. Два с половиной месяца ее истязали. Сын ее, Борис Норд, после длительного заключения уехал в Австралию.

12. Джакоев и Киряковский проходили по делу Зиновьева. Расстреляны.

13. Натан Зиновьев год пробыл в психбольнице. Плюс два года его продержали в Белых Столбах (психиатрическая колония, Подольский район, Московской области). В 1941-ом он был призван в армию. Получил два ранения. Награжден орденами и медалями. Погиб 5 мая 1945 года под Берлином. Длительное время переписывался с доктором Кацнельсон и с автором книги.

14. Лапидус – профессор, работает в научно-исследовательском институте детской психиатрии и в детской психиатрической больнице им. Кащенко.

Подвиг русской учительницы.

После больницы мне трудно было догнать своих товарищей по школе. Кроме того, я продолжал заниматься в Театральной Студии, которой руководили артист Московского Художественного театра Борис Добронравов (1) и режиссер-педагог Иван Елагин. Руководители Студии знали о

моей судьбе. От них я никогда не слышал ни одного плохого слова, ни одного упрека. А в школе все было гораздо сложнее. Старался учиться лучше других, но это не всегда удавалось.

На целые десятилетия стала моим близким другом педагог русского языка и литературы, русская учительница Елизавета Афанасьевна Макарьева. Она привила мне любовь к литературе, научила понимать и ценить творения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Гоголя, Достоевского, Блока. В свою очередь я знакомил ее с произведениями Бялика, Габеля, Шолом-Алейхема, Менделя-Мойхер Сфорима, Шолом Аша.

На классных собраниях Елизавета Афанасьевна, никого не боясь, раскрывала природную сущность антисемитизма и юдофобства. Она рассказала нам о делах Бейлиса и Дрейфуса. Познакомила с письмами и статьями Владимира Галактионовича Короленко. Елизавета Афанасьевна отставала меня перед директором школы, когда он не хотел давать разрешение на перевод в следующий класс; навещала в больницах; прорывалась через заградительные отряды сестер, санитарок, врачей; приезжала ко мне в госпиталь, писала сердечные письма на фронт.

В 1947 году она в своей маленькой квартирке прятала моего отца, которому было запрещено жить в Москве. Она была в числе тех, кто стоял в почетном карауле у гроба величайшего артиста современности Соломона Михайловича Михоэлса. В связи с "делом" врачей Е.А. Макарьева написала гневное письмо в "Правду", которое, конечно, не было опубликовано (2).

В 1971 году в знак протеста против дискриминации евреев в СССР, русская учительница Елизавета Макарьева возвратила Президиуму Верховного Совета правительственные награды – ордена, медали, Почетные грамоты.

7 марта 1972 года я пришел проститься с любимой учительницей. В подарок принес ей томик стихов Бялика, на первой странице которого когда-то сделал надпись Борис Леонидович Пастернак:

"Бялик – это жизнь!

Бялик – завтрашний день Палестины.

Бялик – гордость и символ Еврейского народа!

Моему другу и товарищу Леонарду Гендлину – сердечно.

Борис Пастернак" (3).

Я подарил Елизавете Афанасьевне открытки с видами Израиля, альбомы с репродукциями художников Рубина и Беренштейна. Старая учительница пожелала нам счастья на Земле Израильской и по-сердечному благословила, 18 марта 1972 года 95-летняя женщина приехала в аэропорт Шереметьево-2. Прощаясь с нами, она сказала:

– Родные мои, я горжусь вами! Пусть всегда хранит и оберегает вас Бог!

Горько сознавать, что я ее никогда больше не увижу.

1. Добронравов Борис Георгиевич – народный артист СССР. Родился

в 1896 году. Умер 27 октября 1949 года на сцене во время исполнения роли царя Федора в спектакле "Царь Федор Иоанович".

2. Копия хранится в архиве автора.

3. Автограф Б.Л. Пастернака хранится в архиве автора.

Ш к о л а .

Так построена жизнь, что учителя почти всегда находятся в заговоре с тихонями против нелюбимых учеников. В своем арсенале мои товарищи имели достаточно средств, чтобы ущемить мое достоинство. Они виртуозно изобретали всевозможные пакости. "Нечаянно" на мои тетради проливались пузырьки с чернилами, из учебника кто-то выдирали нужные страницы, мочились в мой портфель, скромный завтрак – ломтик черного хлеба, луковицу и несколько картофелин, со смехом выбрасывали в окно...

Самыми верными Друзьями стали Книги и Театр.

Я подружился с контролерами, билетерами, администраторами – они бесплатно пускали на утренние, а иногда и на вечерние спектакли. Артист Добронравов помог записаться в закрытые взрослые библиотеки Всероссийского Театрального общества, Дома Работников Искусств и Дома Кино.

В школе наверстать пропущенное помогли студенты-математики Лазарь Файвыш и Борис Натанзон (1). Гуманитарные предметы давались легко мне самому.

Однажды мне поручили пригласить на школьный вечер молодых артистов. Я поехал в консерваторию. Там нашел лауреатов международных конкурсов музыкантов-исполнителей Бориса Гольдштейна, Эмиля Гилельса, Елизавету Гилельс, Розу Тамаркину. Уговорил их выступить в нашей школе. После концерта отношение переменилось.

Мы организовали КИВ – Клуб Интересных Встреч. В гостях у нас бывал Максим Горький. Он рассказал о своей жизни в Сорренто. Артисты московских театров сыграли сцены из его пьес и прочитали несколько рассказов. Запомнились слова Горького, сказанные им на вечере:

– Пьесы я написал скучные. Играть их трудно. Герои говорят и думают сложно. По-настоящему, люблю две свои пьесы: "На дне" и "Егор Булычев и другие".

Я прочитал отрывок из повести Горького "Мои университеты", который помог сделать Борис Добронравов. Писатель расчувствовался. Большим синим платком он вытирал мокрое от слез лицо. Через три дня Алексей Максимович прислал мне книгу "Детство", "В людях" с надписью:

"Лене Гендлину на добрую память. Храните и берегите дружбу.

Максим Горький" (2).

К нам приезжали участники арктических экспедиций Иван Папанин, Отто Юльевич Шмидт, летчик Водопьянов, радист Кренкель. Знаменитый шахматист Михаил Ботвинник дал сеанс одновременной игры на 50-ти досках. Второклассник, крошечный Изя Давидсон, обыграл чемпиона. Ботвин-

ник подарил мальчику автоматическую ручку с золотым пером. Изя стал сенсацией, ему завидовала вся школа. После приезда летчиков, Чкалова, Байдукова, Белякова, совершивших в июле 1936 года беспосадочный перелет Москва – Земля Франца Иосифа – мыс Челюскин – Петропавловск-на-Камчатке – остров Удд-Ванкувер, мои акции поднялись еще выше. Новый директор школы Алексей Павлович стал со мной демонстративно здороваться за руку. Такой чести удостоивались немногие.

Совмещать учебу в школе и Театральной Студии было сложно. Кроме того, я еще по четыре часа в день работал в слесарной мастерской завода "Лифт", а по ночам умудрялся печатать на машинке мамину сверхурочную работу. А еще надо было заниматься, готовить уроки, принимать участие в школьных и студийных вечерах, отправлять отцу посылки и, пожалуй, самое сложное – быть в доме – единственным мужчиной. При таком жизненном темпе спать удавалось каких-нибудь три-четыре часа.

Мы пригласили в школу писателей Бориса Пильняка, Сергея Третьякова, Владимира Киришона. Интереснейшая беседа затянулась до поздней ночи. Пильняк рассказывал о своих путешествиях в Китай, Японию, Германию, Палестину. Третьяков читал стихи о далеких африканских островах. Владимир Киришон говорил о работе над пьесами, сказал, что ему хочется написать лирическую драму о юношестве и называться она будет "Восьмиклассники". Прообразом героини он предполагает сделать первую ученицу Москвы, дочь Сталина, Светлану.

После этого вечера директора школы Алексея Павловича Самарина, секретарей партийной и комсомольской организаций вызвали в НКВД. Работников наркомата внутренних дел интересовало по чьей инициативе приглашались в школу писатели – "враги народа" (3). Самарин обладал редким умом и находчивостью. Он сказал, что все делалось по рекомендации Союза писателей. Это его спасло.

Теперь несколько штриховых портретов учителей и учеников.

Самыми колоритными фигурами были великовозрастный Костя Буланов, вертлявый сын сапожника Изя Малкин, бездарный тихоня Дормидонт Долотин и худосочная, двухметровая каланча Аграфена Вандрикова.

Буланов облюбовал себе место на "камчатке" – в среднем ряду на последней парте. В каждом классе он просиживал по два-три года. Давно уже курил. В бумажнике носил переснятые порнографические открытки. На переменках с упоением рассказывал похабные анекдоты. Его любимым занятием было сидеть на высоком заборе, наблюдать в бинокль, как в бане моются женщины. У Кости имелась подруга, буфетчица соседней школы. Частенько Буланов приходил в класс, изрядно покачиваясь. Его без конца вызывали к директору. Небритый детина срывающимся баском всегда отвечал одно и то же:

– Я лимонад пил, если не верите, вам и Нюрка Душастина подтвердит. Хотите, я ее пригоню? А что, лимонад тоже пить запрещается? Если нельзя, товарищ директор, значит, мы больше не будем, честное слово дадим и поклянемся вашим драгоценным здоровьем.

Великовозрастному Буланову все сходило с рук. Его отец работал заместителем начальника районного отделения милиции.

Изя Малкин на уроках вертелся, как заведенный волчок. Он подсказывал, выскакивал, перебивал учителей, шутил, на ходу придумывал всяческие небылицы.

Самой тупой была длинноногая, плоско-худая Вандрикова. Она ничего не знала, уроков вообще не готовила. В школу Аграфена приносила обильный завтрак: молоко, сыр, белый пшеничный хлеб, домашнюю колбасу. С товарищами она не делилась, сама все поедала. Зато любила говаривать:

– Что, покушать захотелось? Пойди в колхоз, подой коровушек, ножками потопчи поля, потряси ручками навозец – тогда тоже будешь вкусно есть, маслицем хлебушек мазать.

Ее отец Пров Вандриков – главный бухгалтер колхоза и секретарь партийной организации, конечно, коровушек не доил, навозцем не тряс, колхозное поле ножками не топтал.

Когда учителя вызывали к доске Дормидонта Долотина, он пугливо озирался по сторонам, нехотя поднимался, монотонно отвечал:

– Можете ставить любую отметку, уроков не учил, ничего не помню.

Иногда на него находил столбняк. Он неделями не произносил ни одного слова. На его лице всегда было тупое, идиотское выражение.

Забегу вперед.

С Долотиным мы случайно встретились на Северном – Карельском фронте. Он имел звание капитана. Работал следователем контрразведки. О делах "тихого" садиста офицеры и солдаты говорили шепотом. Сотни людей он отправил на голодную смерть в концлагеря и тюрьмы, многих приговорил к расстрелу, любил процедуру расстрела и зачастую **С а м расстреливал**. На допросах Дормидонт Долотин истязал людей. Кончил он мерзко. В одном из боев под Кондопогой его убили обозленные солдаты. Родителям сообщили, что их сын "погиб смертью храбрых".

Грубым и смешным был учитель физкультуры Александр Александрович Жандармин. Его грубость граничила с хулиганскими выходками. Отставной вояка своего предмета не знал.

Как-то Жандармин пришел в класс в хорошем расположении духа. В тот день занятия проводились в физкультурном зале.

– Ну, пусть наши еврейчики-спортсмены Малкин и Гендлин первыми полезут на канат, – ухмыляясь, проговорил Жандармин.

Изя крикнул:

– Идиот, лезь сам на канат и оттуда помаши нам ручкой, прокуреной пятерней! Я с тобой не желаю иметь дело.

Физкультурник бросился на ученика. Изя побежал. Жандармин, дымя дешевой папироской "Бокс", ринулся вдогонку за Малкиным. Началась игра "в салочки", в которую с удовольствием включился весь класс. Одна девочка не успела убрать туфли, Жандармин, поскользнувшись, растянулся во весь рост. При падении он сильно поранил колено. Мы загрохотали, Жандармин показал нам кулаки.

Больше всего шумели на уроках рисования, черчения и немецкого языка. Немецкий преподавала Марта Германовна Гарро. Ей было 72 года.

Свой возраст скрывала, молодилась, красила губы, подводила глаза, в черный цвет красила брови, делала маникюр. Часто из-за рассеянности теряла парик, который соскальзывал с ее лысины. Помимо учебников, в стареньком портфельчике она носила тоненькие, малюсенькие бутерброды и крошечный термос с желудевым кофе "Здоровье". Однажды мы поймали Долотина, который, спрятавшись за последней партой, сидя на корточках, с жадностью уничтожал завтрак нашей учительницы. За этот проступок его бил весь класс.

Учитель рисования и черчения Михаил Аристархович Снегиревич до самозабвения любил свой предмет. Он знал, что на его уроках никто не хочет работать. Главным он считал не знания, а отметки. Лучше всех рисовали и чертили Тамара Мотылева и Галина Полякова. Они первыми получали высокие оценки. После того, как Тамара садилась на место, она свой чертеж или рисунок передавала мне. Я осторожно стирал ее фамилию и вместо нее вписывал свою. Близорукий Снегиревич ставил хорошую отметку. Затем тетрадь переключивала к Изе Малкину. И тогда лицо учителя расплывалось в широкой улыбке:

– Вот видите, товарищи, как хорошо, что Малкин стал серьезно и вдумчиво работать! За это я ему ставлю высший бал!

Самым последним относил чертеж Костя Буланов. От чрезмерного стирания злополучный лист был весь в дурках. Буланов получал "тройку" с минусом.

Появился новый учитель по физике. Молодой человек с редкой фамилией Кирявый. На пятый день он объяснился "в любви" хорошенькой Мотылевой. Об этом сенсационном событии моментально узнала вся школа. С нашего ведома Тамара назначила ему свидание на Калужской площади, около кинотеатра "Авангард". В назначенный час появился физик Кирявый. В руках он держал огромный букет цветов. Влюбленный физик не заметил, что находится в окружении мальчишек и девочек. Тамара Мотылева незаметно отошла в сторону. На ее месте оказался Изя Малкин, для такого случая облачившийся в мамин сарафан.

На другой день Кирявого выгнали из школы.

С теплотой вспоминаю историка Андрея Михайловича Пыжова и Макарьеву, о которой говорил выше. На их уроках всегда стояла тишина, они умели заинтересовать даже самых бездарных. Буланов, Долотин, Вандрикова получали у них удовлетворительные отметки.

Так проходило время, летели дни, месяцы, годы...

Взрослоло наше поколение. Мы стали интересоваться искусством, поэзией, литературой; бегали в музеи, по воскресным дням посещали театры: Большой, Художественный, Малый, им. Вахтангова, Большой Зал Консерватории, устраивали диспуты, в спорах пытались найти Истину...

После посещения музея Красной Армии, Изя Малкин сказал:

Не понимаю, почему во всех музеях выставлены картины и скульптурные портреты Сталина? Неужели он действительно такой уж великий? И разве он один за всех все делает?

О его высказываниях кто-то донес комсorghу школы Юрию Кошкину.

Из-за этого случая Изю долго не принимали в комсомол.

Первым комсомольцем нашего класса стал тихоня Долотин. Ему могло сугубо пролетарское происхождение. Дормидонта остерегались, дружить с ним никто не хотел.

Мы получили задание написать сочинение на свободную тему. Я придумал заголовок – "Жизнь за колючей проволокой". Вечером к нам домой пришла перепуганная учительница. Собравшись с духом, Елизавета Афанасьевна проговорила:

– Леонард, разве можно играть с огнем? За такое сочинение тебя исключат из школы с "волчьим билетом", а меня уволят. Опомнись, мальчик! Прошу тебя, напиши что-нибудь другое.

Я упрямо возразил:

– Если дана вольная тема, значит, можно писать о чем хочешь?

Мама заплакала. Начались уговоры.

Написал новое сочинение – "Скорбь еврейского народа в произведениях Шолом-Алейхема".

1939 год.

Мне исполнилось шестнадцать лет.

Для получения паспорта нужны справки из домоуправления, школы и метрическое свидетельство. В милиции со мной беседовал заместитель начальника по паспортному режиму Буланов, отец моего соученика. Масивный, волосатый дядя с отвислыми усами строго спросил:

– Давай мы тебе в паспорт напишем национальность "русский"? Согласен? Тебе так легче будет жить.

– Мама моя, – ответил я, – еврейка, Белла Исааковна, папа тоже как будто еврей – Евгений Исаакович, дедушка и бабушка – евреи. В таком случае получается, что я тоже еврей? А вы хотите меня превратить роцкером пера в русского? Товарищ Буланов, вы, очевидно, решили пошутить?

– Дурак ты, парень! – со вздохом изрек Буланов-старший. – Ну, ладно, так и быть, давай документы.

Сказал, что потерял метрику.

Тогда ходи без паспорта, дадим временный. Пиши в город Владивосток, пусть пришлют дубликат.

Получена долгожданная копия. Снова неувязка. Оказалось, что в моем имени буква "н" похожа на букву "п". Буланов придрался и велел паспортистке написать в моем паспорте не "Леонард", а "Леопард".

– Львы имеются, тигры тоже, а теперь пусть будет Леопард, – соспорила Буланов.

Пришлось вторично обращаться во Владивостокский ЗАГС. Только через год мне поменяли паспорт.

У нас дома хранилась маленькая, истрепанная Библия на русском языке. Мне подарила ее бабушка, мать отца – Брайна Ароновна. Библия читалась нами ежедневно, в какой-то степени она стала путеводителем жизни.

Бялик и Библия – основные учителя моей юности.

В нашем подъезде, на пятом этаже проживала старенькая женщина Алексеева. Возраст ее определить трудно. Она всегда ходила в черном, монашеском одеянии и была настолько богомольна, что два раза в месяц ездила исповедываться в Троице-Сергиеву Лавру (Загорск). Потом мы узнали, что "божья" старушка – староста церкви, что на протяжении целого ряда лет она являлась штатным сотрудником органов НКВД. В те голодные годы Анастасия Николаевна приносила с рынка самые дорогие продукты. По всей вероятности, Алексеева считалась ненлохим осведомителем. Малограмотная старуха по церковно-славянской орфографии строчила на жильцов доносы. Иногда Алексеева захаживала и к нам. Посидев однажды минут пятнадцать, она вкрадчиво спросила:

– Лексей, какую нынче книгу читаешь?

Не ожидая подвоха, я с гордостью показал истрепанную, с вклеенными страницами, Библию. Похвалив за ученость, старуха, перекрестившись, ушла. Через неделю к нам пришли милиционеры. Они сказали, что в моем паспорте имеется одна незначительная неточность, которую надо выправить. (Такой же эпизод повториться через 33 года, перед отъездом в Израиль.) С провожатыми вышел на улицу. У подъезда – закрытая машина "черный воронок". Там уже находилось несколько человек. Милиция помещалась рядом с нашим домом, а меня повезли куда-то далеко. Затем карета остановилась, меня вытолкнули, и я очутился на тюремном дворе. Это была знаменитая московская тюрьма с экзотическим названием "Матросская Тишина". Меня обыскал усатый дядька, принесли поношенную арестантскую одежду. Идем по длинному коридору. Надзиратель втолкнул в камеру, где дым стоял коромыслом. Кроме дыма, я ничего не видел.

Кто-то из обитателей крикнул:

– Ой, хлопцы, умора! Смотрите, живого еврейчика привели?

Два типа в допотопных халатах предложили сыграть в очко.

Подошел одноглазый парень, сплевывая сквозь зубы, спросил:

– А ты, Шлема, знаешь, что такое параша?

Я попал к уголовникам. Еще от отца слышал, что люди они жестокие, в злобе беспощадны, что они никого не боятся, что у них свои законы, обычаи, нравы, язык и даже песни.

Ко мне подсел молодой человек с квадратной челюстью. На его перебитой щеке зиял огромный желтый рубец.

– Говори, за что сцапали? С кем работал? Нас не бойся! Свои в доску, не лягавые.

Их жаргона я не понимал.

– Какая у тебя кличка на воле была? – допытывался обладатель квадратной челюсти.

– Меня зовут Леонард, сокращенно можно называть Леня.

Послышалось лошадиное ржание.

– Ха-ха-ха! – истерически гоготала камера.

– Ле-о-нар-д! Ле-ня! Ха-ха-ха!

Валяясь на каменном полу, уголовники корчились от душившего их смеха.

Камера единогласно окрестила меня "Чарли".

Люди преступного мира любят сказки. Часами они могут слушать таинственные истории о добрых, великодушных разбойниках. Я им пересказывал романы Дюма, Гюго, Диккенса, Вальтер Скотта. Больше всего им понравилась история графа Монтекристо и Тарзана. За это соседи щедро со мной делились обильными продуктовыми запасами. "Дамы" сердца приносили друзьям громадные передачи со съестным.

В довоенные годы в тюрьмах советской России уголовникам жилось вольготно, хотя неволю они переносили тяжело.

По ночам я кричал, плакал, звал маму. Но все было напрасно. По вечерам уголовники пели блатные надрывные песни, декламировали Сергея Есенина, многие стихи которого знали наизусть. От этого становилось еще тоскливее.

Вызвали на первый допрос. Молодой следователь спросил, где сидит отец, кем работает мать, какие имею отметки. Затем перешел на товарищей по классу. Поинтересовался, что читаю. Сказал, что интересуюсь пушкинской эпохой.

Перебив, следователь крикнул:

– Зачем врешь!? Вот эта книга у тебя откуда?

Под самый нос он протянул Библию, подарок бабушки.

– Врешь, сука! – взревел добродушный на вид следователь. – Я тебе покажу пушкинскую эпоху и бабушкин подарочек! Смотрите, какой благородный внучек попался!

От сильного удара я упал со стула. Следователь бил меня Библией по голове. Изо рта пошла кровь. Я потерял сознание. Следователь вылил на меня графин холодной воды.

– Бить не имеете права! – крикнул я. – Напишу на вас жалобу прокурору и начальнику тюрьмы.

– Слушай, вонючая морда, если хочешь домой, к мамочке под юбку, подпиши вот эту бумагу. Только разборчиво напиши свою фамилию и имя. На, читай! Здесь написано, что твой учитель истории Пыжов дал тебе эту Библию. Подпиши и проваливай ко всем чертям. Мы его все равно судить будем.

– Подписывать ничего не буду!

Счастлив, что не принес лишних страданий любимому педагогу.

В камере уголовники заботливо делали примочки и компрессы. Через две недели разрешили свидание. С мамой пришли писатель Юрий Карлович Олеша и режиссер Камерного театра Александр Яковлевич Таиров. Только через два с половиной месяца им удалось вытащить меня из "Матросской Тишины".

Уголовники прощались, как с родным братом. Надавали несметное количество поручений, которые я постарался выполнить. Главарь их, Васька Бобрик нацарапал карандашом "охранную грамоту":

"Хто тронет Леньку Чарли и ещо Лианарда тому нимедла воткну в бок пирю. К сему Васка Бобрик".

Эту памятную записку я хранил много лет. Из тюрьмы я шагнул в юность.

1. В 1943 году погибли под Сталинградом.

2. Архив автора.

3. Борис Пильняк (Воган), Сергей Третьяков, В. Киршон – расстреляны. Все они посмертно реабилитированы.

Директор школы, майор Самарин, комиссар стрелкового батальона, погиб зимой 1943 года.

(Продолжение следует).

М. МЮЛЛЕР-ГЕНИНГ

БЕЛАЯ БЕРЕЗА

Темире Андреевне Пахмусс

Под моим окном шумят сиренники,
Клен шуршит и строго шепчет ель,
А с холма сбегают тени времени –
Год остановить их не успел.

Радужные капли открываются,
И весна пошла на новый круг:
Снова распустилась и качается
Белая береза на ветру!

У фиалок завязались бантики,
Загустела, поднялась трава,
Письма стали повевать романтикой,
Глубже стала неба синева.

И парит на склоне над равниною,
Страхивая росы по утру,
И качает-машет веткой длинною
Белая береза на ветру.

* * *

Л. РОССАЛИАНИ

ТАКОВА ЖИЗНЬ...

Р а с с к а з ы.

За справедливость...

– Нет, есть все-таки справедливость на белом свете, – сказала заведующая отделом донорского магазина во время блокады в Ленинграде. – Хотя и много переживать, конечно, приходится; особенно при нашей работе.

– Купила я отдельную квартиру себе со всей обстановкой. Управхоз наврал, что умерли хозяева в 41-ом. А они только отсутствовали, оказывается: она в эвакуации с детьми, а он на фронте, что ли, там был. И отсудили у меня по суду квартиру мою и всю мебель... У них, понимаешь, рояль от отца с матерью; отец, что ли, по музыке профессор был еще в старое время. И она сама учительницей в музыкальной школе, жена-то, что в эвакуации была. И стол там письменный хороший, и бюро тоже; все это им от отцов и дедов досталось. Даже бабка у ней – и то с высшим образованием как будто была, как это выяснилось. И у него тоже отец как будто не то инженер, не то учитель математики, кто-то такой был. В общем, самая настоящая, бывшая интеллигенция! Которых, что повезло им, в революцию нашу не дорезали до конца. И – зря! Вот они сейчас зато и показывают себя, свое истинное-то лицо, – проявили! Подумаешь, что он с фронта, так и подавай ему все, что он пожелает? И то ему надо, и это ему, видишь ты, подавай, и квартира ему "для семьи" нужна! ...И ведь как на зло нарочно всегда так в жизни бывает: один знакомый мой самый хороший, он в органах работает – так как раз, как на зло, он в командировке был в тот момент. "Это все, – говорит, – потому, что меня не было. А был бы я здесь, ничего бы у тебя квартиру не отобрали. Мы бы еще посмотрели, какой он фронтовик есть! Рад был бы, что ноги унес. А то очень много они о себе понимают!.."

...И так обидно мне было, так обидно, как прокурор и другой там тоже, как они меня на суде принизить хотели, морально убить! И квартиру у меня, безусловно, надо отобрасть, – так и сказали. Точка.

...Конечно! Что я? – Простой человек! Из простых, конечно, и нет у меня, понимаешь, высшего образования, а мать у меня, может, вообще по улице ходила! Так они и думают, что я не человек, тоже и понятия у меня никакого нет. Что, мол, на нее смотреть, простая, мол, баба, что она может нам сделать? Можно, дескать, и не считаться с ней. Вот какое у них мнение, я ведь это очень хорошо понимаю. Это они думают, что я не понимаю, а я все понимаю. Очень даже прекрасно понимаю...

Дома не выдержала, конечно, поплакала. На работе нашей нервной разве можно систему в порядке сохранить?.. Всю ночь редела, правду сказать, и сердцу даже было неважно, валериановку пила. Мне не потому, что квартиры жалко! И выговор по партийной линии – там один тип что-то такое высказывался – это все ерунда; никакого выговора мне у нас не будет, этого я тоже не боюсь. А мне за бездушие человеческое обидно! За такое отношение людей свысока!.. Вот что мне обидно и горько.

Но – ничего! Бог правду всегда видит! Они у меня ту квартиру отобрали – а я – другую квартиру себе купила! Через два же дня! Еще лучше!! Тоже со всей интеллигентной обстановкой, со всей дворняжеской мебелью дорогой – и лучше еще, и богаче!! И рояль там, и письменное бюро, и письменный прибор на нем, из бронзы, в виде медведёй; и по стенкам портретики маленькие, не на бумане, а на чем-то вроде фарфора, похоже, – ну, все – как я мечтала, как мне хотелось!.. Простая, мол, баба? – Небось! Мы и в этом умеем разобратся! В блокаду-то всему научились! Как стали из Эрмитажа да Русского музея люди тащить ценности искусства, я и тут себе кое-что приобрела – не пробмах...

А что я особенно рада – что к празднику как раз подгадалось с этой моей новой квартирой. Будет гулять где на 7-е Ноября! Спасибо, добрый человек на этот раз управхоз попался, эти хозяева уж точно умерли. Он мне все на честность – документы показал. Ну, и я его не обидела... Вот и знакомый мой тоже: "Что за судья такой тебе, говорит, попался, я прямо не знаю. И фронтовик этот – надо же наглость такую иметь, так свое старинное интеллигентское социальное происхождение на суде не постеснялся, не скрыл. Но ты плюй на это дело, мы еще ими займемся, мы им дадим укорот. И судье тоже. Пусть знает, кого защищает."

А я и плюю. В милости у них не нуждаюсь. Рояли у них, понимаешь, пианины! От отца с матерью, вишь, достались! А у нас нет роялей от отца с матерью! И ничего, живем. Но – отольется им это когда-нибудь – за переживания мои, за слезы мои, эх, и отольется же! Потому что я тоже человек и тоже культурно жить имею право. Бог – он правду видит! Есть справедливость на свете.



В бывшем Елисейском магазине .

"Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны."

Ленин.

Огромный магазин полон народу – несколько переплетающихся и бурно кипящих очередей. Жарко, на улице Горького душный июль, а здесь, внутри магазина, – вообще, как в печке. Люди обливаются потом и жадно ловят воздух открытыми ртами; продавщицы тоже обливаются потом и жадно ловят воздух.

Старик, с трудом дотянувшись, вручает продавщице чек на три пирожка): – Что, барышня, не догадался старый грешник, эксплуататор Елисейев-то, полсотни лет назад вентилятор вам тут сделать? Мучаетесь теперь?

Хорошенькая продавщица: – Елисейев-то как раз догадался! Вон он, вентилятор, видите – у потолка самого, в правом углу?.. Это наш директор электричество экономит. Включать не велит.



Антагонистическое противоречие .

Дачный поезд весело идет из Токсова в Ленинград. Начало июля: солнце, воздух, зелень – и вагон поезда весь в солнце, в танцующих прозрачно-золотистых тенях, весь умытый, свежий, блестяще-золотой; время – немного после полудня. Много свободных скамеек. Окна частью открыты и частью закрыты – на все вкусы. Мелькают зеленые деревья за окном, птички, цветочки.

Состав публики в вагоне... Ну, прежде всего – красивая и очень нестандартная девушка в каком-то необыкновенно нежном, похожем на букет цветов, платье и с большим букетом пионов в руках. Замечательная девушка! Вся такая нежная и таинственная. Вторым номером идет атлетического сложения и довольно красивый, но незамысловатого, как видно, нутра – по типу, скорее всего, спортсмен или лихой и преуспевающий фотокорреспондент. А, может быть, и то, и другое. Он резко выделяется своей сытой, ухоженной внешностью, своим отличным серым костюмом, своей веселой напористостью во всем. Он уже успел познакомиться с девушкой, с букетом, и теперь добивается взаимности, то есть свидания. Манера его разговора, как это модно сейчас, – слегка придуриваясь и нарочито коверкая родной язык. Но есть в нем какая-то приятная, искренняя нотка, а в его самоуверенной веселой напористости что-то есть сродни веселому и самоуверенному

ходу паровоза, четко идущего по заданным рельсам. И в этом смысле он, можно сказать, гармонирует с данным летним пейзажем и обстановкой. Девушка с букетом – та сама по себе – цветок, цветы и прекрасный летний день.

Остальные пассажиры вагона – это обычный, средний жизненный фон: массовый человеческий материал, переработанный именно в такую форму (а не в какую-либо другую) нашим родным советским стилем жизни; то самое, что можно наблюдать каждый день, и особенно типично – в пригородном поезде.

Женщина с молочным бидоном. Женщина с плетеной корзинкой, чем-то прикрытой сверху. Старик с пилой и еще какими-то инструментами в старой противогазной сумке. Гражданин с портфелем и сеткой картошки. Маленький мальчик-дошкольник, одетый в жесткую, грубую курточку с толстенной "молнией", едет со своей мамой; другой маленький мальчик в такой же несгибаемой прозодежде – со своей мамой; какие-то тетеньки тут неподалеку; какие-то дяденьки там в уголку. Типичный представитель молодежи. Интеллигентная, пожилая же женщина – кроткая, тихая, незаметная и усталая, одетая "бедно (беднее уж некуда), но опрятно". Эта никогда никого не обидит, всегда всем все материальное уступит, она никогда никому не может быть опасной – и потому мы ее сразу же сбрасываем со счета.

Состав по своему исторически-социальному содержанию обычный. Но, кажется, какой-то исключительно хороший по своему личному морально-интеллектуальному качеству: никто пока не включает транзистор; никто противозаконно не курит. Даже дети, и те: первый маленький мальчик спокойно сидит и смотрит в окно, второй маленький мальчик только еще просит пока у матери эскимо или кофету из сумки, но она, представьте себе, отказывает: "Здесь нельзя, пачкать все будешь, руки липкие, знаю я тебя, другим людям нехорошо это – дома получишь," – говорит она, и такое отношение удивительно и приятно!.. Молодой парень у окна слева – тоже ведет себя несовременно и неортодоксально: именно ему, как типичному представителю молодежи, и полагалось бы наяривать сейчас транзистором, но он почему-то не делает этого, но хорошо и углубленно читает "Войну и мир".

Еще один опасный очаг – тройка мужчин в углу. Но и они, вместо того, чтобы, грубо вскрикивая, резаться в домино или "соображать на троих" – нет, мужчины эти мирно и вполголоса толкуют о хлебе насущном: о халтуре налево. Слышатся негромко высказанные такие афоризмы: "Если заработаешь, так будут деньги, а не заработаешь, так и не будет денег". Или: "Были бы у меня тогда двадцать рублей, я бы дал ему, как положено, и он бы мне устроил это дело. Но у меня не было тогда двадцатки, и он мне не устроил." И рассудочно-ироническое: "Он, наверно, полсотни хотел, а вы думаете, он вам за двадцатку достанет... Не-е-т, брат..!"

...Разнеженные погодой и общими благоприятными условиями настоящего отрезка бытия, две незнакомые женщины вспоминают сана-

торий на Карельском перешейке, в котором, оказывается, обе они были: одна пять лет назад, другая – семь. Рассказывают друг другу о своей работе, о том, как хорошо, когда мастер хороший человек, и как, наоборот, плохо, когда мастер плохой человек. Рассуждают о преимуществах хорошей погоды по сравнению с плохой погодой, и вообще, о преимуществах лета перед зимой. "Летом хорошо: галош не надо, теплого ничего не надо. А зимой холодно: надо галоши, надо пальто, платок теплый. – Под пальто можно поддеть что-нибудь. – Да, хорошо "поддеть", если есть что, а если нечего? – Да уж, если нет, так и взять неоткуда. – Откуда возьмешь, если нет? – А бывает и лето такое, что не дай Бог, хуже зимы!.."

Большая часть разговоров построена на таких вот откровениях, и вся их суть конденсируется в одну известную, классическую формулу: доказательству того, что лучше быть молодым, здоровым и богатым, чем старым, бедным и больным. Пошлые разговоры, неумные, вряд ли достойные Хомо Сапинса, но – безвредные. Даже добрые немного по своему тону, и во всяком случае – мирные. Как будто нашел на людей тихий час, и злая и нелогичная человеческая их природа временно сложила голову. Вздремнула. И не проявляет себя.

Что касается фотокорреспондента, то насколько это от него зависит и в его силах, его тет-а-тет с девушкой с букетом развивается положенными путями: настойчиво, со всех сторон и всеми доступными ему средствами он обхаживает эту таинственную красавицу.

– Так где же мы встретимся сегодня вечером? У "Титана"? Я бы вас посылал как следует. Цветная пленка! Заграничная! Только для вас! Я предчувствовал эту роковую, прекрасную встречу!.. Эх, был бы я художником, я бы... Ботичелли, между прочим, может, слышали такого, он, говорят, до ста портретов написал с этой своей возлюбленной, Форнарины! Вот и я тоже!

– Симонетты, – мягко поправляет девушка.

– А вы откуда знаете? – искренне удивляется корреспондент.
– А Форнарина – это кому же?

– Рафаэль, – так же мягко отвечает девушка.

– Ну, пусть будет Рафаэль, – легко соглашается корреспондент.
– Вот и я тоже бы, как этот ваш Рафаэль. Нет, серьезно, неужели вашего портрета никогда не писали? Ну – ясно, где им – мазила-мученики, бедолаги с высшим образованием! А вам нужно руку великого мастера! Маслом, понимаешь ты, по холсту, знали они в глубокой древности такие вот секретные приемы... Вот и я бы – вот мы встретимся сегодня... так где же мы встретимся? Крайне необходима встреча! С вас одной, между прочим, можно гениальнейший фильм создать! А кто это вам букет такой подарил? – и т.д. и т.п. И прочие традиционные глупости.

Девушка со своей стороны ведет очень мило и хорошо себя. Слышится в ответ на весь этот вздор легкий, прелестный смешок иногда, в легкой улыбке блеснут прелестные зубы – и каждая такая улыбка

отравленным кинжалом подкалывает автора под ребро. А иногда и скажет одно-два слова. В общем, она его ухаживаний не принимает (что для автора очень-очень приятно), но делает это столь красиво и мило, что получается даже как-то необходимо для корреспондента, а только увеличивает желанность победы. Несмотря на то, что атаки его напрасны, он явно получает удовольствие от одного только общения, и явно чувствуется, что даже просто смотреть на эту девушку, пусть и без взаимности, для него уже наслаждение. И в этом почти бескорыстном увлечении красотой есть что-то очень привлекательное.

В вагоне то один, то другой из рассеянных по диванчикам пассажиров, с доброжелательной усмешкой поглядывает на него иногда. Дескать: токуешь ты, милый, пожалуй, что и зря, но ничего, валяй дальше, это всегда полезно! А смотреть на вас обоих приятно и забавно!.. И настроение у людей становится хорошим.

Особенно хорошим оно становится у автора, который, полностью уверившись в бесплодности усилий корреспондента, тоже почувствовал благодущие и какой-то необычный прилив хороших чувств ко всему живому и сущему!.. Да! Удивительно хорошо в этом поезде во всех отношениях и даже по всем объективно-субъективным данным. Не жарко, не холодно, не душно и не дуэт. Воздух такой приятно-ласкающий и свежий, и ни одного портрета вождей вокруг. Никакого прямого напоминания. Хорошо! И, конечно, лучше всего на свете – эта необыкновенная, прекрасная и таинственная девушка в своем нежно-цветочном платье и с букетом июльских пионов. Смотришь на такую девушку, влюбляешься в нее, и забываешь обо всем! Обо всем: о человечестве и его свойствах, о всех вопросах этих проклятых, вечных. И о нашей конкретной советской действительности, истории и идеологии, которая все-таки является БАЗИСОМ, а наша советская экономика и сельское хозяйство – не более, как надстройка на этом базисе!..

...Забываешь обо всем этом, глядя на девушку с пионами, и начинает казаться, что все хорошо, что жизнь имеет смысл, что красота и молодость вечны, и на земле наступает, воочию наступает, давно обещанный рай – когда все люди, хоть немного, но полюбили друг друга!.. И такое хорошее это чувство – крепкое, оптимистическое состояние духа!

Но мыслям таким и этому чувству мешает разгорающийся неподалеку (через две скамейки от автора) ожесточенный спор. Ссорятся две женщины, обе мощного, матронистого, семейного склада. Они сидят лицом к лицу, на двух противоположных диванчиках, разделенные окном. И одна из них хочет закрыть это самое окно, а другая, наоборот, именно это окно хочет оставить открытым. И между ними происходит следующий диалог.

Первая женщина (агрессивно, злобно и наслаждаясь своей злобой): – Ишь, барыня какая!

Вторая женщина (так же злобно и радостно принимая бой): – Сама барыня! Барыня!

Первая женщина (все с тем же злобным наслаждением и включая уже на всю катушку): – Чтобы все люди, значит, переморозились тут из-за нее, понимаешь! Ей одной хорошо, понимаешь, а другие хоть помирай! Не выйдет! Не делают у нас так-то, это не по-советски! (Понижает и меняет голос на воспитательный) – А вот надо ЗАКРЫТЬ окно, как это положено, как по правилу-то полагается, чтобы всем хорошо-то было – тогда это правильно будет! По-нашему, по-советски! (Закрывает окно).

Вторая женщина (совершенно с теми же модуляциями голоса и с меньшим злобным удовлетворением): – И-ишь, какая умная нашлась! Хочет, чтобы все люди духотой тут дышали, а на нее чтобы и ветерочек не пахнул! Эдак-то не годиться! Нельзя у нас эдак-то делать! Это не по-советски! ...А вот надо ОТКРЫТЬ окно-то, как положено, чтобы воздух свежий, как во всех газетах пишут – и всем тогда хорошо будет! Вот тогда это верно будет, правильно, по-советски! (Открывает окно).

Первая женщина (придерживает фрамугу и старается помешать): – Да ты что делаешь?! Не смей руками лезть! Дура!

Вторая женщина: – Сама дура, руки прибири! (Пытается помешать первой).

Первая женщина: – Да ты знаешь, с кем ты говоришь? Знаешь, что тебе за это будет? Ты знаешь, кем у меня зять работает?!

Вторая женщина: – А у меня самой шурин в органах!

От автора: – А, может быть, правда жизнь имеет какое-то второе и главное, неизвестное нам значение? Там, за гробом? И потому, может быть, не так уж и важно все, что происходит у нас на этой земле?



В честь "великой годовщины" .

Москва начала 70-х годов. Коллегиальное руководство. Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС – бывшее ВКП(б). Небывало выросли новые, все растущие материальные и культурные потребности трудящихся. Официально полностью запрещены пытки на допросах ("мы благополучно переболели детскими болезнями") и теперь применяются только неофициально. Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. И с нами товарищ Брежнев.

В маленькой, но отдельной веселой квартирке одного из блочно-панельных массивов Москвы изо всей довольно большой семьи дома сейчас находятся только двое: отец – старый коммунист, персональный пенсионер, и дочь – преподаватель иностранных языков в Высшей школе МВД.

Дочь (звонким голосом из другой комнаты): – Папа, тебе тут из райкома звонили, чтобы ты прочел лекцию-инструктаж членам партии нашего ЖЭКа. Что-нибудь такое в стиле: "Приметы нового советского человека как одно из величайших достижений Великой Октябрьской Социалистической Революции". Ты не беспокойся, это ничего особенно трудного: у меня есть кое-какие материалы как раз, от нашего прошлого семинара – я тебе дам. На моральный облик и сдвиги в сознании напирать надо. И как все это получается в свете завоеваний Октября... Ты уж постарайся! В честь наступающей годовщины-то!.. – добавляет она, появляясь в дверях, и с некоторым юмором вопрошает: – Ты что молчишь? Слышишь? Лекцию, говорю, прочти!

Отец (хмуро, себе под нос): – Ну вот, буду я всяким дуракам глупости всякие говорить...



Л и р и ч е с к о е .

"... В конце декабря тепло в Тбилиси и цветочные магазины торгуют гортензиями и мимозой..."

Из газет.

Тбилиси военного времени! Декабрь 43-го года!..

Много красивых, здоровых, молодых мужчин, которые откупились от фронта, сейчас в Тбилиси. Много красивых, хорошо одетых русских женщин – высокого класса эвакуированных. Базары полны через край – в госпиталях раненые пухнут от голода. Многие грузинские женщины – бледные, худые, носят траурные повязки на рукаве. Готовясь к встрече Нового, 44-го года, несут "Советское шампанское" – ящиками по проспекту Руставели; несут целиком зажаренных поросят, целых барашков на вертеле; корзины фруктов, головки сыра, оплетенные бутылки вина. Тепло: можно ходить в одном костюме, но дамы шеголяют модными меховыми пальто. Красиво! И цветочные магазины торгуют гортензиями и мимозой. Но все перемешалось сейчас и давно в моем Тбилиси... А войне уже скоро третий год, фронты истекают кровью...

Здание Центрального Телеграфа – на проспекте Руставели. Хорошее здание старой, солидной постройки: большая лестница, светлый, красивый зал внутри. Народ: точно такой же, как и снаружи, на проспекте Руставели. Фланируют по залу несколько прекрасно одетых молодых женщин, из эвакуированных. Группа молодых людей обсуждает достоинства модных габардиновых "мантелей". Возле закрытого сейчас окошечка "Прием и выдача денежных переводов" два толстых кахетинца разговаривают о том, что в каком-то районе (в Авлобарском) продается должность начальника милиции. Хорошая,

большая должность, батано! Думаю купить своему зятю!.. Сероглазый, красивый гуриец в коричневом кожаном пальто и гладкой каракулевой папаше посылает лишь слегка зашифрованную молнию о партии контрабандных иранских модельных босоножек. – Недорого просят. Пятьсот тысяч всего. – Текст принимает худая бледная женщина в черном. Движения у нее медленные и как будто ленивые. Но это не лень: она истощена. Гуриец напутал что-то в обратном адресе. Надо сделать поправку. Бумага официального бланка – грубая, серая, с какими-то щепочками и соломинками. Гуриец сердится: "Как хочешь, делай сама, дорогая!" В дополнение к стоимости телеграммы он дает ей пять рублей. Женщина чуть-чуть вспыхивает, но благодарит. Пять рублей – это сто грамм хлеба!

В центре зала находится высокая восьмиугольная стойка: здесь можно писать письма и телеграммы: вделаны маленькие чернильницы в соответствующие углубления, для ручек имеются аккуратненькие желобки. Но чернил нет, конечно. И ручек тоже нет. Красивый, широкоплечий, мужественный и хорошо одетый грузин что-то пишет своим вечным пером на блокнотном листке возле одной из граней этой стойки. Рядом, возле другой грани, очень молоденькая и очень красивая девушка сосредоточенно и страстно разворачивает и читает треугольничек фронтального солдатского письма. Каждый поглощен своим делом, друг друга они не замечают. – Зато их замечают другие.

К грузину подходит интересная, модная, крашенная блондинка в нарядном беличьем мантио и в заграничном платочке. Туфли – танкетки, сумочка в цвет, – все в ажуре. Взгляд со значением.

С трогательным выражением лица блондинка длинно и манерно просит грузина одолжить ей перо. Всего – на два слова. Ей крайне необходимо написать тут нечто очень важное. Она зашла совершенно случайно. Она забыла свое вечное перо дома. И вот такая резкая необходимость – и ни одной ручки здесь. Два слова только. И т.д.

Грузин свирепо отказывает ей. И продолжает писать.

Буквально через секунду к нему подходит другая интересная и модная крашенная блондинка, еще более шикарная: в котиковом мантио; и тоже со значением. И почти слово в слово, с теми же ужимками, обращается к нему с такой же просьбой. Грузин отказывает ей еще более свирепо.

Он ставит точку на своем писании и, сквозь зубы бормоча что-то об этих нахальных эвакуированных русских женщинах, которым нечего делать в Тбилиси, рывком поворачивается от стойки. И чуть не опрокидывает с ног девушку с письмом.

Он застывает. На лице у него – сложная смесь чувств: еще не сошло отвращение, возмущение, ярость, и уже захлестывают восторг, удивление, упоение.

Девушка поднимает на него отсутствующие голубые глаза. В руке она сжимает письмо, около сердца.

– "Одолжи ручка, одолжи ручка!" – злобно, по инерции, бормочет грузин. – Таких я близко не подойду, не то что "одолжи ручка". Бесовестные!.. Вот вас, генацвале, – и лицо его уже полностью отмякает; он заливает девушку восхищенным взглядом, – вас, генацвале, я бы всегда одолжил ручка!.. Вас бы я что хочешь сделал!..

– Спасибо, мне не надо, – тихо и еще потусторонне говорит девушка. – У меня есть.

Затем голубые ее, *Невские* глаза, как бы в первый раз видят его: сильное здоровое тело, хорошая одежда, восхищенный взгляд.

Она бледнеет, в лице появляются и боль, и обида, и готовые прорваться слезы. И, неожиданно повернувшись, легкой походкой, быстро, почти летя, она идет к двери.

В чем дело?

(Дело в том, что ей оскорбительны, отвратительны, и она устала от этих беспрерывных приставаний здоровых, сытых и наглых бездельников, которыми полон Тбилиси, в то время, как хорошие, настоящие мужчины сражаются на фронте. И только что сейчас, вот здесь, она получила письмо от своего школьного товарища с фронта: и он пишет, что ранен, а другой их школьный друг – убит. И потому она убежала сейчас, чтобы не разрыдаться тут же, на глазах этого очередного сытого нахала и приставалы. – Вот в чем дело).

Но грузин же не знает этого! И он, в свою очередь, бледнеет.

– Я вам обидел? – говорит он и бросается было вслед за ней. И со стоном, скрежетнув зубами, останавливается.

В чем дело?

Дело в том, что он несколько преждевременно выписался из госпиталя, где лежал с тяжелым ранением в ногу после Ленинградского фронта. Боль еще сильна и он довольно сильно хромотает. Сейчас он неловко ступил на эту свою раненую ногу, тело свело судорогой и дальше ему уже – стоп! – не сделать теперь ни шагу. Стоп.

– И это все? – спросите вы. – Навсегда?.. Как обидно! Как жаль!.. Они же созданы друг для друга, они похожи, они... Это же один случай из сотни тысяч! Неужели они больше не встретятся?..

Что можем ответить мы на эти справедливые требования? – Мы можем ответить одно: Не знаю! Не знаю! Не знаю... Не так часто в жизни второй раз случайно встречаются разрезанные когда-то две половинки одного яблока. И войны еще осталось целых полтора года. Скорее всего – нет. Не встретятся.



Г о л у б и .

Дело происходит (автор убедительно просит извинения, конечно) в, так сказать, вестибюле общественной уборной на Невском. В мужском отделении, натурально. В подвальном помещении. Фон: мощная, старая кладка сводов, облупленная штукатурка, свежая побелка по облупленной штукатурке, темные пятна сырости по свежей побелке. Водопроводчик бездушно и злобно возится около одной из батарей: возле него на полу на газете лежат инструменты. На маленьком столике в уголке, прикрытом "личной" старенькой скатеркой, пристроен кусок зеркала и разложены спички в приоткрытом коробочке, распечатанная пачка "Беломора", флакон с одеколоном, пузырек с йодом. На тарелке лежит кое-какая медь и в назидание и на показ всем – два неразменных гривенника.

Старая женщина, смотрительница заведения, бледная и расстроенная, то, окаменев, потерянно сидит на своем табурете возле столика, то, с выражением глубочайшей тревоги на лице, хватается вдруг за ведро и тряпку и начинает бессистемно метаться назад и вперед. В заведении сейчас "временно" отключают воду и неизвестно, надолго ли. Водопроводчик ничего не говорит: может быть, на несколько минут, может быть, на несколько дней. Это лишает старуху дальнейшего скромного притока этих самых двух- и трехкопеечных монет, которые иногда перепадают ей от наиболее щедрых клиентов. Вот и сию минуту: разные люди входят с улицы в помещение, и час самый такой хороший, вечерний, но от расстройств и переживаний женщина даже не в состоянии дать людям толкового ответа. Некоторые посетители задерживаются, чтобы вступить в мимолетный разговор или обменяться друг с другом репликами, или просто погреться, другие тут же, незамедлительно уходят. Время года – начало зимы: снег не выпал, сухо, но сразу ударил 15-градусный мороз.

В помещение входит худой, очень замерзший, и неприметного вида гражданин. Одет он в старое, вытертое "семисезонное" пальто. В руках у него шапка, еще более старая и вытертая, чем пальто. Гражданин не то чтобы пьян, но, что называется, выпивши.

Бормоча себе под нос, гражданин достает из кармана какую-то ветошку, которая служит ему, очевидно, носовым платком, и, держа в руках шапку вместе с носовым платком, открывает кран. Вода не течет. Открывает другой кран. Вода опять-таки не течет.

Гражданин, обращаясь ко всем сразу: к себе, к водопроводчику, который злобно молчит в ответ, к женщине-смотрительнице и к случайным проходяще-уходящим посетителям заведения:

– Скажи, пожалуйста, и здесь оказия... Ну что это за день такой... Что же это не течет вода-то у вас? а, граждане? ...Ась?.. А когда потечет? скоро? ...Неизвестно?.. – Ну, раз "неизвестно", ты, мамаша, тут очень много не подмолотишь... А ты, герой труда, что, неохота, небось, за одну зарплату вкалывать? Потому и "неизвест-

но" получается... А мне бы так водички надо бы – шапку вот почистить. Голубь на шапку нагадил... Может, тот еще кран попробовать, там идет... Почему же трогать нельзя? Что я его, дальше испорчу, что ли? – Не "ненормальный", а воды надо, может, там в трубе еще застряло немного. Шапку почистить хочу, сказано тебе. И испить бы...

– ...Извиняюсь, гражданин, но пройти тут все равно некуда, воды пока нет. Видишь, мамаша тут тоже вон, как без ума, мотается и герой труда в расстройстве. И другие граждане тут тоже выражают неудовлетворение. Вы бы подождали тут со мной, все теплее, чем на улице в кепчонке-то. Снега, видишь, нет, а мороз сразу хватил... А я вот – целый день, видно, такой попался, что не везет. Сверху до низу. На работе еще началось. Молоко нам положено за вредность, в нашем цехе. Обязательно должны давать молоко – не привезли, понимаешь, нам молока за вредность сегодня. Уже на второй месяц идет, как нет молока!.. Душ положен горячий, но не было душа. Чак думал горяченького в столовой нашей попить – ссохлось все внутри, как накувыркаешься там за день. Тоже не удалось: кончился кипяток в титане. На улицу вышел – так надо же! – голубь на шапку нагадил! Уж не повезет, так не повезет... Вообще-то первая мысль была: в баню бы пойти. Так ведь день же не банный.

– ...Вы, товарищ с портфелем, высказываете мнение, что делать мне нечего, вот и болтаюсь зря. Правильно угадали. Выходной у меня. После третьей смены. Осуществляю право на труд и право на отдых. Сейчас головной убор, вот, хочу привести в порядок, с вашего разрешения. Щепочкой-то я уже перво-наперво отчистил, щепку по дороге нашел. А теперь бы водой надо. Тряпочкой вот мягкой, платком носовым. И водой. Нельзя: шапка особая, подарок. Обязательно надо отчистить... – На дороге? Что "на дороге"? На дороге, говорите, я встал? Так это я извиняюсь, папаша. Только какая тут дорога, когда все равно воды нет. А я чего? Я ничего. Тоже стою тут, как дурак, – греюсь. Жду. Может, вода, в конце-концов пойдет, шапку вон надо отчистить.

– ...Погрелся уже, говорите, товарищ хороший? Это вы верно – выпил немножко, не отрицаю, Так на свои же пью. И больше бы выпил, были бы деньги. Каждый бы день истреблял! – денег нет. А ПОЧЕМУ денег нет? А ПОТОМУ денег нет, что – ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ. При капитализме человек, мол, эксплуатирует человека, а при социализме, значит, все как раз наоборот. ...Вот вы, симпатичный дяденька в ушанке, считаете, что я пьяный и лишнего болтаю? Это спасибо вам, конечно, за вашу заботу и хорошее отношение. Только если разобраться, какой же я пьяный, сколько я ее выпил-то, есть о чем говорить! На пустой желудок, сказать по-правде, потому и развозит. Пиво бы лучше, там хоть какое-то питание есть кроме вреда, да за пивом очередь была громадная, а водка без очереди... Вредно, конечно вредно, кто спорит. Так зачем же ее продают тогда, коли вредно?.. А затем ее продают, что тут все зависит от взгляда на ве-

щи. Затем, что нам с вами, как отдельным ЕДИНИЦАМ, может быть, и вредно, а государству нашему, как ОБЩЕСТВУ, – полезно. ...У меня сосед, например, по квартире, бывший следователь, и фамилия, кстати, подходящая – Му-сор-чук, совсем молодой еще; из органов пришлось отставить его по причине беспорядочного алкоголизма: сейчас пенсию особую получает за свое расстроенное здоровье и особые заслуги. Так он всю эту свою особую пенсию на водку перегоняет. Это ведь какой же доход получается государству? Немалый получается доход. Таким товарищам и персональный вклад дать не жалко. Все вернет родному правительству...

– ...Никакую не агитацию, а воды вот жду, а воды нет... Обществу нашему, говорю, полезно. Она правительству около трех-четырех копеек обходится за литр, а продают ее по три с лишним целковых поллитра. А нашему государству очень нужны деньги. Очень. Потому, что КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ. И деньги нам нужны на разведку. Все деньги у нас на разведку идут. Ну, и правительству, как положено, дачи, заборы трехметровые, топтуны эти, что покой охраняют, их тоже надо прилично содержать. А цены у нас все с потолка – хоть на водку, хоть на что ни есть.

– ...Никакую не критику я не навожу, а дело есть: воды жду-жду. Вот товарищ тоже воды ждет. Где тот товарищ, что воды со мной ждал? – ушел уже. А мне шапку надо обязательно почистить; нельзя, шапка с военного времени. Память. А тут голубь нагадил... И не голубь вовсе как будто, а целая корова. Хотя откуда же сейчас корова, это еще при царском режиме коровы были, полсотни лет назад. ...А некоторые вот ненавидят их за это, к слову сказать, голубей. Они, говорят, дескать, везде гадят и за это их ПРИНЦИПИАЛЬНО надо уничтожать! Есть такое мнение. И довольно сильное мнение. Но я не согласен лично. Я так думаю: а люди разве друг другу не гадят?.. Сосед соседу разве не гадит? – Гадит. Жена мужу? – Гадит. А муж жене?.. А на работе друг другу что делают люди? Это ведь уму непостижимо, что делают. И мучают как друг друга люди, и смерти друг другу жаждут? И в загробный чин производят! Чего только не выдумывают люди на муку и пытку друг другу! Так что же, разве это принципиально уничтожишь? И если мы возьмем, к примеру, самый простой факт: зарубежный лагерь возьмем. Там, пишут в газетах, преступность среди народа большая. А у нас? – та же преступность, только на ВЫСШЕМ УРОВНЕ – среди руководства.

– ...Что? ...Что вы сказали, молодой человек? Кто? Кто контрреволюцию разводит? Это я, по-вашему? Никакую контрреволюцию я не развожу, а стою, никого не трогаю. Воду жду. Вдруг вода пойдет. И на мороз выходить неохота: на шубу я себе не заработал пока. А вам что здесь надобно? Мне вот голубь на шапку нагадил, а вам ведь никто не нагадил. Вам, в вашем ружьем заграничном тулупе, нашей дефицитной пыжиковой шапке и голубых штанах!.. Приоделся, приобулся – ну, и шагаи себе дальше к своему телевизору твердой дорогой. Ни о чем не думай. Иди, говорю, иди. Закрыт туалет. Видали,

какой умный нашелся! Про революцию тоже взялся объяснять, дрозд желторотый!

– А он знает, что это такое? Что это за революция такая была?! Он хорошей-то жизни ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ и видеть никогда не видал! Что же он может о той нашей революции понимать?! Я мальчишкой был, и то помню, что наделалось от этой революции. Тут вон голубь один – а это ведь всю страну изгадили! Всё – перевернули! Переломали! Изнасиловали! Оплевали!.. Вот она какая, революция-то была!

Книги об этом еще нет, вот что. ...Отец пильщиком был до революции. Самые бедные это люди были, самые несчастные считались. Потому что, ну какая же это профессия? Кто же пильщиком не может быть?.. Тридцать копеек в день получали, не больше. И от бедности каждый день напивались с горя, в царское-то время. А я, имея такую свою квалификацию – раз в неделю не могу себе позволить при наступившем социализме и наступающем коммунизме! "Нехорошо"? – Что "нехорошо"? Конечно, нехорошо, когда они ее из опилок гонят, хозяева-то наши родные, народные. Сивушные же масла! И от этого она мутной пленкой как бы оседает народонаселению на мозги. А до революции-то ХЛЕБНОЕ вино пильщики истребляли! "Николашка был дурак, а калач-то был пятак," – вот нам как отец сказывал. Отец, правда, не пил. Ни-ни. Он эту революцию на дух бы не подпустил. Вот какая она, революция, и с чем ее едят. А он меня учить тут зачал, – этот, в заграничном тулупчике...

– ...Ах, вы все еще не ушли! Или, может, специально вернулись – арестовать меня? "Подонок" – вы изволили выразиться? "На всяких ... Крестов не хватит?" Что ж, вполне возможно, вам виднее, что там в Крестах делается... А я, хоть и "подонок", но всю войну, между прочим, на передовой был. От звонка до звонка. Отпуска – ни одного дня. Ни дня в тылу. В госпитале – ни одного дня! За всю войну ни разу ранен не был! Мечтал, хоть бы ранили, Господи! Хоть бы отдохнуть бы!.. Не пришлось отдохнуть. Все на передовой. Таким вот невидным из себя, как я, всегда так везет. И такой я усталый был, такой усталый, что вот через десятки лет, кажется, а я все еще усталый...

А сколько я видел, как люди умирают – это жить не захочется. А сколько я видел как люди гадят друг другу на той же войне и после войны особенно – это опять же жить не захочется. Как пошли нас особы мотать после войны, нас – победителей-то! Как пошли мотать нас дезертиры-опричники... И вот при такой ситуации ни разу раненым не быть? – это с ума можно свихнуться...

...Вот вы, гражданин молодежный в голубых штанах и тулупе, вы, что "подонком" меня перекрестили, вам это все незанятно, конечно. Вам, главным образом, хочется телевизор свой сохранить и, может, даже холодильник. Других идей у вас нет. И за эти два предмета искусства вы на свою собственную совесть кругом наплевать согласны. Ведь согласны, правду я говорю? И, верно, еще квартиру отдельную надеетесь спроворить: главная и основная цель вашей жизни? Чтобы

"культурная" жизнь, чтобы не водка, а коньяк. Знаю все это, видел. Такие трофейщики на войне вот тоже очень огромный успех имели...

– ...Не я выражаюсь, товарищ военный, а гражданин вон выражается. Который здесь только что был. В эдакой новой, понимаешь, чистенькой шапочке, ничем не запятнанной, в заграничных штанах выдающего цвета. А я ему и говорю: у нас чистеньких НЕТ! Не бывает! Все мы выше головы – в, тьфу, только выражаться не хочется, хоть я и пьяный, а то сказал бы я, в чем мы все ходим. Поскольку – ВСЕ виноваты! Потому что во все времена головой надо думать, и, главное, совестью надо шевелить. А он меня "подонком" за это обозвал.

– ...Что значит "сделал свое дело и уходит"? Никакого я своего дела не сделал еще – мне шапку почистить надо. Воды же нет, может, будет. Надо дожидаться, снега-то на дворе нет. Что же мне, языком слизывать, что ли – шапка фронтовая, говорю, от друга память. Офицер оставил, лейтенант, друг фронтовой. Раненый умер. Пуля в живот попала. Страшно мучался в нашем полевом медсанбате, а по-правде говоря, в полуобгоревшем сарае, куда я его оттащил, так сказать, "под грохот боя". Первая помощь уже после на санях приехала...

Тоже мечтатель был. "Очень, говорит, у нас много зла и неправды. Но, может быть, это последняя жертва, и нашей кровью война все это смоет. И будет прекрасная, светлая жизнь..." Это я много раз, между прочим, такие слова слышал: когда человек умирает, ему, чтобы не так обидно было, всегда лучшая жизнь впереди мерещится... С лейтенантом об эту же пору было. Только сейчас снегу ни порошинки, вон, шапку почистить нечем, а тогда его, как нарочно, навалило, чтобы воевать было труднее. Природа всегда так навыворот делает...

Принято называть теперь, что сражалась за родную землю. И с этим я не спорю. Но – чья она, земля-то родная?.. Я вас спрашиваю, товарищ военный, – чья? "И под фальшивыми знаменами здесь настоящей смертью умирают настоящие герои," – как приблизительно сказал один неизвестный, но прекрасный поэт. Вот и я вас спрашиваю: где она, земля-то наша? Вон – голубь на шапку нагадил, вот и вся земля. Извините, что задерживаю вас своими глупыми речами, товарищ военный. И то, поспешать вам надо, службу исполнять...

– А вы, молодежный товарищ трофейщик, зачем вы пришли сюда вообще? И зачем вы рядом с простым народом этим делом, так сказать, занимаетесь, когда у вас скоро будет своя отдельная микроквартира и свой личный санузел! Вроде горшка с ручкой внутрь. Как вам при коммунизме обещали, чтобы ПО-ПОТРЕБНОСТЯМ!

Так что же, скоро вода-то здесь пойдет? Пойдет или не пойдет? Скоро или не скоро? ...Ну, это, значит, не пойдет. Что ж, пойду я сам тогда. Пойду ходить-бродить, "искать по свету..." – как в прежние времена, до революции, культурно выражались, по-дворянски...

А сейчас народ выражается гораздо проще:

Как у Дуньки в ...
Поломалась клизма.
Бродит призрак по Европе,
Призрак коммунизма.

– Эй, трофейщик, слышишь? Это к тебе относится. Не люблю выражений, но из песни слова не выкинешь – получай на память! Как раз для тебя в нашу "юбилейную" годовщину народ сложил! Поскольку завоевания Октября ты очень уж тут грудь защищал!



О Т Р Е Д А К Ц И И



1. Рукописи, присылаемые в редакцию, должны быть напечатаны на машинке, через два интервала, на одной стороне листа. Сноски, примечания, цитаты на иностранных языках должны сопровождаться точным русским переводом. В текстах рецензий следует обязательно указывать выходные данные рецензируемых книг: место, время издания, название издательства.

2. Поступившие в Редакцию рукописи назад не возвращаются.

3. По поводу непринятых рукописей Редакция ни в какие объяснения не вступает.

4. Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи, вносить необходимые стилистические изменения, исправлять очевидные смысловые и грамматические ошибки и опiski. Данное правило распространяется на произведения всех жанров. Лишь в особых случаях Редакция будет при этом запрашивать дополнительные разъяснения авторов.

5. Статьи, заявления, открытые письма, различные полемические материалы, помещенные на страницах "Современника", подписанные автором или инициалами, не обязательно выражают мнение Редакции.

6. Рукописи, присылаемые в Редакцию, должны быть подписаны автором с указанием адреса. Псевдоним оговаривается особо. Тайна псевдонима Редакцией гарантируется.

7. За исключением совершенно особых случаев, Редакция принимает только рукописи произведений, ранее не публиковавшихся.

8. В случаях публикации произведений авторов Самиздата или других авторов из СССР, предоставивших свои рукописи "Современнику", Редакция не считает себя при этом связанной какими-либо правилами, действующими на территории Советского Союза.

ВЛАДИМИР КАЗАКОВ

РИСОВАНИЕ

увидев девушку с волнистой светлой прядью
волос, в которые вонзало солнце свет,
я быстро подошел и вежливо: присядем –
сказал ей – написать желаю ваш портрет.

немного смущена и польщена немного,
присела юная, потупя чистый взор.
я стал чертить углем, моля неслышно Бога,
чтоб древний мавзолей не втиснулся во двор.

но скоро детвора ко мне на плечи села,
и, деву заслонив, вскружился рой старух.
я, уголь заменив куском большого мела,
на черной простыне стал рисовать на слух.

о, солнечный пробор! о, гребень частых звуков!
вонзающийся хор летящих голосов!
в то время как спины невыносима мука,
как прочен чистых глаз задвинутый засов!

НАСТУПЛЕНИЕ ВЕСНЫ

угрюмый милиционер
на стенд из красочных фанер
отбросил тень своей фигурой,
служа художнику натурой.
но вдруг, на свадебное небо
взглянув, скомандовал "налево!"
весне, деревьям и местам
с прозрачным золотом креста.
его погоны голубели,
как две весны из колыбели.
и только кованный ручей,
по камню склизнув синей сталью,
ударил сапогом лучей
в лицо сугроб зимы усталый.
и снег (самец он или самка?)
зубами выбитыми шамкал

ОКНО

бредет окно ночное,
бредет сквозь топи звезд,
склоняясь над водою,
звения о стебли вёрст.

в окне свет тусклый болен,
свеча бледна сквозь сон.
с бродячих колоколен
летит усталый звон.

в стекле дрожат соборы,
туман грозит перстом,
темно закрыв собою
златой порыв крестов.

бредёт окно далёко
с погасшею свечой.
отлит чугунный локон
и детское плечо

ПОЛДЕНЬ

запах сирени прозрачен.
купол слепит облака.
плеск и веселие прачек
прячет в ресницах река.

полдень все звонче и звонче.
колокол, бос и могуч,
дали лесные пророчит
с громом и пением туч
с громом и песнями туч



ЛЕВ ФАБРИЦИУС

ВОЗВРАТ

(Продолжение. Начало в 33-34 номере).

Говоря честно, в Днепропетровске Фалькенхорсту крупно повезло. Работа на стройках города была не слишком трудной; питание, хоть и скверное в общем, все же не доводило до откровенной голодухи. Словом, жить было можно, а так как бездеятельность не лежала в натуре Фалькенхорста, то он решил в свободное время заняться русским языком, который когда-то учил еще в школе артиллерийских офицеров.

Русский алфавит он помнил. Без особого труда удалось уговорить одного из конвойных, молодого парнишку, мобилизованного уже после войны и потому относившегося к немцам скорее с любопытством, чем с неприязнью, достать ему нужную книгу. Через несколько дней конвойный – звали его Михаил – принес ему запыленный, изодраный, но достаточно полный учебник русского языка. В ответ Фалькенхорст подарил солдату свое единственное сокровище – пишущую ручку, которую ему удалось пронести через бесчисленные обыски. Одно было плохо: не было словаря, но Фалькенхорст с вечера записывал незнакомые слова, а днем, во время перерыва, спрашивал у Михаила, с которым он почти подружился, что эти слова значат. Михаил объяснял всегда охотно – сам он хотел подучиться немецкому – так что оба были довольны. Фалькенхорст с юности отличался языковыми способностями и успехи он делал быстрые. В бараке его прозвали "профессором".

Однажды утром, когда грузовик доставил пленных на место работы, где они занимались расчисткой оставшихся после бомбежек руин, Фалькенхорст заметил, что водитель-немец, известный под кличкой "Горилла", совершенно пьян. Михаил, подойдя к машине, приказал "Горилле" вылезти из кабины, но тот не подчинился. На шум пришел начальник конвоя – старший лейтенант Миронов. Он коротко крикнул выкинуть "Гориллу" из кабины, что и было тут же исполнено.

— И где он каждый раз ухитряется водку доставать? — удивлялся старший лейтенант. — Который раз уже... Кто же теперь машину поведет? — Он посмотрел на стоявшего рядом Фалькенхорста и спросил: "Ты умеешь машину водить?" — Умею. — Понимаешь что-нибудь в машинах? — Я был автомехаником. — Черт знает что такое! Не можем найти автомехаников, а они кирпич разбирают! Ладно... Теперь ты будешь водить грузовик, а "Гориллу" пошлем на кирпичи, чтоб его и духу здесь не было...

Развязка истории наступила вечером того же дня. Сидя в бараке, занятый выписываньем русских слов, Фалькенхорст не заметил, как вошедший "Горилла" приблизился к нарам, на которых тот сидел, и вырвал из его рук книгу. Фалькенхорст вскочил: — Ты что, с ума сошел?!.. — Не с ума сошел, а я тебя, подлюгу, убью сейчас! — сказал "Горилла". Тяжелый кулак, направленный в лицо Фалькенхорста, не попал в цель. — Фалькенхорст от него уклонился. Ответный удар — быстрый и точный — был нанесен в незащищенный подбородок "Гориллы". Тот медленно, помахав руками, как будто кого-то приветствуя, свалился на спину. — Ну как? Встанет, не встанет? — зазвучали оживленные голоса. — Не встанет! — Встанет, смотри, уже встает... — "Горилла" встал и Фалькенхорст спросил: "Ну как, будешь меня убивать?" — Буду. Не в этот раз, так в следующий!..

Два удара, нанесенные Фалькенхорстом, последовали один за другим так быстро, что казались одним. Один пришелся по солнечному сплетению, другой — по лицу. На этот раз "Горилла" уже не поднялся. Он лежал без движения и кровь, стекавшая с разбитого лица, медленно расплывалась по полу барака. Поднялся шум, все повскакали с нар. — Ай да профессор!.. Кто бы мог подумать?!.. С виду мухи не обидит, а тут такого быка уложил!.. Ну, поделом этой свинье!.. Смотри-ка, все еще лежит без сознания...

На шум в бараке прибежал Михаил. Когда окружившие "Гориллу" отступили, Михаил спросил с удивлением: "Эрих, это ты его?" — Он меня убить хотел, все слышали, — ответил Фалькенхорст. — Хорошо, унесите пока этого пьяницу, — сказал Михаил, — а я пойду доложу старшему лейтенанту. И пусть кто-нибудь пол помоеет, а то потом кровь засохнет, не отскребешь...

"Гориллу" вынесли и положили у стены барака. Пришел старший лейтенант, оценил "чистую работу" Фалькенхорста и приказал отправить зачинщика драки в изолятор. — А ты, Гизеке, — добавил он, — забирай свои манатки и переходи в шоферский барак. Будешь теперь жить там.

* * *

Какое счастье иметь собственную кровать! Пусть даже и не с пружинным матрацем, а с обыкновенным, набитым стружками, мешком, такой же подушкой, и с простынями, скроенными из какого-то

грубеишего холста. Дело не в подушках и наволочках, а в том крохотном уголке, где человек может чувствовать себя почти независимым от других.

Фалькенхорст принес свои вещи, запихал их под кровать, с наслаждением уселся на ней и спросил: "Что это такое у вас здесь?.. Бункер генерального штаба или просто отель на Унтен ден Линден?" – Послышался смех. Один из механиков, лицо которого уже настолько пропиталось маслом и сажей, что он походил на негра, подошел к Фалькенхорсту и, улыбаясь, сказал: "Мы здесь живем неплохо, наш оберлейтенант нас в обиду не дает. А вот тебе мы очень благодарны за то, что ты нас от "Гориллы" избавил. Мы уже все знаем от Миши."

На новом месте работалось легко. Фалькенхорст водил грузовик недели две или три, а потом остался на постоянную работу в авторемонтных мастерских. Здесь ему нравилось. Мастерские были за лагерем, перед ними простирался громадный плац, к которому примыкали новые, только что отстроенные здания. Общее впечатление чем-то напоминало Фалькенхорсту казармы его полка в Кенигсберге. Иногда казалось, что сейчас войдет Зееберг и спросит: "Ну, как подвигается сегодня работа, Эрих?"

Да, бедный Зееберг... Так он и остался под Курском со всей нашей батареей. Сколько нас тогда уцелело? Человек десять?.. Не более того...

Шел шестой год со дня подписания капитуляции в Берлине. Фалькенхорст продолжал заниматься русским языком, делая большие успехи. Однажды вечером, незадолго до окончания работы, Фалькенхорст помылся, причесался и пошел в книжный магазин, который он недавно заметил, проезжая мимо. Продащица была занята, и Фалькенхорст стал молча рассматривать расставленные по полкам книги. – Ну, Достоевского я не возьму, слишком трудно... А вот Толстого – пожалуй... В это время продавщица повернулась к нему. – Вам что, гражданин? – спросила она. – Я хочу "Войну и мир". Вот эти три тома. Она завернула ему книги в старую бумагу. Фалькенхорст заплатил и вышел из магазина.

У лагеря он наткнулся на своего начальника – старшего лейтенанта. – Гизеке, это что? Водку покупаешь? – спросил Миронов. – Нет, не водку. Книги. – А ну-ка, покажи! – Фалькенхорст развернул сверток. – Ого! Да ты далеко продвинулся... Это хорошо. Тебе русский язык всюду сгодится. Кстати, – продолжал Миронов, – зайдем ко мне. У меня хороший русско-немецкий словарь есть. Я им не пользуюсь, а тебе без него нельзя. – Через несколько минут Фалькенхорст вышел из кабинета Миронова с толстым словарем в руках.

Поползли слухи о репатриации. Было известно, что уже возвращаются больные и многосемейные. На столиках у кроватей в бараке появились семейные фотографии в красивых металлических рамках,

сделанных, конечно, самими механиками в их же мастерской. Стали приходить посылки из дому. Сосед по койке спросил Фалькенхорста однажды, почему он не получает никаких писем. Фалькенхорст посмотрел на него и медленно произнес: "Не от кого получать." После этого его такими вопросами больше не беспокоили.

* * *

В мастерскую старший лейтенант Мионов пришел не в духе — это сразу было видно. Пройдясь взад и вперед, он остановился. — Не знаю, кто нам подложил такую свинью, честное слово, не знаю, — сказал он. — Но факт тот, что пришло распоряжение послать шесть из наших двенадцати механиков куда-то, черт его знает куда, не то в Заприуралье, не то в Зауралье... Объясняют они это тем, что наша работа в мастерских слишком расширилась, и что мы работаем не только на горсовет, но и на частников... Пронюхали, мать твою... А то им невдомек, что без частников с их машинами мы бы не жили, как сейчас... — Мионов ухмыльнулся. — Каждый день у нас мясо, хлеб, все, что хочешь. И все это ни гроша государству не стоит. Ведь частными машинами мы в казенное время не занимаемся? Так что нечего было весь этот сыр-бор заваривать... Но, видно, делать нечего: придется шестерым из вас катиться в это чертово Заприуралье... Жаль, но придется. Вот вам список, тут все фамилии перечислены. — Мионов помолчал. — И вот что я думаю, братцы. Кончайте сегодня пораньше, а потом вечером я приду, принесу кое-что. Выпьем на дорожку.

* * *

Мионов пришел после восьми. Принес две бутылки водки и какой-то сверток. Протягивая его Фалькенхорсту, он сказал: — Вот это тебе, Гизеке. Ты Толстого любишь, так вот тебе еще — "Анна Каренина". Наверно, тебе будет интересно узнать, как наша аристократия когда-то жила. — Фалькенхорст начал его благодарить, но Мионов отмахнулся: — я знаю, что ты не сильно пьешь, так вот тебе кое-что на память.

Уже позже, вечером, подхмелевший Мионов говорил Фалькенхорсту: — Не понимаю я вас, немцев, честное слово, не понимаю... Вот сидим мы все сейчас здесь, выпиваем, все мы, вроде, как друзья. Почему-то я должен сторожить вас, чтоб вы не убежали, а вы должны стараться отсюда бежать. При случае мы убивать друг друга должны. Что-то мне все это непонятно... Я за всю свою жизнь немца не видел и на войне не был. Из училища вышел, когда война уже кончилась. А вот мой отец пошел на войну, вернулся героем, а левой руки нет... А был он пианистом, в симфоническом оркестре играл, на концертах выступал. А какой он теперь пианист? Без руки-то?..

— Людвиг, — обратился Мионов к пожилому гамбуржцу, бывшему за повара в этой своеобразной республике, — у меня, кажется, начинает в глазах двоиться. Вон та бутылка, вон та, в конце стола. Я замечаю, что в ней десять минут назад никакой водки уже не было, по-

том она вдруг наполнилась, потом опять опустела, а теперь снова полная стоит... Ты можешь мне это как-то объяснить?.. – Это вам просто кажется, господин оберлейтенант, – невозмутимо пояснил Людвиг, – или же на ваших глазах совершается чудо, а чудо объяснить невозможно. – Хорошо, пусть это будет чудо, только ты присмотри, Людвиг, чтобы оно слишком часто не совершалось, а то мы все... – Миронов громко икнул, – все можем напиться... – он икнул снова – до чертиков... или до этого самого... Заприуралья...

* * *

В эшелоне почти не обыскивали. С едой тоже был полный порядок: об этом позаботился Людвиг. Фалькенхорст постарался, чтобы все шестеро попали в один вагон. Сам устроившись в углу, он удостоверялся в целости письма, которое ему дал Миронов перед отъездом. В письме он рекомендовал комендатуре лагеря шестерых военнопленных как высококвалифицированных автомехаников.

Разделили их сразу же по прибытии в новый лагерь, когда этап начали разбивать по баракам. Четверо из их группы оказались вместе с Фалькенхорстом. Освоившись немного на месте, тот пошел в комендатуру, с интересом приглядываясь к лагерным строениям и удивляясь изрядной запущенности территории лагеря. За зоной был виден сарай, перед которым стояло несколько грузовиков, на одном капот был поднят. Двое каких-то рабочих копошились в моторе. Дальше за сараем виднелись два приземистых, по виду нежилых, здания.

Придя в комендатуру, Фалькенхорст обратился к дежурному с просьбой доложить о нем коменданту. Дежурный вернулся и позвал Фалькенхорста. Фалькенхорст вошел в кабинет, отрапортовался и протянул конверт. Пока комендант читал письмо, он внимательно рассматривал этого человека в мундире с погонями майора МВД. Майор не выглядел привлекательно: пожилой, маленького роста, большая пролысь на седеющей голове и утомленное, землистого цвета, лицо. На столе в пепельнице лежала груда окурков. – А ведь мы с ним в одном звании, – мелькнуло в голове Фалькенхорста, но он тут же сам себя одернул: – Ну, ну, не забывайся, унтер-офицер Гизеке!..

– Я ознакомился с письмом, – сказал майор сухо. – Что ты можешь к этому добавить?

– Могу добавить, господин майор, что в Днепропетровске, под руководством стающего лейтенанта Миронова за два года из ничего мы создали первоклассную авторемонтную мастерскую. Я полагаю, что мы можем повторить это и здесь, если вам это желательно.

– Желательно? – язвительно усмехнулся майор, – у нас никакого транспорта вообще нет. У нас всего пять грузовиков, из которых один может быть, и работает... У нас два вольнонаемных шофера, которые в ремонте ничего не понимают. Завтра мне нужно выслать в город три грузовика за припасами, за инструментами и за прочей дребеденью... Вот каково наше положение... Прислали меня сюда месяц тому назад и до сих пор я ничего не могу получить. Это же считается

лесоплавальный лагерь, лесозаготовка, а всех инструментов у меня – шесть пил и двадцать топоров. Прислали людей, а продовольствия – на одни сутки. Чем же я их буду послезавтра кормить?.. – Майор замолчал и, закурив новую папиросу, глубоко затянулся. – Так что можно тут предложить, Гизеке?

– Могу предложить наладить транспорт. Когда вам нужны эти три машины на завтра?

– К семи часам утра.

– Хорошо. Теперь я попрошу вас, господин майор: во-первых, разрешить поселить нашу группу в бараке рядом с гаражем.

– Вы хотите, чтобы я вас всех сразу расконвоировал?

– Да, господин майор. Это будет удобнее и проще. Потом, надо объявить о наборе автомехаников, Возможно, желающих найдется человек сорок-пятьдесят, но мы возьмем только шесть – на каждого по одному помощнику. Ну, и в-третьих, господин майор, пошлите сегодня вечером наш паек прямо в гараж, должно быть, сегодня всю ночь проработаем. Кстати, в гараже инструменты какие-нибудь есть?

– Не знаю, не думаю...

– Ну, это ничего, господин майор, мы привезли почти полный набор инструментов, как-нибудь обойдемся.

Майор слегка недоверчиво улыбнулся, потом расхохотался. Его лицо утратило недовольно-сонное выражение. – Это я первый раз в своей жизни вижу!.. "Походная ремонтная артель "Авторемонт"!.. Замечательно!.. Даже со своими инструментами. Ну, хорошо. Договорились. Я, кстати, pošлю туда человек двадцать с метлами и тряпками, пусть они и барак, и гараж приведут в божеский вид. Все равно эта орава шатается по лагерю и ничего не делает.

* * *

Через полчаса "артель" осматривала стоящие перед гаражом машины. Одного из механиков, Ганса, Фалькенхорст послал присмотреть за уборкой. Положение было неважным: у одной машины был поврежден кузов, но мотор как будто работал. С другими тоже надо было повозиться. Запасных частей не было, решили брать части из разбитой машины. Наладили освещение. Когда в барак принесли ужин, работа была в полном разгаре.

Сделали перерыв. Барак нельзя было узнать. Он весь сиял чистотой. Посреди комнаты возвышался стол. Было даже шесть стульев.

– Что ты успел с этим окном сделать, Ганс? – спросил Фридрих. – Ведь тут были два разбитых стекла, я сам видел.

– А я просто из соседнего барака велел принести и вставить, так что у нас теперь все окна целые. И посмотрите, как они здесь едят, не хуже, чем мы в Днепропетровске ели, – сказал Ганс, показывая на котел. – В самом деле, на каждого было по большому куску мяса, кроме похлебки, и по краюхе хлеба.

– Это для нас особое угощение, Ганс, – сказал Фалькенхорст. – Но если мы постараемся, то и дальше будет не хуже. Сегодня ночью

все решится. Дело обстоит так: к семи часам утра три машины должны быть на ходу, я это обещал майору. Если мы не приведем их в исправность – моему обещанию будет грош цена, и майор больше мне никогда не поверит. Поэтому работать будем всю ночь. Два человека на машину. Перекур делайте, когда хотите, но к семи часам три машины должны быть готовы. А сейчас – двадцать пять минут на ужин и отдых, и марш на работу!

В два часа ночи заработала первая машина. Фалькенхорст сказал: – Мы с Гансом идем спать. Разбудите меня, когда отремонтируете следующую. Разбудили его в три часа. В четыре часа утра заработал мотор третьего грузовика.

– Хорошо, – сказал Фалькенхорст, – теперь трое из нас выведут машины и испробуют их на дороге. Пойдете колонной. Потом, когда вернетесь, чтоб машины поставить по ниточке у гаража. Ясно? Остальные идут спать.

Машины прошли мимо спящего лагеря, сотрясая ревом моторов начинающую светлеть тишину раннего утра, и через полчаса вернулись, замерев в походной готовности у ворот гаража.

В шесть утра Фалькенхорста разбудили. Без четверти семь он направился в комендатуру, но встретил майора на подороге. Обратившись по всей форме, Фалькенхорст стал докладывать, но майор прервал его: – Не надо, весь лагерь знает, что машины работают.. Я сам всю ночь не спал... но, честное слово, молодцы, хвалю. Похоже на чудо. А вон и Василий Григорьевич едет, – прервал он сам себя, заметив подъезжающего на велосипеде человека в кепке, – наш заведующий отделом транспорта. Вы с ним легко поладите, он очень даже пожилой, так что всей работой вы будете заведовать, ну, а он – по штатам полагается... Понятно?

Подъехавший слез с велосипеда.

– Вот, Василий Григорьевич, ваш новый помощник Эрих... Как вас по отчеству? Павлович?..

– А, ну, очень приятно... Значит, Юрий Павлович? – Старик плохо слышал на левое ухо. – А я так Василий Григорьевич. Очень рад, а то мы здесь никак управиться не можем...

Это видно, – подумал Фалькенхорст, но от реплики воздержался.

– Вот что, Василий Григорьевич, – деловито сказал майор, водрузившись в своем кресле и перебирая на столе заготовленные с вечера бумаги, извлеченные им из папки с обычной надписью "Совершенно секретно". – Немедленно поезжайте с Эрихом Павловичем в город по этим трем адресам и загрузите машины. – Майор вложил несколько листочков в официальный, украшенный штампами МВД, конверт. – На все это уже имеется договоренность. Я сейчас пришлю четыре человека для погрузки. Самое главное – это инструменты, пилы и прочая дребедень, без чего нельзя начать работы. Без них не возвращайтесь.

Остановка на последнем складе была самая продолжительная.

– Вот вам список, – сказал Василий Григорьевич, протягивая завкладом письмо майора.

Заведующий лениво просмотрел его и категорично сказал:

– Пятьсот пил дать вам не могу.

Василий Григорьевич беспомощно заморгал глазами и сокрушено взглянул на Фалькенхорста.

Целый день безрезультатных почти путешествий по складам после столь напряженной ночи и бесконечных, но пустых переговоров с заведующими на предыдущих складах истошили терпение Фалькенхорста.

– Не можете дать? – спросил он строго-официальным голосом. – Майор мне говорил, что у вас с ним была полная договоренность по этому вопросу.

– Да, но это было больше месяца назад. С тех пор многое изменилось.

– Значит, пятьсот пил вы нам дать не можете? – переспросил Фалькенхорст, медленно, но значительно произнося каждое слово.

– Не могу.

– Хорошо. Тогда сделаем так: сейчас я здесь внизу напишу, что, несмотря на договоренность, пятьсот пил вы нам выдать отказываетесь, а вы под этим подпишитесь.

– Как это так, подпишусь?

– Как все подписываются, ручкой или карандашом.

– Я же говорю, что пил у меня нет!..

– А четыре недели назад вы заверили майора, что пилы у вас есть. Вы знаете, как это называется? – Саботаж! Вы срываете начало работ по выполнению государственного задания.

Последние слова, произнесенные Фалькенхорстом с "металлом в голосе" произвели нужное впечатление, и заведующий явно струхнул.

– Хорошо. Я посмотрю, может быть, пятьсот пил и найдем.

– Дальше. Триста топоров. Они у вас найдутся, надеюсь?

– Найдутся.

Василий Григорьевич тоже приободрился, видя такой оборот дела.

– Потом, триста лопат нам нужны, – добавил он, присоединяясь к Фалькенхорсту.

– Э, нет. Майор ни о каких лопатах не говорил.

– Майор забыл, – с тем же "металлом" в голосе подал реплику Фалькенхорст.

– Ладно. Лопаты на складе есть.

– Полторы тысячи напильников для пил, трехугольных.

– Ну, этого-то я вам дать не могу. Во-первых, о напильниках никто мне даже и не заикался, а, во-вторых, я не знаю, есть ли они у нас на складе вообще.

– Мне не хочется повторять, на что я уже намекнул, но вы знаете, что такая затяжка в снабжении лагеря может иметь неприятные последствия для вас лично.

– Для меня? – спросил заведующий.
– Именно, – подтвердил Фалькенхорст.
– Хорошо. Напильники будут. Что еще.
– Тридцать точил.
– Ладно. Точила выдам. Это все?
– Нет, не все. У вас тол на складе имеется?
– Толь? Кажется, есть.
– Хорошо. Погрузите тогда рулонов пятьдесят. Нам нужно для ремонта крыши комендатуры. И смолы бочек пять... Вот это все.

Уже по дороге обратно, сидя в кабине грузовика рядом с Фалькенхорстом, Василий Григорьевич вдруг лихо сдвинул засаленную свою кепчонку и расхохотался дребезжащим старческим смешком. Фалькенхорст покосился в его сторону.

Василий Григорьевич не унимался. – Здорово я его... здорово подкузьмил, Юрий Павлович...

– Что значит "подкузьмил"? – спросил Фалькенхорст.

– А! – махнул рукой Василий Григорьевич. – Все забываю, что ты немец... Ну, подкузьмил – это значит обвел вокруг пальца. Понимаешь?

– Вроде "мальчик с пальчик"? – спросил Фалькенхорст.

– Вроде, – затрясся от нового смешка Василий Григорьевич. – Только похуже. Этот завкладом, хоть и мужик, чище Бабы-Яги какой-нибудь. Он ко мне, когда бочки грузили, подошел и тихо так спросил: "А это что за товарищ с вами приехал? Из Центра небось?" – Я сначала не понял, что за "товарищ", а потом смекнул: если я ему скажу, что ты ээк, не видать нам наших бочек и пил – останутся от них козьи рожки да ножки. Ну, я и сказал ему этак уклончиво: "Может, из Центра! Кто его знает? Прислали..." – Василий Григорьевич снова прыснул, толкнув в бок Фалькенхорста, очень довольный собой. – А что, разве не прислали?.. Правда ведь?..

– Это уж точно, – подтвердил Фалькенхорст. – Что прислали, то прислали...

После этой "победы в снабжении" заключенный Эрих Гизеке приобрел в глазах коменданта лагеря такой авторитет, что бесконвойное положение его самого, а также его товарищей по авторемонтной бригаде, казалось чем-то вроде условного освобождения. Жили они за зоной, проверяли их чисто формально, с едой и выпивкой не было никаких проблем. И все-таки это, конечно, не было освобождением. Более того, случилось внезапно то, что поставило под удар саму его перспективу. Фалькенхорст встретил двух человек. И встреча с одним из них могла кончиться катастрофой.

* * *

Майор был в хорошем настроении. – А, Юрий Павлович! – с легкой руки Василия Григорьевича вся администрация перекрестила Эриха в Юрия. – Вот кстати, я уже хотел за вами послать.

– В чем дело, господин майор?

– Это насчет огородов. Надо пару гектаров лишних запахать этой осенью, а то овощей маловато, картошки тоже надо будет больше посадить. Может, вы съездите в колхоз, у них есть, как их называют, многолемешные плуги. Вы сами мне говорили. Так вот, поговорите с ними, может быть, можно у них будет на пару дней одолжить. Обещайте им досок или брусьев, если они хотят.

– Хорошо, господин майор, я завтра съезжу. Кстати, у меня шестнадцать новых шоферов и механиков, кровати нужны, столы, стулья.

– ...Мягкие кресла, шифоньерки, – в тон Фалькенхорсту продолжил майор, ухмыляясь. – Избаловали вы своих парней. Ну, я шучу, шучу. Сходите в столярную, посмотрите, что у них есть. Если нет на складе, прикажите, чтоб сделали.

В ремонтную мастерскую Фалькенхорсту удалось зайти только на третий день после разговора с майором: надо было привезти плуг, приладить его к тягачу, проинструктировать шофера. А когда все было налажено, и расчищенный участок стал покрываться черными, свежеспаханными полосами, не хотелось уходить с поля, пахнувшего поднятой целиной.

* * *

В мастерской было почти пусто, только над одним грузовиком работало трое новичков под наблюдением Фридриха, стоявшего тут же, у машины. Фалькенхорст, сев за стол, начал просматривать бумаги. Фридрих подошел к нему. – Ну, как новички работают? – спросил его Фалькенхорст. – Да ничего себе, – ответил Фридрих, – эти трое подойдут, а из остальных мы сможем оставить у себя человек пять, не больше... Кстати, пора обедать. – Фалькенхорст безнадежно махнул рукой, показывая на бумаги на столе. Фридрих вышел.

– Черт побери! – думал про себя Фалькенхорст. – Чтобы завинтить гайку, мне требуется минута, а на отчетность по этой гайке – пять минут... Хороша системочка!..

– Господин фон Фалькенхорст! – произнес внезапно голос за его спиной. Фалькенхорст вздрогнул. – Вот оно!... – Сразу сработала долголетняя подготовка к моменту: спокойствие, все отрицать! Но хладнокровно!.. Не волноваться!.. – Фалькенхорст продолжал сидеть за столом.

– Господин фон Фалькенхорст, – повторил голос. Фалькенхорст обернулся. Перед ним стоял светловолосый механик из новеньких. – В чем дело? – спросил Фалькенхорст. – Ты видишь, что я занят? – Сейчас все рухнет, – думалось ему. Между тем холодные голубые глаза внимательно ошупывали его лицо. Злобы в них не было видно.

– Не беспокойтесь, господин фон Фалькенхорст, я никому не скажу, но я вас помню... – Что за чепуха! Я такой же – как его – Фалькенхорст, как и римский папа... Я – Эрих Гизеке...

– Я тоже из Пруссии, господин фон Фалькенхорст. Помните, пе-

ред самой войной вы приезжали в наш лагерь арбейтсдинста? Вы прислали два воза яблок ребятам. Вы были верхом. Было очень жарко, вы сняли фуражку, я стоял почти рядом с вами, ну, вы меня, конечно, не помните. Тут я заметил вот этот шрам у вас на лбу. – Механик указал на почти незаметный шрам над правым глазом Фалькенхорста.

Медленный и ровный, немного глуховатый голос уже не пугал и не угрожал. Неожиданно Фалькенхорст вдруг увидел себя верхом на любимом "Вотане", окруженным молодыми, смеющимися лицами. Такой безоблачный, жаркий летний день... Он медленно снимает фуражку и достает из кармана рейтуз платок... Кто-то подходит к нему и благодарит за щедрый подарок. Фалькенхорст улыбается...

– ...Я никому не скажу, не беспокойтесь, господин фон Фалькенхорст. Я не мог удержаться, мне не надо было вас беспокоить...

Голос замялся, потом продолжал: "Мы могли бы о Пруссии иногда поговорить, у меня там тоже земля была, тридцать километров от вашего Толлкемена..."

Теперь Фалькенхорст смотрел прямо в глаза механику. – Кто вы такой? – Механик вытянулся. – Обер-лейтенант Карл Шолтис, господин фон Фалькенхорст.

– Забудьте о Фалькенхорсте, обер-лейтенант. Его нет. Я – унтер-офицер Эрих Гизеке. Понятно?

– Так точно. Забыть о Фалькенхорсте. Его нет. Вы – унтер-офицер Эрих Гизеке.

– Хорошо, Карл. Идем обедать...

Медленно, медленно отлегалось от сердца...

* * *

– Уж больно ты красиво говоришь, Юрий Павлович, – с оживлением толковал Василий Григорьевич. – Послушать тебя – ну как книгу почитать. Теперь, скажем, так уж больше и не говорят, ну, разве всякие там профессора и ученые. А скажи-ка мне, между прочим, что это значит: "покажу им кузькину мать"? Что это за кузькина мать? А?.. – Чего же проще, Василий Григорьевич?.. Мать, а у нее сын Кузьма. Хотя, если подумать, то зачем же ее кому-то показывать? Нет, не знаю...

– Вот видишь, Юрий Павлович, а это вроде как "за можай загнать" или вроде как "загнать туда, куда Макар телят не гонял". Понимаешь? – Черта с два тебя поймешь. Вроде по-русски говоришь, а ничего непонятно. Скажи попроще. Да куда уж проще?.. В народе так говорят, а все это значит: "загнать в бутылку". – А кого загнать? – Кого? Ну хотя бы, на кого ты зуб имеешь. Понятно?..

Беседа двух языковедов была прервана приходом майора. – Вот что, многоуважаемые ударники и стахановцы, – начал майор, – прошу в восемь часов ко мне. По случаю очередного дня рождения, – пояснил майор. – В прошлом году я о нем забыл, а в этом вспомнил, так вот, милости прошу. Выьем и закусим, чем бог послал.

– Тебе бы почаще на свет рождаться, Виктор Семенович, – сказал Василий Григорьевич, оглядывая заставленный стол, – только голубино молоко не хватает.

– Ничего, мы люди, привыкшие к лишениям, – ободрил Василья Григорьевича оперуполномоченный, – зато молоко от бешеной коровы есть. Обойдемся без голубиноного.

На самом деле, обошлось без голубиноного молока. "Столичная" выручила. Под ее влиянием беседа стала оживленной, и майор обратился к начальнику ПВЧ: – Ты бы на гитаре сыграл, что ли. А мы бы послушали.

Капитан – начальник ПВЧ – взял гитару, настроил ее.

– Ну-ка, давай "Байкал", – сказал оперуполномоченный. – Давай, давай, – поддержали его предложение присутствующие, – давай нашу, варнацкую!..

– Ты тоже подтягивай, Юрий Павлович, – сказал майор Фалькенхорсту. – Даже с грустной песней веселее на душе будет. Привыкай к нам. Когда мы поем, мы другие люди... А теперь слушай!..

Фалькенхорст обладал хорошим музыкальным слухом, и легко уловил мелодию. Подтягивая вполголоса певшим, он поражался широте мелодии, дикой и захватывающей. – Что ж, – подумал он, когда песня кончилась, – майор прав: когда они поют, это совершенно другие люди.

– После "Байкала" да не выпить, это уж грех, – произнес оперуполномоченный, разливая водку по рюмкам. – Жизнь серая, мы сами серые. Если не выпить и не спеть, на кой хрен и жить! Спасибо тебе, Виктор Семенович, – сказал он майору, – живи и здравствуй. Ну, товарищи, за здоровье новорожденного. До дна! Ура! – В руках начальника ПВЧ снова оказалась гитара и мягкими аккордами стала уговаривать: – Пей до дна! Пей до дна!... – Гитару поддержал не очень слаженный, но дружный хор. Майор выпил свою рюмку и поставил ее на стол. – Вовек не забуду, товарищи. Спасибо, что пришли... Правду ты говоришь, кум, если не выпить и песню не спеть, то и жить не стоит!..

– А ну, капитан, урежь-ка "Комаринского", – неожиданно сказал Василий Григорьевич, выходя из-за стола на середину комнаты, – а то вы, молодежь, только и знаете, что пить да петь. Только ты погромче, – попросил он, а то я на левое-то ухо туговат. – И гитара начала укорять, не спеша, и как будто даже с сожалением, незадачливого мужичонку: – Ах, ты, сукин сын, комаринский мужик!..

– Ай, да Василий Григорьевич!.. Всем нам нос утер!.. За здоровье Василя Григорьевича!..

– То-то, – удовлетворенно сказал Василий Григорьевич, садясь за стол и вытирая платком лицо, – учитесь, коли плясать захочется. Чем наши хуже ваших? .. Твое здоровье, начальник! Сто лет живи, да лет здравствуй! Хороший ты человек, хоть с лица хмурый!.. Ну, дай Бог тебе!.. Гитара опять стала вкрадчиво уговаривать!..

* * *

Начали расходиться далеко за полночь. Майор взглянул с сожалением на еще почти полную бутылку, сиротливо стоявшую на столе, и сказал, обращаясь к Фалькенхорсту: – Может, допьем ее, Юрий Павлович? Вон, еще и закуска есть... А то все, ровно красные девицы, – и пить не хотят, и спать им надо ложиться во-время. Словом, измелчал народ...

– Да, Юрий Павлович, – продолжал майор, когда они, распрощавшись с другими гостями, уселись за стол и майор потянулся к последней бутылке, – вот мне сегодня пятьдесят семь стукнуло, а где она, эта самая жизнь-то? Какой я, к черту, администратор, если я по специальности учитель истории. Пошел на войну лейтенантом запаса, два ранения, дослужился до майора... Думал, что после войны опять буду ребят учить, ан нет, перевели сюда. Вот тебе и история. Ну, выпьем, что ли... Грустная вещь эта самая история – одни войны. За последнее тысячелетие люди не воевали только сорок лет, ты об этом слышал, Юрий Павлович? Значит, война – это нормальное явление. Правда, интересно?.. Эх, хоть бы семья была, да и той нет... Вроде, как и у тебя.

Фалькенхорст не был пьян, но алкоголь начинал действовать. Мысли оставались ясными, но уже шли своим путем, думалось о том, о чем сейчас не надо было думать. Опасно. Мысли иногда превращаются в слова. Несколько слов – и все может рухнуть. И все-таки думалось... "Восемь лет, восемь лет... Живы ли они?.. Монике уже шестнадцать. Восемь лет. А сколько еще осталось?"

– Да ты закуси, Юрий Павлович, вон, еще грибы есть. Ну, давай еще по единой. Так вот что я говорю: оставайся у нас. Дома у тебя никого нет, а тогда какая разница, где тебе жить? Мы тебе все устроим. Конечно, надо сначала гражданство получить, а потом у тебя открытая дорога. Устроим тебя по хозяйственной части. Жалованье неплохое, да плюс "северные". Летом всегда можно путевку оформить – в Крым или на Кавказ. У нас это куда легче, чем в других ведомствах. Хочешь квартиру в городе, дадим тебе и квартиру. Всегда сможешь поехать на день-другой в город, отдохнешь в культурных условиях. Будешь жить лучше, чем у себя в Германии. Что ты на это скажешь, Юрий Павлович? А то ведь поедешь в Германию, будешь автомобилем чинить – штука небольшая, а здесь ты – крупная шишка. Подумай, Юрий Павлович.

Фалькенхорст про себя ухмыльнулся. – Ишь ты, майор, куда закинул! Из-за поста советской "шишки" семью бросить?.. Не выйдет.

Но вслух он сказал: "Хорошо, я подумаю. Куда нам спешить?.. – Фалькенхорст медленно поднялся. – Скоро светать начнет, а мне завтра в город ехать. – Майор проводил его до дверей. – Хороший ты парень, Юрий Павлович..."

* * *

Карл Шолтис пришелся ко двору; у него был редкий дар для механика: понимать машину. Через два-три месяца он уже справлялся со сложными ремонтами, и даже требовательный Фридрих снисходительно ворчал: "Умный парень. Понимает дело. Только вот инструменты часто не на место кладет. Ну да что с него возьмешь? Молодежь всегда такая..."

Фалькенхорст несколько раз брал с собой Карла в город и в эти поездки незаметно вызывал на разговоры: надо было изучить этого человека, представлявшего собой большую потенциальную опасность. Но дать ему точную характеристику Фалькенхорст, пожалуй, затруднился бы даже и после многократных поездок. Карл был продуктом военных лет – странная смесь наивного ребенка и солдата, прошедшего все ужасы войны, готового шагать по трупам, если это необходимо, и вместе с тем, робкого и даже деликатного. Чувство юмора, которым обладал Карл, часто перерастало в цинизм, и то, что он говорил в такие минуты, приоткрыло Фалькенхорсту многое.

– Выжженная душа, – думал Фалькенхорст о Карле. – Ни во что не верит, ни на что не надеется. Как же он будет дальше жить, когда вернется в Германию? – Постепенно Фалькенхорст стал чувствовать к Карлу что-то вроде жалости, какую иногда человек испытывает при виде бездомной собаки, и это чувство побудило его завести с Карлом разговор о родных местах.

– Совсем как у нас дома, – сказал как-то Фалькенхорст, когда они ехали сквозь густой еловый лес. – Только бы валежник подобрать.

Карл промолчал. Казалось, он не слышал Фалькенхорста, напряженно всматриваясь в густоту ельника. Удивившись его слегка отрешенному виду, Фалькенхорст решил ему не мешать. Но Карл заговорил сам, глуховатым голосом, и говорил всю дорогу. Рассказывал о Пруссии и о родителях. Вспоминал, как они жили у себя дома: отец каждое утро вставал до зари, запрягал лошадей – за один день мог запахать больше, чем другой за два дня; как рядом с их хутором было озеро, где каждый год обязательно должен был утонуть человек, и как он сам тонул в нем. Рассказывал о жеребятках, носящихся на лугу. – Чистокровные тракены, веселые такие, горячие, ну, как ваш конь, на котором вы к нам в лагерь приехали, господин майор... – Карл оторвал взгляд от дороги и взглянул на Фалькенхорста светло и задумчиво, словно видел наяву все, о чем вспоминалось...

После этой поездки Фалькенхорст понял, что опасаться Карла нечего.

* * *

Фалькенхорст пристрастился к чтению. В лагере уже создалась порядочная библиотека, а почти в каждую поездку в город он покупал себе русские книги, для которых пришлось сделать пару дополнительных полок.

Но иногда не читалось, как ни пытался он сосредоточиться. Он не любил такие вечера: наплывали воспоминания, становилось тоскливо на душе. Чтобы рассеять это чувство, он шел в общую комнату, где присаживался к играющим в скат, или заводил разговор с Фридрихом, никогда не игравшим в карты.

Но последние дни Фридрих был не в состоянии говорить о каких-то моторах, покрывшах или домкратах — он был уже у себя дома, только тело его по странной случайности еще находилось в лагере. Тем не менее, несмотря на все возбуждение, вызванное предстоящим отъездом, Фридрих сам заговорил с Фалькенхорстом о своей смене. — Возьми Карла, — он парень даже очень неглупый, смекалистый, моторы понимает. Чего же больше?.. — Фалькенхорст согласился и в тот же вечер сказал об этом Карлу, с которым теперь встречался постоянно, по несколько раз в день — по работе, и так... для неофициальных разговоров.

Шолтис постепенно "оттаивал" под влиянием Фалькенхорста. Иногда Карл даже говорил о планах на будущее, хотя эти планы и были расплывчаты. — Мне куда-нибудь управляющим в имение или лесничком... Я такую работу знаю и люблю, а вот в бумагах — ничего не понимаю...

Произошла и другая перемена с Карлом, уже не понравившаяся Фалькенхорсту. По вечерам Шолтис начал пропадать на несколько часов, иногда возвращался и рано утром. В мастерской начали посмеиваться над ним, шутливо предостерегая: — намнут тебе здешние парни бока, Карл, если за их девками не перестанешь бегать... — Предостережение не подействовало — Карл продолжал пропадать по вечерам, пока в одно утро не вернулся с багровым фонарем под глазом. Один из механиков сказал, улыбаясь, — мы же тебя предупреждали, что тебе парни морду набьют, — на что Карл смущенно ответил: — Да это не парни, а отец... — Хохот в мастерской не умолкал долго.

* * *

Вместе с Фридрихом отбыло более двухсот человек. Следующая группа должна была уехать через месяц. В лагере настроение оживилось, общей репатриации ждали вот-вот.

— Никак я не пойму, чем они руководствуются при составлении списков, — сказал Карл Фалькенхорсту. — Вот уехало двести человек, а вроде Фридриха там было человек пять-шесть, а то все молодые. Семейные и пожилые давно уже дома. Почему они Фридриха задерживали?

— Да, странно, — согласился Фалькенхорст, который на это как-то не обратил внимания. Подумал: — возможно, майор не хотел. Да, вполне возможно: уж очень ценного работника терял...

Теперь эта мысль не оставляла Фалькенхорста. — Но если дольше, чем нужно, задержали Фридриха, то и со мной может то же случиться... Вот черт!.. Ну, майор парень неплохой, я согласен, но заменить меня ему некем. Кажется, я перестарался, вот тебе и возвраще-

ние домой...

Сказанное Карлом запало глубоко и не давало покоя. Всплывали и другие соображения. – Хорошо, если у Гизеке родных не было, а если были? Через Красный Крест они легко могут меня найти. При допросах я показал, что родственников у меня нет, а тут неожиданно они появляются... Ну, если они мне нанишут, то это не так страшно – продиктую письмо Карлу, напишу, что руку зашиб, сам писать не могу, и подпишусь. Хорошо, что подпись изучил и к ней привык.

Унтер-офицер Гизеке, убитый столько лет тому назад в Курляндии, и столько лет защищавший Фалькенхорста своим именем от грозных опасностей, постепенно из верного союзника превращался в возможного врага. Утомленный долгим ожиданием мозг, измышлял все новые и новые варианты могущих возникнуть осложнений и опасностей. Фалькенхорст старался стряхнуть эти прилипчивые мысли: – Чепуха! За столько лет ничего не случилось, не случится и теперь. Сам себе нервы порчу, надо перестать об этом думать...

На день-два эти здравые рассуждения помогали, но потом все повторялось, разве только за это время подсознание изобретало дополнительные варианты.

– Надо бы как-то сообщить Луизе. Они, наверно, меня давно уже мертвым считают... Только как? Ей не напишешь, брату – тоже... Можно бы Зонненфельду написать, да вряд ли старик поймет, почему какой-то Гизеке справляется о каких-то Луизе и Моники. Он уже, наверно, в детство впал, может в ответ запросить, о каких таких Луизах и Мониках я ему пишу и почему. Цензора это тоже заинтересует... Прямо-таки закодированный круг!

– С уезжающими тоже не пошлешь. Вдруг обыщут – что тогда? Что может быть общего у какого-то Гизеке с Фалькенхорстами, почему он им пишет, а?.. Вот если из моих механиков кто-нибудь поедет, тут, пожалуй, можно было бы рискнуть...

* * *

Весна пришла поздно. Только в конце апреля можно было приступить к обработке земли под огороды. Через две недели все было готово. – Юрий Павлович, сходи на наши огороды, – сказал майор, встретив Фалькенхорста, – рассчитай там, как и что. В прошлом году, помнишь, какая-то умная голова чуть не весь огород морковью засеяла, а про капусту забыла. Сейчас у нас площади вдвое больше, так если того мудреца послать, то у нас моркови столько будет, что на всю Сибирь хватит, а капусты опять с гулькин нос. Так ты посмотри.

– Хорошо, я схожу. – Фалькенхорст пошел на огороды.

..Земля уже была разделана – частью под гряды, готовые для посадки овощей, остальная площадь была предназначена под картофель и капусту. Надо было хотя бы приблизительно высчитать, сколько и каких семян понадобится для посадки. – Вот горох в прошлом году мы совсем не сеяли, – подумал Фалькенхорст, – а в колхозе он

растет хорошо, оттуда мы и на семена пару центнеров можем получить. – Он вынул записную книжку, карандаш и стал прикидывать... Работавший в конце огорода человек, очевидно, закончивший работу, медленно пошел в его направлении. Небольшого роста, с выпирающим животом и выставленными вперед полусогнутыми руками, он чем-то напоминал вставшую на дыбы черепаху. Не по голове большая ушанка еще увеличивала это сходство.

– Карикатура, – усмехнулся про себя Фалькенхорст, мельком взглянув на движущуюся фигуру поверх записной книжки, и вернулся к своим расчетам.

Внезапно хриплый голос заставил Фалькенхорста поднять голову. "Карикатура" стояла напротив и, осклабясь, хрипела:

– Руку вам подать я не рискну, майор фон Фалькенхорст, но поверьте мне, я очень, очень рад вас видеть... – говоривший закашлялся затычным, простудным кашлем, потом засмеялся – смех опять перешел в кашель... – Я рад, что вы и здесь прекрасно устроились, насколько я могу судить, и живете, как и подобает аристократу, господин майор фон Фалькенхорст.

Говоривший был настолько жалок и смешон, что Фалькенхорст невольно улыбнулся. В то же время услужливая память подсунула офицерское собрание в Кенигсберге... О, это – Зильберт!.. Это ему я отказался тогда подать руку. Этот может быть очень опасен. Это не Карл!.. – Но страха не было: не верилось, что эта пародия на человека может причинить серьезный вред. Фалькенхорст продолжал улыбаться.

Лицо Зильберта перекошилось. – Смеетесь?! ...Смейтесь, смейтесь, скоро вам будет не до смеха! Я еще в Курляндии все знал!.. Я видел список военных преступников, я все знаю, будьте вы все прокляты!.. – Зильберт опять закашлялся – долго и надрывно. – Бронхит у него, – подумал Фалькенхорст, и когда кашель стих, спросил:

– Чего вы от меня хотите, Зильберт?

– Чего от вас хочу? – прохрипел Зильберт. – Пока немного – приходите сюда завтра и жратвы принесите. Понятно? А потом мы еще поговорим. – Зильберт поплелся дальше.

* * *

Вечером Фалькенхорст по привычке уселся в свое самодельное кресло под лампой, но книгу даже не открыл. Мысли все время возвращались к сцене на огородах.

– Да, – думал он, – Зильберт – это не Карл. Озлобился и опустился до последней степени, настоящий доходяга... Может быть, с ним удастся как-то договориться... Подкармливать я его могу – это не трудно. Если он не совсем сумасшедший, то этим он удовольствуется. Большого для него я сделать не могу. А все козыри у него в руках – он будет молчать, пока ему выгодно. А там... Скажем, его репатрируют. Он приезжает домой и пишет письмо коменданту, что

так, мол, и так... Или я уезжаю. Что ему может помешать отправиться к начальнику лагеря и сказать, что я никакой не Гизеке... – Фалькенхорст не мог при этой мысли не усмехнуться. – Как бы майор среагировал? – Так вот кто ты, Юрий Павлович? А я-то тебя за парня в доску своего принимал...

Уже было далеко за полночь, когда Фалькенхорст лег. Но заснуть удалось только к рассвету.

* * *

– Да перестань ты кашлять, старый черт. Всю ночь спать не даешь... Если болен, то иди в лазарет или сдыхай поскорее. – Слышно было, как лежавший на нижних нарах сочно сплюнул, а потом повернулся на другой бок.

– Неужели это никогда не кончится? – с ужасом думалось Зильберту. – И почему мне так не везет? Чем я хуже других? Ну, хотя бы здесь: пошел к доктору сегодня, ведь я же болен, не симулирую. А он мне: если я всех с насморком в лазарет буду отправлять, то меня самого кое-куда могут отправить. Горло солью полощите, – передразнил он доктора. – Светило медицины, черт бы тебя взял!..

– Или эта скотина Фалькенхорст. Одно загляденье: рейтузы, офицерские сапоги, ну, хоть на парад... Конечно, русским проданся... сволоочь! Ну, ты у меня попляшешь теперь... Все-таки мое счастье, что рискнул. Ведь мог ошибиться. Фигура та же, и лицо похоже, а вдруг не он?! А вдруг русский, да еще и офицер? В одиночке сгноил бы! А там не топят, холодно... – Зильберт закашлялся, зажимая рукою рот. – Ладно. Теперь жратва обеспечена, а дальше поглядим. Я его завтра попугаю, он у меня шелковый будет... – Зильберт вдруг **приподнялся на нарах**: пугай, да не очень! Если он всем лагерем заворачивает, по-русски говорит и с комендантом всюду развезжает, надо быть осторожным. Даже очень осторожным! Кто его знает, что он может сделать. А вдруг все скажет коменданту, раз они такие с ним друзья.

В общем, выдать тебя, приятель, я выдам, но спешить не буду.

* * *

Было похоже, что встреча с Зильбертом никаких трагических последствий не вызовет. Три-четыре раза в неделю Фалькенхорст отправлялся на огороды, где копошились полуинвалиды вроде Зильберта, освобожденные от лесоповала, передавал ему сверток с хлебом и мясом или солониной и уходил. Они почти не разговаривали, а если и обменивались несколькими словами, то никаких угроз со стороны Зильберта он не слышал.

И тем не менее Фалькенхорст понимал: это – лишь отсрочка того, что обязательно должно случиться. Он плохо спал по ночам, утром вставал полуразбитый, совсем перестал заходить в общую комнату в бараке. Даже механики заметили, что с Эрихом происходит что-то неладное. Карл решил поговорить об этом с самим Фалькенхорстом.

– Разрешите обратиться с вопросом, господин майор, – тщательно притворяя за собой дверь, сказал Карл. – Пожалуйста, Карл, спрашивай. В чем дело? – Карл чуточку помялся, но все-таки спросил: – Что с вами случилось, господин майор? – Эрих улыбнулся и, чтобы выиграть время, сказал: – Я тебя просил не звать меня майором, сам знаешь, почему. Так о чем ты хотел со мной поговорить?

– Я хотел спросить, что с тобой случилось, Эрих, – произнес Карл, тщательно выговаривая имя Фалькенхорста. – Станный вопрос, – деланно удивился Фалькенхорст, – что же со мной могло случиться? – Не знаю, но только все видят, что ты очень изменился за последние недели, поэтому я и спрашиваю. Ты не думай, что это пустое любопытство. Может быть, я смогу помочь...

Фалькенхорст призадумался. – Чем он может мне помочь? Абсолютно ничем, абсолютно... Разве только, если Карл будет знать, кто меня выдал, то потом, в Германии, можно будет этого мерзавца привлечь к ответственности...

– Хорошо, Карл, слушай: тут еще один, кроме тебя, знает, кто я такой. Сейчас мне ничто не угрожает, я ношу ему еду, а он ест и молчит. Но я уверен, что раньше или позже он меня выдаст.

– Но почему? Какой ему смысл выдавать тебя?

– У нас с ним старые счеты, и он их сведет.

– Прости, Эрих, но я ничего не понимаю. Может быть, ты можешь мне объяснить, в чем тут дело?

– Дело в том, что этот тип, его зовут Иоганн Зильберт, был когда-то коммунистом, потом перекинулся к национал-социалистам, пробился в офицеры, ну, и служил Гитлеру верой и правдой. После двадцатого июля он донес на моего лучшего друга, который был одним из руководителей заговора. Весной сорок пятого его перевели к нам в Курляндию, но мне повредить он уже не успел. А теперь у него есть возможность уничтожить меня, и я уверен, что он это сделает. Бороться с ним я не в состоянии. Теперь я сижу и жду, когда Зильберт решит донести администрации, кто я такой. В этом-то и все дело, мой дорогой Карл.

– Все ясно, – отозвался Шолтис, помолчав немного, спросил: – ты уверен, что непосредственной опасности нет?

– Почти уверен. Сейчас доносить на меня Зильберт не станет, чтобы не лишиться еды, которую он от меня получает. Зачем лишаться дойной коровы?

Карл свернул папиросу, закурил, пару раз глубоко затянулся, потом спросил:

– Он сейчас на огороде работает?

– На огороде.

Оба опять замолчали.

– Через неделю работы там будут закончены, тогда Зильберта пошлют обратно в лес. Кстати, – продолжал Карл, – кто он такой, этот самый Зильберт?

– Полковник, – нехотя ответил Фалькенхорст.

– Что ж, придется убрать господина полковника, – произнес Карл таким небрежно-спокойным тоном, словно речь шла о перемене покрывки или покраске кузова: мол, что ж, покрасим, о чем речь.

Фалькенхорст воззрился на Карла, но тот спокойно продолжал курить. Тогда он понял, что не ослышался, и что Карл это всерьез...

– Я попробую как-то договориться с Зильбертом, – заговорил после паузы Фалькенхорст, – в конце концов он не сумасшедший, он хорошо знает, что и мне о нем кое-что известно...

– Ладно, будем надеяться, что он не сумасшедший... – сказал Карл, вставая.

– Будем надеяться, – машинально повторил Фалькенхорст, когда дверь за Шолтисом уже затворилась. Несколько мгновений он смотрел ему вслед. Сегодня он увидел нового Шолтиса.

* * *

– Все здесь сговорились меня доконать, – раздраженно бубнил Зильберт, – и начальник режима, и доктор – все, все... Ты, наверно, их и подговорил. Всем лагерем заворачиваешь, что тебе стоит сказать, что я симулянт, вот меня и послали опять в лес! Только ты не думай, что, если я сдохну, то так ничего и не скажу. Все расскажу, все... Давай сюда жратву!

Зильберт засунул пакет в карман изорванных штанов. – Все расскажу, все, – повторил он и пошел в барак. Фалькенхорст пожал плечами. Разговаривать было не о чем. Все вставало на свои места. Роли определялись...

* * *

– Так и помру неудачником, – думалось Зильберту. Весь барак спал. Слышался густой храп, и это тоже раздражало Зильберта, мешало заснуть. – И что за дьявол во все мои расчеты вмешивается? Кажется, все обдуманно, все взвешено – и опять где-то просчитался. Был в компартии, в Ротфронте, в путче участвовал – нет, дернуло к национал-социалистам перекинуться. Все, кажется, хорошо, и вдруг этот маньяк войну проигрывает. Да и теперь – по моему возрасту мне давно пора дома быть, а меня все не отпускают. А что, если они раскопали, что я в компартии был?.. Что тогда? Сгноят в лагере... Не выдержу я здесь, нет. Какой я лесоруб? И в моем возрасте? Так я и сдохну здесь... – Зильберт тяжело вздохнул и перевалился на другой бок. Все тело ныло от непосильной усталости, но сон не приходил.

– Ну, Фалькенхорст мне за это заплатит... Не сразу, конечно, нет. Мне сначала подкормиться надо, а если его возьмут, то пищи пропало. Опять одна каша, да этот поганый суп. Но я ему отплачу, за все отплачу, за все...

* * *

На некоторое время Зильберт немного притих, во всяком случае, при встречах с Фалькенхорстом он больше не угрожал – просто засовывал сверток с едой в карман и молча уходил. Фалькенхорст старался не думать об опасности, но подсознательно ощущение ее угнетало, словно подавляемая, но не истребимая до конца боль. Все чаще и чаще он раздражался на людях. Шолгису нетрудно было догадаться, почему.

– Ну, как с Зильбертом? – спросил он Фалькенхорста. – Можно на что-то надеяться?

– Надеяться не на что, – мрачно ответил Фалькенхорст. – Теперь это вопрос времени, когда он донесет. А что он это делает – я не сомневаюсь.

– Ты ведь должен с ним скоро встретиться? – Завтра вечером. – Оглично. Когда ты пойдешь к нему, я проеду мимо на грузовике, пока ты будешь с ним разговаривать. Постарайся, чтобы он стоял лицом ко мне. Это очень важно – ведь я его не знаю. В каком бараке он живет? – В восемнадцатом. – Очень хорошо. Мне как раз туда завтра надо подбросить два рулона толя для ремонта крыши.

* * *

Шофер грузовика, видимо, не спешил. Впрочем, по лагерной улице двигалась такая толпа, что он и не мог ехать быстрее. Не доезжая десяток метров до барака номер восемнадцать, он дал короткий гудок, разгоняя стоявших на дороге, и медленно проехал дальше. Из стоявших перед баракom двое разговаривавших разошлись: один пошел к дверям барака, на ходу засовывая что-то в карман, другой смешался с толпой, толкущейся на лагерной улице.

* * *

– Это мое последнее слово: или ты берешь меня в мастерскую, или... ты сам знаешь, что может с тобой случиться, – прохрипел Зильберт. – В лесу я не в состоянии работать, это исключено. Мне наплевать, что со мной будет, ведь я знаю, что ты русским все расскажешь. Но мне терять нечего. Здесь я все равно сдохну. Возьмешь меня в мастерскую – буду молчать, а не возьмешь, ну, пеняй на себя...

– Что же ты думаешь, что это от меня зависит? – раздраженно сказал Фалькенхорст. – Надо, чтоб и комендант согласился, и оперуполномоченный... А согласятся они или нет, я не знаю.

– Это твоё дело их уломать. Не уломаешь – тебе будет хуже.

– К тому же коменданта в лагере нет, он на два дня в город укатил.

– Знаю. Поэтому даю тебе неделю сроку. Сегодня пятница. В следующую пятницу ты мне должен сказать, когда мне перебираться в твою мастерскую. Понял? Если в пятницу ты мне этого не скажешь, то в субботу я иду в комендатуру. Ясно? А теперь давай сюда жрат-

ву и проваливай к чертовой матери или к своим русским!..

Вернувшись к себе, Фалькенхорст позвал Карла. – Зильберт дал мне неделю срока – до пятницы. Он хочет перейти к нам. Я пойду завтра, попробую поговорить с кумом, от него многое зависит, а комендант только послезавтра вернется. Но не думаю, чтоб они согласились – никаких оснований для перевода Зильберта у меня нет. Попробую в качестве уборщика этого мерзавца проташить.

– Так, – сказал Карл, – времени у нас в обрез, надо действовать. Я уже все обдумал. Начнем с того, что сменим пять или шесть шоферов из тех, кто водят грузовики в лес. Механикам полезно попрактиковаться в вождении, а шофера пусть поработают в мастерской. Ты ведь и раньше так делал, мне Фридрих говорил, так что ничего нового в этом не будет.

– Это можно, но я не понимаю, зачем?

– Одним из новых шоферов буду я. Буду забирать рабочих из восемнадцатого барака. Теперь ясно? – Светло-голубые глаза глядели на Фалькенхорста спокойно, даже, пожалуй, равнодушно, но Фалькенхорст не мог выдержать их взгляда, и невольно отвернулся.

– Может быть, мне удастся уговорить оперуполномоченного, – сказал он неуверенно.

* * *

– На кой черт тебе понадобился уборщик, Юрий Павлович? – с досадой спросил оперуполномоченный, вертя в руках папиросу. В пепельнице на столе лежала горка окурков, от одного еще волнистой линией поднималась струйка сизоватого дымка. – Ты бы мне лучше сказал, как бросить курить, а то я скоро от этого проклятого курева в ящик сыграю. По три пачки в день курю, кашляю, как лошадь, и все равно курю... – Как бы в подтверждение своих слов, оперуполномоченный закашлялся сухим, нехорошим кашлем. – Вот видишь, – как бы подтвердил он. На его лице, худом и сером, расплывались красные пятна. – Да, долго он не протянет, – подумал Фалькенхорст и громко спросил: – Почему же ты не бросишь, Андрей Андреевич? Ты бы попробовал... – А ты думаешь, не пробовал? Ничего не выходит. Ну, все равно... – оперуполномоченный закурил, – так вот насчет этого уборщика. Ты с ним раньше, что ли, был знаком, раз за него хлопочешь? – Да нет, я его тут, на огородах, первый раз встретил. Я его иногда подкармливаю. По-моему, он очень болен. – Если болен, чего к врачу не идет? Могут освободить его от лесоповала. – Врач говорит, что у него простуда, и больше ничего. – Ну, вот, сам видишь, симулянт он, твой знакомый. А как его фамилия, кстати? – Зильберт. – Зильберт? Ну, я его помню. Полковник Зильберт. Как же, как же, его в бараке "сумасшедшим полковником" зовут... Тоже, нашел за кого просить, Юрий Павлович!.. Да и вообще с лесоповала никого дать не могу, скоро люди там ой как потребуются! У тебя сорок человек в артели, назначай дежурного по бараку, вот и все...

* * *

– "Кум" не согласен, говорит, что с лесоповала никого не даст. Тут и майор не поможет, – сетовал вечером Фалькенхорст.

– Я именно этого и ожидал, – ответил Карл. – И уже объявил от твоего имени, кто завтра поведет грузовики. Вот по этому списку, – сказал он, подавая Фалькенхорсту листок бумаги. – Парням такие перемены нравятся – все-таки что-то новое...

* * *

Чтобы забрать рабочих из восемнадцатого барака, нужно было оказаться седьмым в колонне грузовиков. Это Карл установил уже в субботу утром. Он был восьмым. Сидя в кабине грузовика, он видел, как Зильберт вышел вместе с другими из барака и медленно полез в кузов машины. Он еще больше походил на доходягу, чем в прошлый раз, когда Карл впервые увидел его, разговаривающим с Фалькенхорстом у барака.

Таким же жалким показался он и Фалькенхорсту вечером, когда тот принес ему сверток с едой.

– Э, да тут вдвое больше, чем в прошлый раз, – с удовольствием ощупывая пакет, сказал Зильберт. – Подкупить меня хочешь? Хе-хе, – захихикал он, – не удастся, не удастся... Не забудь про пятницу, она не за горами... – Зильберт с трудом запихнул пакет в карман, повернулся и ушел.

* * *

Фалькенхорст не видел Карла ни в субботу вечером, ни в воскресенье. Увидел он его только в понедельник утром, въезжающим на грузовике в ворота лагеря. Грузовик ехал медленно-медленно и остановился у барака номер восемнадцать. Фалькенхорст мотнул головой и пошел в мастерскую.

* * *

Замедлив ход, грузовик несколько раз фыркнул и остановился. Слышно было, как шофер пробовал завести мотор, но каждый раз неудачно. – Свечи, наверно, подкачали, заметил один из сидевших на платформе.

Повозившись несколько минут с упрямым мотором, шофер вылез из кабины. – Машина капут, – обратился он к конвойному на том волюпке, который население лагеря использовало для объяснений с администрацией. – Никс машина. Марш, марш, – прибавил шофер, показывая на синевший в отдалении лес. Его пассажиры, ругаясь и ворча, нехотя начали слезать с грузовика: перспектива утренней прогулки в три с лишним километра их явно не радовала.

Шофер поднял капот машины, нагнулся над мотором, и, что-то вспомнив, опять подошел к столпившимся поодаль от машины лесорубам:

– Эй, кто-нибудь, ну, хоть вот ты, толстыи, останься со мной, сможешь, когда надо, – сказал он Зильберту, стоявшему рядом с конвойным. Тот вопросительно взглянул на шофера. – Он хочет один человек помогать на мотор, – объяснил конвойному какой-то знаток русского языка. Конвойный потоптался на месте, потом махнул рукой и группа тронулась.

– Если ему сумасшедший полковник будет помогать, то мы их и завтра утром здесь найдем, – сказал кто-то из лесорубов. В толпе удаляющихся людей послышался смех.

– Ты присядь пока, – сказал Зильберту Карл, – я думаю, что скоро справлюсь. Если ты мне понадобишься, я тебя позову.

Уходящая группа постепенно превращалась в пятно, в котором уже нельзя было различить отдельных фигур. – Если кто-нибудь решит послать мне на помощь другую машину, то она приедет минут через двадцать или тридцать, не раньше, но лучше не затягивать – сегодня единственный шанс, – думалось Карлу.

– Ну, на той неделе я буду в мастерской, не нужно будет трястись каждое утро в лес – думал Зильберт. – Чисто, спокойно, еда хорошая, я уж заставлю Фалькенхорста об этом позаботиться...

Рядом с мирно сидящим на подножке кабины Зильбертом выросла фигура шофера.

– Я скоро кончу, – сказал он, – еще минут десять, а ты пойди, проверь гайки на задних колесах. По-моему, они разболтались, надо их подвернуть. Вот, я и ключ захватил.

Они подошли к заднему борту. Карл нагнулся и подтянул ключом две или три гайки.

– Теперь ты проверь изнутри. Встань на колени и посмотри, сможешь ли дотянуться.

Зильберт опустил на одно колено.

Удар тяжелым ключом по затылку был быстр и точен. Что-то хряснуло, и Зильберт медленно повалился под машину. Карл отошел от грузовика, оглянулся в обе стороны: дорога была совершенно пуста. Он вернулся к неподвижно лежащему телу и аккуратно положил его перед двойным задним колесом, бросив туда же и ключ. Через минуту тяжелая машина, легко одолевая ничтожное препятствие – человеческое тело, двинулась вперед, сделала несколько метров и остановилась. Карл вышел из кабины, подошел к чему-то, что несколько минут тому назад было живым человеком, посмотрел, и пошел обратно в лагерь.

* * *

– Слушай, давай кончать, – сказал майор оперуполномоченному. – Уже четыре часа над этим бьемся. Сделали все, что могли. Все бывшие в грузовике, допрошены, все показали, что шофер и Зильберт не были между собой знакомы. Шолтис, когда докладывал о том, что человека переехал, сказал, что не знает, кого он переехал. Он, правда, добавил, что слышал, как другие звали убитого "сумасшедший пол-

ковник”.

– Да я и сам вижу, что придраться к чему-нибудь здесь трудно, Виктор Семенович, – сказал оперуполномоченный задумчиво. – Меня только одно удивляет: вчера приходит ко мне Гизеке и просит за Зильберта, а сегодня Зильберт уже покойничек... Странное совпадение, а вывода из этого никакого не сделаешь. Если бы сам Гизеке Зильберта раздавил, это было бы на самом деле подозрительно, а тут?.. Ради Гизеке Шолтис на мокрое дело не пойдет, да и никто не пойдет – слишком рискованно. Да еще накануне возможной репатриации. Движение на нашей дороге конечно, небольшое, но все-таки есть. А значит, всегда есть риск, что кто-то проедет и заметит. Но главное: какой смысл Шолтису убивать Зильберта?

Из Шолтиса я ничего путного выжать не смог. Говорит, что он крикнул Зильберту, который в то время гайки на колесе подкручивал, чтобы тот вылез из-под машины, и слышал ответ Зильберта, что он вылезает. После этого Шолтис двинул машину, услышал крик, и ему показалось, что грузовик что-то переехал. Он остановил машину, выскочил из кабины, и тут увидел, что раздавил Зильберта. Я его спросил, почему он не позвал Зильберта в кабину, и Шолтис пояснил, что он хотел проехать только несколько метров, чтобы убедиться, что мотор действует и что он даже капот не опустил поэтому. Похоже на правду: когда мы с Петром Васильевичем приехали, капот был поднят, на правом колесе несколько гаек были подкручены, ключ тоже лежал... Похоже, что не врет.

– Ну, коли не врет, так правду говорит, – философски заметил майор. – Но как же мы решим? Передавать дело следователю или не передавать?

– Что же тут передавать, если мы не можем наличие преступления установить? – Видно было, что оперуполномоченный уже устал, и ему, в общем, хотелось поскорее закончить скучную и никуда не ведущую процедуру. – Сам ты подумай, Виктор Семенович: следователь больше нашего тоже ничего из этого не выдавит, пошлет дело на прекращение, а нам – переписка и объяснения с верхами. Да и похоже, что здесь просто несчастный случай...

– Тогда я прикажу Шолтиса отпустить, а то он здесь с утра в дежурной сидит. Ох, и устал же я, – сказал майор вставая и потирая поясницу рукой. – Вернулся – и сразу в такой казус влип. И даже ни грамма водки нет, не успел купить.

– Пойдем ко мне, – предложил оперуполномоченный, – у меня найдется.

* * *

Очевидно, Ганс надеялся, что Шолтис вернется, так как через минуту после того, как Карл вошел в барак, он немедленно принес и поставил перед ним на столе котелок с дымящимся супом, буханку хлеба и поллитровку. Карл выпил подряд три стакана водки, не заку-

сывая, и принялся за еду. Вид его на разговоры не вызывал, да и все в бараке понимали, что расспрашивать сейчас Карла о случившемся неуместно. Придет время – и он сам все расскажет.

* * *

О несчастном случае с Зильбертом Фалькенхорст узнал сравнительно поздно, уже придя в барак на обед. Карла там не было – значит, его задержали до выяснения обстоятельств происшествия, а, может быть, и арестовали. Если Карла отпустят и прекратят расследование, тогда можно считать дело законченным, но не раньше того. Мало ли что могло выясниться при расследовании: неожиданный свидетель, неосторожное слово, оброненное Карлом... Да и при допросе Карл мог запутаться в своих показаниях. При его хладнокровии это едва ли возможно, но кто его знает?..

Оживленный разговор за обедом, высказываемые догадки о случившемся и судьбе Карла начали раздражать Фалькенхорста. Проглотив с трудом несколько ложек супа, он встал из-за стола и ушел в свою комнату. Через несколько минут нервное напряжение последних дней начало сказываться, и он задремал. Когда он очнулся, в бараке было тихо, очевидно, все ушли на работу.

Фалькенхорст умылся холодной водой и пошел в мастерскую. Он чувствовал себя совершенно разбитым.

В мастерской Карла тоже не было. Надо было сходить в администрацию и узнать, что с ним случилось. В здание администрации Фалькенхорст шел с тяжелым сердцем, он чувствовал, что висит на волоске: и судьба Карла, пошедшего на такой риск ради него, и даже его собственная...

Вид Карла – бледного, усталого, но совершенно спокойного, сидящего на скамье рядом с конвойным, несколько успокоил Фалькенхорста.

На его вопрос, почему Шолтис задержан, дежурный ответил, что утром машина, которую вел Шолтис, кого-то раздавила, и потому он задержан до выяснения обстоятельств.

Ни с майором, ни с оперуполномоченным поговорить не удалось. – Они, почитай, с самого обеда о чем-то совещаются, – сказал Фалькенхорсту дежурный, – я думаю, о нем, – добавил он, указав подбородком на Карла.

Не вернулся Карл и к ужину. Только час спустя, когда притихший было перед сном барак загудел разговорами, шум которых доносился в комнату Фалькенхорста, тот понял, что Карл, наконец, благополучно вернулся.

Фалькенхорст вышел, когда общий гул поутих. За столом, подперев голову руками, перед остатками ужина и пустой поллитровкой сидел Карл. Казалось, он не заметил Фалькенхорста, продолжая пристально глядеть перед собой, куда-то поверх бутылки. Фалькенхорст вернулся к себе, принес другую поллитровку и поставил ее перед Кар-

лом на стол. Тот, словно очнувшись, наполнил водкой стакан, приподнял его и, остановив свой мутный взгляд на лице Фалькенхорста, произнес внятно, хоть и не без труда: – За полковника! – и, залпом осушив его, сразмаху поставил на стол.

– Ты бы шел спать, – сказал ему Фалькенхорст, вставая из-за стола.

* * *

Через несколько дней уже никто и не вспоминал о случившемся – мало ли несчастных случаев было за последний год на лесоповале? На людей, прошедших войну, такие пустяки не действовали.

Смерть Зильберта подействовала по-настоящему только на двух людей: Шолтиса и Фалькенхорста.

Всегда молчаливый и сдержанный, Карл стал еще более замкнутым. В его отношениях с Фалькенхорстом тоже произошла перемена, незаметная для посторонних, но глубокая. Оба они эту перемену чувствовали, и обеих она тяготила.

Карл не сожалел о случившемся, нимало. Человеческая жизнь не представляла для него большой ценности – ни своя, ни чужая тем более. Он создавал, что, если потребуется, он в состоянии снова убить человека. Но, конечно, только ради фон Фалькенхорста, ни для кого другого. Где-то в глубине души этого немного странного, но, вероятно, по-своему хорошего человека, гнездилась веками взращенная, поколениями предков усвоенная, преданность вассала своему сеньору.

Только в одном эта преданность была бессильна – заставить его убить таким же предательским способом.

– Ведь я же никогда не был убийцей. Да, на войне убивал, и не раз, но убийцей не был. А здесь... заставить человека встать на колени, проломить ему голову!.. Знаю, сам слышал, что в концлагерях гестаповцы и не такое выделывали. Но ведь я солдат, а не гестаповец!.. Можно было сказать этой сволочи, что я его хочу убить и сказать за что, а потом голыми руками задушить. Грязь какая!.. А не убить его тоже было нельзя... иначе майора никак не выручить... И не выручить его я никак не мог: он же тоже пруссак, наш фон Фалькенхорст... Господи, Господи, куда я зашел?.. Запутался я.

Только отчего же это сам Фалькенхорст как будто избегает меня? Боится меня... или убийцей брезгует?.. И это за то, что я его спас!.. В награду за такое дело?..

* * *

На эти вопросы не мог бы ответить и сам Фалькенхорст. Безусловно, он был рад и испытывал огромное облегчение – опасность была устранена. Вернулось приятное чувство уверенности в том, что скоро он сможет вернуться домой. И все-таки...

–...неужели я на самом деле побаиваюсь Карла?.. Но чего же мне его бояться? Я ему должен быть только благодарен, он меня выручил, отвел беду... – но тем не менее к чувству благодарности горь-

ким привкусом примешивалось и нечто другое, в чем Фалькенхорст не смел признаться и себе самому – ощущение какой-то ненужной брезгливости. Оно сказывалось, несмотря на все усилия подавить его. – Ну, отчего бы это?

– Ну отчего это? Если бы я заплатил ему, нанял бы его убить Зильберта – тогда это можно еще понять. Какое уважение можно испытывать к наемному убийце? Но ведь он сам взвалил на себя эту смертельную опасность, собой рисковал... ради меня... Это, наконец, несправедливо. Ведь только благодаря Шолтису я смогу теперь когда-нибудь вернуться к моей семье... домой...

Логика таких рассуждений, как правило, побеждала, но не надолго.

* * *

И все-таки время все исцеляет. Вскоре все эти странные, противоречивые ощущения не то что исчезли совершенно, но словно задержались чем-то, отступили в глубину, в подсознание. Вид Шолтиса перестал вызывать настороженную реакцию, и оба они вновь могли разговаривать друг с другом безо всякого усилия, необходимого для того, чтобы подавить в себе невольный холодок.

Во время одного из таких разговоров речь зашла о предстоящей репатриации.

– Куда же ты думаешь ехать? – спросил Шолтиса Фалькенхорст. Тот пожал плечами:

– Сам не знаю. В Западную Германию. А там видно будет. В большой город не хочется. В канцелярской работе я ничего не понимаю, на фабрику идти – даже думать тошно. Вот куда-нибудь в имение управляющим или хотя бы лесником – это другое дело... А в городе мне тесно.

– Вот что, Карл. Репатриация теперь вопрос месяцев. Кто из нас раньше уедет, мы не знаем, но если ты будешь первым – прошу тебя оказать мне большую услугу. Других просить я боялся, но ты – другое дело.

– Вы же знаете, господин майор, – сказал Шолтис с прежней готовностью, – что я вашего доверия не обману.

– Конечно, знаю. Я перед тобой в неоплатном долгу, Карл, и я этого никогда не забуду...

Фалькенхорст замолчал, собираясь с мыслями.

– Так вот о чем я хотел тебя просить. Будьешь репатрироваться – поезжай в Шварцвальд. У меня там семья, в Виттбахе, я тебе рассказывал. Зайди к ним, сообщи, что я жив и здоров, расскажи, как я здесь живу, что скоро увидимся... – голос Фалькенхорста осекся, но быстро справившись с собой, он деловито продолжал: – Они тебе тоже смогут помочь. Мой отец, еще до Первой мировой, депонировал в

Швейцарии крупную сумму денег, но я их никогда не трогал. У жены есть доверенность, она может пользоваться этими деньгами, когда ей понадобится.

Фалькенхорст замолчал, с удивлением глядя на поднимающегося со стула Шолтиса. Серые глаза Карла стали зелеными, и вокруг рта залегла жесткая складка. Таким его Фалькенхорст еще не видел.

– Хотите оплатить счет, господин майор фон Фалькенхорст? – спросил Карл неожиданно охрипшим голосом. Этот клокотавший бешенством голос заставил Фалькенхорста вздрогнуть.

– Я солдат, а не наемный убийца!.. Когда я шел на это дело, я знал, что я делаю: спасаю одного из Фалькенхорстов. Я не подсчитывал, что я на этом заработаю. Вам это ясно, господин майор фон Фалькенхорст?.. – Карл остановился, тяжело переводя дух.

– Хотите, чтобы я потерял всякое уважение к самому себе? А про себя станете думать: ну что ж, я с ним рассчитался, моя совесть чиста... Так что ли, господин майор?.. – Карл повернулся и решительно шагнул к двери.

– Карл, подожди, – крикнул ему вслед Фалькенхорст. Шолтис остановился, держась за ручку двери.

– Сядь, и давай потолкуем, – предложил Фалькенхорст.

– О чем? – спросил он сухо.

– Извини, Карл, ты меня не понял, – начал Фалькенхорст. Неожиданная вспышка Карла вывела и его из обычного равновесия; он не знал, с чего начать. – Ты меня не понял, – повторил он машинально. – Я ценю и твое человеческое достоинство, и твою честь офицера. Мне и в голову не приходило "оплачивать счет", как ты выразился. Просто я хотел помочь тебе как-то устроиться на новом месте. Если хочешь, считай, что я предложил тебе взять у меня в долг, а рассчитаемся, когда ты будешь в состоянии это сделать. Даю тебе честное слово, что я и не думал "расплачиваться" с тобой за то, что ты для меня сделал, да это и невозможно, сам понимаешь...

Карл угрюмо молчал.

– Подумай, Карл, – сказал Фалькенхорст, вставая, – ты здесь единственный человек, с которым я могу быть совершенно откровенным, мой земляк. Ну, мог ли я умышленно обидеть или оскорбить тебя?.. А теперь вижу, что оскорбил, против всякого желания с моей стороны. Я прошу твоего прощения, Карл, – Фалькенхорст протянул ему руку.

Карлу хотелось бы скрыть то чувство смущения и раскаяния за свою грубую вспышку, которое постепенно овладевало им, растворяя весь гнев без остатка. Потому почти с тем же сумрачным выражением лица он ответил:

– Мне нечего вам прощать, господин майор. Я сам виноват, что плохо о вас подумал. Слишком много я об этом размышлял последнее время. Мне все казалось, что вы меня презираете. А тут вы и деньги предложили...

Но рукопожатие было крепким и дружеским.

* * *

Список репатриантов оказался очень большим: более четырехсот человек. Весь вечер перед доской, на которой были вывешены списки, стояла толчея, слышались восторженные возгласы, вперемежку с ругательствами... Фалькенхорст не стал пробиваться через толпу, он уже видел эти списки у майора. Его фамилии там не было. Но из его "артели" уезжали четверо, в их числе и Карл.

Вечером он пригласил Карла к себе.

– Поздравляю, – сказал Фалькенхорст, протягивая Карлу наполненный стакан, – через неделю уезжаешь. Хотел бы я быть в твоём положении, – добавил он задумчиво и с грустью. Они выпили.

– Скоро и вы уедете, – ответил Карл, – ходят слухи, что репатриация будет закончена в этом году, значит, через несколько месяцев и вы будете дома.

– Надеюсь... Но в любом случае очень прошу тебя зайти к моей семье. Если они будут знать, что я жив и здоров, им будет легче ждать. Я тебе уже говорил, что живут они в Виттбахе. Теперь хочу дать точный адрес. Запомни: улица Вайссмюллерштрассе, номер пять.

Виттбах маленький городок, возможности его невелики, но в двенадцати километрах от него есть другой – Мюльхейм. Там несколько фабрик, большая лесопилка. Может быть, там легче будет найти какую-то работу, хотя бы временную. Когда я приеду – подумаем о чем-нибудь более подходящем. Ты согласен?

Карл благодарно кивнул:

– Хорошо, господин майор, мне ведь все равно, куда ехать...

– Да, кстати, – заметил Фалькенхорст, – пиши мне о моих как о семье Петерс. Тогда я буду точно знать, что ты с ними встретился.

– Хорошо, господин майор, все будет сделано, как вы говорите.

Карл поднялся – он не мог усидеть в комнате, будучи уже охвачен беспокойством предстоящего путешествия.

* * *

Грузились в эшелон со смехом и шутками. На одном вагоне кто-то успел написать мелом "Берлин Экспресс". Паровоз басовито рявкнул и дернул состав. В вагоне, перед которым стоял Фалькенхорст, запели: "Венн их комм, венн их комм, венн их видер видер комм..." Поезд начал набирать скорость. Когда перед Фалькенхорстом пронеслись последние вагоны, лиц уезжающих уже нельзя было различить – поезд шел слишком быстро.

(Продолжение следует).

АЛЕКСАНДР ГИДОНИ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ЛУННОСТЬ

Отелилось небо месяцем.
Бледной желтизной звеня,
бедный,
по но́чи он мечется,
но́чи той не дав огня.

Ходит, бродит неприкаянный,
Лунью бредит
и бредёт.
В глубине ночей –
отчаянный,
отыскал, как видно, брод.

И не видится гулящему,
как в его сетях-лучах,
продираюсь в черной чаще я,
выбираю путь впотьмах.

Мне бы месяца сияние –
предо мной
и *подо* мной,
как фонарик ожидания
на дистанции скитания
бесконечной кривизной!

Но недаром мне мерещится
вечной но́чи глубина.
Я отмечен знаком месяца,
а известно, что у месяца
в положеньи полумесяца –
роковая кривизна.

Тяжело с душою лунною
жить –
не с солнечной душой.

Ну так что же!
Лей безумную,
свою тонкую и струнную
излученность – надо мной!

Лей –
размашистую,
пенную
зыбкость ночи и стихов!
Укажуй дорогу бренную
неразменно-неизменную
к отпущению грехов!

Может я,
хоть полумесяцем,
хоть на "полу",
хоть на "треть",
жить смогу –
и не повеситься,
умирать –
не умереть.

Промелькнуть над жизнью темною,
как и он,
лучом звеня,
чтоб спасти неутоленную,
светом месяца крешеную,
мою душу без огня.

СЕРДЦЕ – ЦВЕТОК

Можешь быть ты могучим и властным,
можешь быть ты
предельно жесток,
но чтоб в жизни прожить не напрасно,
надо сердце иметь –
как Цветок.

Как Цветок,
что сквозь шквалы и бури,
через смерч
и кромешный ад,
сохранит голубень лазури
и не выдохнет свой аромат.

* * *

Поэзия не знает пониманья.
И если в ней – божественная суть,
то, вспомнив Сына Божьего страданья,
поэта должно, как Христа, распнуть.

И пусть пустое небо шагровидно
костром зари бессмысленно горит...
Когда душе за Вечное обидно,
легко прощаешь временность обид.

КРАСНОЕ-ЗЕЛЕНОЕ

Итак,
мы сейчас эмигранты
вне временности времён.
Пробили эпохи куранты
свой псевдомалиновый звон.

Мы брошены на расстоянья
крестовых дорог и путей,
где есть светофоры страданья
из красно-зеленых огней.

Свет красный:
забудь о надежде,
старайся себя преломить!
Того, что случилось прежде,
не будет,
не может быть!

И то,
что тебе удавалось,
уже не удастся впредь.
А жизни желтеющей жалость –
как жало-сигнал:
"умереть!"

Но – стоп!..
Свету красному трудно
тебя до конца побороть.
Есть то,
что ему неподсудно,

Л Е Т О

Голубой великан бездорожий –
это лето плывет впереди.
Я хочу,
я бы мог,
но не должен
рассказать то,
что мозг берedit.

Лето мчится лохматой собакой,
с шерстью,
продранной на боках.
И гроза,
как мужицкая драка,
громыхающа
и близка.

Я ромашки срываю нескошенные,
мне порой до смешного легко.
Я читаю стихи
Волошина,
запивая их молоком.

И о том, что в сердце шевелится,
мне не стоит летом гадать.
Моим чувствам нужна метелица
и узорных морозов гладь.

Чтоб залить,
заглушить,
заморозить.
Замести их –
и дело с концом!..
Чтобы каждой
грозы угрозе
показаться
с бесстрастным лицом.

нас манит в путь
иной планетою.

Поет Вертинский...
Красиво, чисто.
На пол-России
накинув плены...
И утверждая
душой артиста,
что души музыки —
нетленны.

* * *

Нет, поэтического штрафа
не уплатить, мой друг, нельзя.
Влечет развернутых метафор
неумолимая стезя.
Текучесть рифмы мне послушна,
мой интеллект изящно-прост.
Пусть охлаждает жизни душ, но...
я не покину этот пост.
На мне поэзии вериги,
как бремя яркого греха.
И вы, о творческие миги,
и ты, гармония стиха!



ЧЕРЕЗ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ

...Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его, во спасение...

(Новый Завет).

Двое пожилых людей неторопливо шли по улице. Стоял августовский день. Небо отдавало осенним холодком и синевой. И как-то особенно резко сияли на его фоне золоченые маковки красивой белой церкви.

– Жаль, не с нами сегодня наш Алеша, – проговорила старушка.

– Да... как родился у него ребеночек, так он нас и позабыл, – грустно отозвался ее спутник.

– Знаешь, а те сны мне совсем перестали сниться. Приснился последний, вроде они вернулись, и с того дня больше ничего не снится.

Старик досадливо передернул плечами.

– Брось ты ерунду всякую вспоминать, – сказал он с какой-то злостью. – Живем себе и слава Богу.

– Саша, ты не сердись на меня, но я-то точно знаю, ведь и тебе тоже перестали они сниться...

Старик с досады даже крякнул и закашлялся.

– Ну прости, прости, – поспешно заговорила она. – Прости, я больше не буду. Но только и Алеша с тех пор к нам все реже приезжает...

– Я сказал тебе, – ее спутник был не на шутку рассержен. – У него дети пошли! Дети! В этом вся причина, представляешь, сколько с ними хлопот?! Да и живет он далеко. Причем здесь твои глупые сны.

Старушка тихонько вздохнула, хотела еще что-то сказать, но промолчала. Они подошли к церкви. Празднично толпился разный люд. Две бойкие на вид бабенки, лузгая семечки, громко обсуждали последнюю новость.

– Говорят, – тараторила одна, – нашему отцу Георгию видение было... – Здесь говорившая сделала паузу. Бабы вокруг вытягивали шеи от мучительного любопытства. Тощая, похожая на мочалку молодуха напротив не выдержала и, мотнув головой, заявила:

– Врешь ты, наверное, все. Врешь. Никакого ему видения не было. А если было, так не тяни, рассказывай.

Первая, что говорила, еще чуть подождала, а потом со значением в голосе заявила:

– Было видение, только он скрывает. И от домработницы узнала. А та слышала, как он попадье рассказывал. Будто стоит он ночью. Вышел по надобности...

– А вот я и говорю, все ты врешь, – взвизгнула вторая бабенка, – у них уборная в доме.

– А я и не говорю, что по этой надобности. Просто вышел на воздух...

– Подожди, Саша, о чем это они говорят, – старушка потянула за руку своего спутника и заставила его остановиться...

– ...Вышел и вдруг видит, как будто с неба чего-то спустилось, но как-то тихо. Спустилось и встало. И вроде ему показалось не на земле он, а в какой-то пустыне огромной-огромной...

– А голос, голос-то был ему?! – неистовствовала вторая баба.

– Да дайте же рассказать ей, – вступилась еще одна, – хоть когда это было-то?

– Когда, когда, – разозлилась рассказчица, – мне он не докладывал. А только было это как раз на субботу, ровно месяц назад, вот когда, – закончила она торжествующе.

– Ну, а голос, голос... – все не унималась главная спорщица.

Но первой бабе ответить ей не удалось, в этот момент открылись двери и все пошли, чинно шаркая подошвами, в храм Божий. Вместе со всеми вошли и старик со старушкой. Она тихонько подергала его за рукав и извиняющимся тоном тихо сказала:

– Саша, прости меня, не сердись на меня.

– Ну что ты еще хочешь от меня? – яростным шепотом спросил он.

– Не сердись, но как раз в ту ночь и я свой последний сон видела...

Он не дал ей договорить. Резко дернул рукой и красноречивым жестом приказал замолчать. Запели. Звук гулко и чисто бродил над головами людей. Свечи потрескивали, мерцаая, как звезды, выхватывая из полумрака бесстрастные лица святых. Служба шла своим чередом.

– Ну, – лицо человека за массивным столом напоминало череп, туго обтянутый высохшим пергаментом, – рассказывайте!

Щурясь от сильного света, бывшего ему в лицо, субъект напротив быстро, но четко начал говорить.

– Массовые галлюцинации и видения. Месяц назад. Что-то спускается сверху. Странно, что никто не говорит слова "с неба", именно сверху. Особенно яркое видение было у одного священника в Н-ском районе. Там известная в округе церковь. Святыне мощи и прочее.

– Область распространения перекрывается с той, что указали астрологи?

– В точности. Н-ский район приходится как раз на наиболее вероятную точку в их предсказаниях.

– Как наши подопечные? Есть какие-нибудь новости?

– Есть. Тринадцать человек оставили работу и ведут себя очень странно. Это те самые тринадцать, которые у нас на особом учете.

– Кто тринадцатый?

– Не известно пока. Подозрение падает на... – субъект проворно перелистнул страницу в маленькой записной книжке, – на Алексея Юдина, но...

– Какие принимаете меры?

– Завлекаем, – субъект мрачно усмехнулся.

– Как?

– Как обычно: деньги, женщины, разные блага. Все исполняется в виде судьбой уготованных счастливых случаев, удачные стечения обстоятельств и т.д.

– Главное не упустить момент. Потом будет поздно. Мы должны все сделать, чтобы не повторить прошлой ошибки. Слышите! Всё!

– Мы и делаем все, что можем.

– Идите и сообщайте немедленно, если появится что-то новое. Особо следите за знаменами. Не дай бог дело дойдет до чудес... Тогда будет поздно. Идите. Нет, стойте! Я сам туда приеду. Теперь идите.

Субъект проворно встал, откланялся и вышел. Пергаментный человек подождал, пока закрылась дверь и тогда рассмеялся беззвучно. Потом нажал кнопку и, чуть наклонившись, глуховато сказал: "Машину".

* * *

– Он сошел с ума, – на разгоряченном лице молодой женщины проступили красные пятна.

– Ну, это вы слишком, Ирочка, – старик досадливо поежился...

– Алешу не узнать теперь, – старушка виновато посмотрела на своего мужа, – Саша, а может с ним правда что случилось?

– Что с ним могло случиться? Алеша всегда был мальчик с фантазией... Скажи, Ирочка, он совсем ушел с работы, уволился?

– Совсем уволился, – Молодая женщина всхлипнула. – А мне сказал, что мы должны расстаться...

– Да... – протянул старик и встал.

В открытую дверь тянуло прохладой из сада. Одноэтажные деревянные домики Н-ского города нагревались и сохли на солнце. Жаркое было лето. Сухо. Хоть бы капля воды упала с неба. Ни облачка. А в саду под деревьями – хорошо. Воздух, как чистая шелковая рубашка, холодит и скользит нежно по коже...

Старик, мрачно сощутив глаза, смотрел в слепящее, белесое небо. Потом отвернулся от двери и снова сел.

– А что он еще говорит, Ирочка, – старушка опять виновато поглядела на мужа, как будто извинялась, что нарушила молчание.

– Говорит, наступит рай на земле и все будут счастливы. Вот-вот, мол, сам Бог, в образе человека, придет к нам, – молодая женщина говорила сухо, и недобро разгоралось ее лицо, слезы быстро высохли... – А он, – она зло вспыхнула теперь вся, – он будет с Ним...

Старик и старушка переглянулись. Такой они никогда ее еще не видели. Он закрихтел и снова досадливо поежился. Она посмотрела на мужа и как-то нехотя сказала:

– Ирочка, а может быть, у вас еще что-нибудь не так?

Молодая женщина блеснула на нее глазами и неожиданно занлакала снова. Сквозь всхлипывания понеслись торопливые слова:

– Все у нас не так. Все. Как родился Игорь, с тех пор он ко мне вообще не подходит. Обращается, как с чужой. Ласковый, вежливый – каким не был никогда, а лучше бы бил, но только любил... Я понимаю теперь – в нем всегда это было, всегда... Ненавижу, – неожиданно хрипло вырвалось у нее.

– Что ты, Ирочка? – испуганно вся приподнялась старушка, – Разве так можно говорить?

Молодая женщина спохватилась и замолчала. Старик снова встал и молча вышел на веранду. Солнечный соломенный диск катился среди яблоневых стволов и веток. А с ним вместе катился и день к вечеру. С шумом летело воронье на закат. Прокатилась расплавленная сковорода и тихо опустилась за край земли. А в противоположной от заходящего солнца стороне бледнела гордая луна. Так смотрит бледная неяркая блондинка на свою жгучую приятельницу. И тихо стиснув зубки, томится в ожидании, медленно разгораясь холодным пламенем изнутри. Но вот проступила первая звездочка, как будто по ошибке выстрелили днем синей ракетой, а та и повисла в небе, разгораясь все ярче... Кто-то огромный, больше Земли, не спеша задергивал с Запада темносиний небесный полог. И навстречу его гигантской руке стремительно летели, вытягивались тени от предметов. Они росли и где-то там, вдали, неслышно растворялись, разбавляя чернотой своей пугливые, набегающие сумерки...

* * *

Кар, кар, кар... как вороны слетались под черным крылом ночи пергаментные люди в маленький Н-ск. Кар, кар, кар... Сегодня пирр и рррадость... И стынет кровь от их негромких, хриплых слов-могильщиков. С шумом и хлопаньем ставней разлетается, убегает в испуге от них все живое. Тревожными запятыми вонзились ночные птицы в чуть белеющее на западе небо.

– Что случилось, сосед? – спрашивали друг друга люди, глядя с опаской вслед большим черным машинам.

– Кто его знает. Говорят, заговор какой-то обнаружили. Шпионы. Вчера загорелось на элеваторе, а неделю назад на текстильной фабрике..

– Да... хорошо хоть ночная смена была...

– А много погибло народу?

– Кто его знает? Разве скажут.

– Двое умерло, и обожженные... Говорят, только что перед этим на фабрике делегация немцев была...

– Да...

И расходились, недоумевая. А машины, упираясь снопами огней в глухие заборы, все шли, все урчали тихо моторами... Много собралось главных людей в маленьком Н-ске. Ох, как много. Местное начальство с ног сбилось, разрывалось на части...

В небольшой уютной квартире в центре города собрались другие люди. Горел мягко свет. На столе стояло легкое вино и фрукты. В тонком стекле вспыхивали, искрились огоньки. Тихо и спокойно текла беседа. За этой тишиной и комфортом трудно было бы ощутить смысл негромких слов средних лет человека, с красивым строгим лицом.

– Кто-то из нас – предатель, – повторил он спокойно во второй раз. Холодные темные глаза его задумчиво скользнули по лицам сидящих. Как в темном стекле отразился и погас в них свет лампы. Все сидели, застыв. Наконец кто-то прошептал:

– Этого не может быть.

– Может.

Все заговорили разом, хотя и по-прежнему вполголоса. Но властный жест остановил их, и снова заговорил темноглазый человек:

– Мы здесь досиживаем свои последние минуты на свободе, – и, погасив движением руки поднявшийся шум, добавил: – Я это чувствовал, а сегодня просто узнал. Как – не важно. Через час-два нас арестуют...

В комнате повисла тишина. Нет, не зловещая, а какая-то ватная. Такое бывает, когда тебе скажут "дурак", и ты, возмущившись в первый момент, вдруг поймешь, что это – правда и застынешь, пораженный безнадёжностью собственного прозрения...

– Но кто из нас?.. – спросивший не смог произнести вслух последнего слова.

– ... Предатель? – закончил за него вопрос темноглазый. – Этого я не знаю.

– Я думаю, ты ошибаешься, – донеслось из угла комнаты, где сидел хозяин квартиры. – Во всяком случае, если предатель и есть среди нас, то донести он вряд ли успел.

– Тогда донесет... – темноглазый помолчал и задумчиво добавил: – Впрочем, это не важно. Вы все, никто из вас все равно не поверил мне. Вы приходили ко мне за чудом, как идут в цирк, чтобы посмотреть аттракцион. И это – вы, лучшие из лучших. Те, что всю жизнь размышляли, искали смысл и думали о вечности... Что о других? Дьявол вселился не в вас только. Он во всем, в вещах, в машинах, в способе вашем – думать... во всем. Вам не нужно распятие Христа. Даже распятия не хватит, чтобы спасти вас... И скажи я вам, что завтра конец мира и день Страшного суда – никто из вас не поверит. Не поверит внутри, сердцем, хотя и покажется вам это забавным...

Еще Нострадамус предсказал 500 лет назад, что в конце этого тысячелетия наступит конец света, – заметил один из сидевших напротив него...

Он усмехнулся. – Нострадамус вам ближе. Забавно. Все точно так, как это было 2000 лет назад. Только тогда я был другим. И вы тоже не верили и отреклись от Меня. Пока... – он замолчал и задумчиво глотнул вина, – пока не было жертвы, она потрясла вас и запомнилась многим. И только после нее чудо воскресения – убедило вас по-настоящему, а потом и многих. Страдание и сверхчеловеческое чудо. Сверхжертва и

следом – непостижимое – только так удалось пробиться в ваши заско-
рузные души. Зачем?

И сам себе ответил:

– Чтобы через два тысячелетия все начать сначала... – он замол-
чал, и никто не осмелился говорить. Ошеломленные, порженные раско-
ловшейся перед ними бездной, все двенадцать человек застыли. Он нико-
гда им не сказал ничего прямо. К нему притягивало многое. Но никому
не могло в голову придти, что этот темноглазый, со строгим лицом че-
ловек, на самом деле – Он... Он усмехнулся, угадав, ощутив их ужас...

– Но этого не может быть, – пролепетал хозяин.

– Один из вас узнал меня. Но так и должно было быть. Он не мог
не узнать...

Все двенадцать застыли вопросом.

– Нас двенадцать, – один из сидевших напротив Него вскочил. – Нас
двенадцать! – воскликнул он и захохотал...

– Принесите ему воды, – спокойно заметил темноглазый и снова
повторил: – Он не мог не узнать...

– Юдин... – выдохнул хозяин.

Алексей в ужасе медленно поднимался из-за стола. Все смотрели
на него. А он, не отрывая глаз от строгого лица, начал пятиться...

– Но... ведь я поверил, по-настоящему поверил...

– Тот верил по-настоящему тоже, пока не вселился в него дьявол,
а позже раскаялся и наложил на себя руки. Но остался апостолом. Иуда
– не виновен. Если бы не он, другому пришлось бы исполнить это...

– Но ведь все это бред!! – неожиданно закричал в ярости хозяин до-
ма. – Бред! Духи, две тысячи лет, переселение душ... ну ладно, – он
давно вскочил со своего кресла и теперь, наклонившись, жарко дыша в
темные глаза, быстро сказал, – ну ладно, пусть все так! Докажи! Сде-
лай чудо! Но не из тех, что ты делал до сих пор: ясновидение, всякие фо-
кусы, хождение по воде... это любой хороший гипнотизер может. Неясно,
что такое гипноз, правда, но зато много гипнотизеров. А ты сделай на-
стоящее чудо! Настоящее!

– Сделаю! – темноглазый строго и спокойно посмотрел на них. –
Сделаю, но придется обождать.

– Но какое чудо ты сделаешь, чтобы убедить нас?

– Только одно-единственное... оно убедит всех... А теперь нам по-
ра. Расходитесь и будьте осторожны. Сегодня ради нас сюда слетелось
много страшных птиц...

* * *

Ночь, как легкое шерстяное одеяло с головой укутала землю и заглу-
шила звуки. Погасли давно огни в маленьких домиках. Только тревожно
громыхнет цепью и хрипло, коротко залает верный дворовой пес. Обыва-
тель заворочается в постели И снова тихо. Ни огонька. Лишь в большом
доме на площади ярко горят окна и видно, как скользят по плотным зана-
весям тени, напоминая пугливых летучих мышей. И, если прислушаться,
донесется вдруг, как ветер дунет, неясная волна музыки, голосов – и

стихнет... Странный скрывался праздник за плотными занавесями. Да и с какой, собственно, стати собрались здесь повелители, в ничтожном Н-ске? Ох, как тревожно ворочалось в эту ночь местное начальство. Их не допустили, не позвали, но сделали это не обидно. А только оттого еще более странным все кажется, и тревога заползает в сердце, и жалит, жалит изнутри, не дает уснуть... Зачем?

– Зачем мы здесь все так экстренно собрались? Я думаю, что надо раньше всего ответить на этот вопрос и больше не держать вас в неведении, Но прошу отнестись к тому, что будет сказано, очень и очень серьезно, – говоривший сделал паузу, – каким бы невероятным вам все не показалось...

Играла тихая музыка. Люди в черных вечерних костюмах, непринужденно поворачиваясь к высокому человеку посередине зала, внимательно его слушали. На многочисленных столиках в изобилии громоздились закуски и тихой ясной слезой плакали запотевшие от тепла бутылки...

И неожиданно музыка смолкла. На середине комнаты стоял пергаментный человек. Спокойно оглядев всех, он тихо, но отчетливо произнес:

– Мой рассказ – долгий. Лучше всего нам сесть...

Молча в тишине все рассаживались, придвигая попутно к себе столики с бутылками и едой.

– Итак, – сухое желтоватое лицо напоминало куклу, у которой ниткой кто-то изнутри раскрывает рот-щель... и несутся тихие глуховатые звуки... – Все началось давно. Тридцать три года назад весь мир охватило волнение. Сотни астрологов во всех странах и даже у нас, – он сделал паузу, – ...предсказали в тот год рождение великого Пророка и Учителя рода человеческого. Мы не могли не заинтересоваться, на всякий случай, и уточнили предсказания. Мы запросили западных астрологов, самых знаменитых, и одновременно использовали свои возможности... Потом нанесли на карту все предсказанные точки-места возможного рождения. В результате получили облако точек. Его центр приходился как раз на этот городок.

Черные люди шевельнулись, и по зале пронесся шелест. Пергаментный человек помолчал, и, когда снова стихло, продолжал:

– Наш мир стабилен. Мы хорошо знаем его законы, и хоть мы не в силах их изменить, мы можем к ним приспособиться, и тем самым достичь благоденствия. Знание объективных законов – путь к истинной свободе. Ибо закон – необходимость, осознав которую однажды и следуя ей без размышлений, человек освобождает себя во всем остальном полностью!.. Простите мне отступления, – лицо пересекла улыбка-щель. – Они необходимы. Все дело в том, что знать все законы, те, что действуют незаметно и очень медленно – нам трудно. По каким-то причинам, как показали наши исследования, периодически, через большой срок, общественный организм вносит в себя – возмущение. Это, как правило, новая религия, учение, которое по непонятным причинам охватывает миллионы людей. Суть возмущения, видимо, в том, чтобы ускорить развитие, под-

хлестнуть его. Любая процветающая система – в каком-то смысле мертва: она застойна... Нужен внутренний диссонанс, нарушение устойчивых представлений... И здесь оказалось, что всегда новое, возмущающее привносится в мир одним человеком... В нем сосредоточена миссия всего общественного организма. Он выбрал этого человека своим репродуктором в мир отдельных людей...

В зале стояла тишина. Все молча слушали и лишь мертвенно горели неоновые лампы, иногда вдруг резко мигая с легким звоном. Глухой, отчетливый голос тихо продолжал:

– ...Но бесполезен был бы этот человек и все те, кому судьбой суждено пророчествовать и распространять уже им сказанное, если бы не одно обстоятельство. Все эти люди – бескорыстные жертвы тех, к кому были обращены их слова. Все они гибли в мучениях, и ни один не отрекся... Вот это и дало нам право предполагать, что эти люди говорят и действуют не от себя. Другая сила всего гиганта-организма, в котором мы лишь клетки, воплотилась в слова этих людей и определила их действия... А потом те, что распяли, медленно приходили к сознанию ужаса содеянного. Жертвы других уже не народу, а правителям, только подстегивали чувство вины у массы, и популярность новой истины росла, ибо она подкреплялась одновременно и ненавистью, и недовольством к правителям своим. А собственное чувство вины всегда ищет другого, чтобы на него переложиться...

– Вопросы можно? – спросил чей-то голос.

– Можно.

– В чем суть вашего длинного слова? Мы ждем очередного пророка?

– Да! Как ни покажется невероятным – это так.

– Но нам не нужны новые пророки! – воскликнул тот же голос.

– Для этого мы и собрались здесь все. Собрались, чтобы решить – что делать?

– Известно, кто он – пророк?

– Пока нет, но подозрение есть...

– Вы за ним наблюдали?

– За всеми, родившимися в те годы. Потом постепенно их сортировали по способностям.

– И кто же остался в результате?

– Осталось тринадцать человек!

– Ого! – даже присвистнул спрашивающий. – Двенадцать апостолов и Иисус Христос?

– Выходит так.

– А кто тринадцатый?

– Пока неизвестно точно.

– Но ведь все это пахнет таким откровенным бредом...

– Да, но в наш век мы не можем себе позволить легкомысленного отношения даже к самому откровенному бреду, если есть ничтожный намек на то, что это может угрожать нашей системе, нашему устройству. Слишком большого труда нам стоили все завоевания.

– Что вы предлагаете делать?

- Мы должны решить только один вопрос: будем мы бороться или нет?
- С чем бороться?
- С опасностью.
- В чем опасность?

Пергаментный человек круто повернулся к спрашивающему.

– Опасность в том, – жестко сказал он, – что все мы можем оказаться не у дел – в лучшем случае, если... и очень скоро... – было видно, как под кожей у него, вздрогнув, прокатились два бугра и пропали.

Снова лицо застыло, превратившись в маску.

– Вы поясните нам, серым, пожалуйста. В чем, собственно, дело?

– Дело в том, что христианство завоевало Рим за несколько столетий. А в наше время новая массовая религия может распространиться при прочих равных – жертва и т.д. – всего за несколько лет. Наша система жестко и тесно связанная внутри организм. Новые идеи – в худшем случае, конечно, – та слабая точка в нем: стоит нажать на нее, и – конец. Как в пересыщенном растворе малейшего возмущения достаточно, чтобы все мгновенно изменилось, и жидкость застыла решеткой кристалла. Вас не удивляет, когда укол иглы излечивает тяжелую болезнь. Укол в слабую, очень важную точку нашего организма, тела. У общественного организма тоже должны быть слабые точки. Воздействие на них многое может в нем изменить. Этих точек – мы не знаем...

– И так, – он возвысил голос, – ваше решение?!

– Да шлепнуть их всех, возмутителей, – скороговоркой произнес толстяк, сидевший совсем рядом с пергаментным человеком, – чего, в конце концов, церемониться. И вообще мне не понятна ваша цель. Когда мы боролись с врагами – то не возникало вопроса, что с ними делать. А теперь, если я верно понял, речь идет всего об одном, ну, или тринадцати... Смешно! – Толстяк пожал плечами и обернулся назад, взглядом ища несомненной поддержки...

– Действительно, – загалдели голоса, – в чем, собственно, проблема? Зачем мы собрались здесь? Разве... стоит ли ехать... Карр... Черрт... – зашумело-загалдело хрипло собрание. Тени заметались по занавесям, и все бледнее вспыхивал мертвый неоновый дневной свет на лицах, все тревожнее позванивало стекло...

– Тише! – пронеслось над ними, и разом все стихло. Высокая фигура с мраморным лицом стояла в центре, рядом с пергаментным человеком... – Никто не стал бы беспокоиться по пустякам. Но в двух словах – не объяснить. Желающие могут ознакомиться с отчетом. В нем 1000 страниц и все сказано. Сейчас – иная цель. Поверить на слово, что есть опасность. И принять решение. Какое? Доверим ли мы, – тут длинная рука с изящными белыми пальцами указала на пергаментное лицо, – действовать так, как он считает нужным, или – нет?

– А как он считает нужным? Как? – послышались голоса.

– Опасность в жертве. В той жертве, которая принесена по требованию толпы. Этого мы не должны допустить. Жертвы быть не должно. Только через нее слова приобретают силу. Слова должны остаться легкими,

и если даже молва их разнесет, то очень скоро они исчезнут из памяти, потому что в сердце – не опустятся. Не будет в них веса и силы, притягивающих к ним людей. Души, о которых мы очень мало знаем, хотя их роль – регуляторов в общественных масштабах – очевидна! И так, – высокая фигура в черном застыла на мгновение...

– Пусть действует, – заявил толстяк. И снова повернулся за поддержкой...

– Пусть. Пусть... – понеслось с разных сторон...

– Ну что ж, – высокий человек усмехнулся. – Проголосуем!

Он отошел к стене и смахнул темное покрывало с ящика. На нем красивой стопкой лежали тонкие листы. На каждом – всего два слова: ДА... НЕТ...

– Каждый должен подчеркнуть одно из них и расписаться.

– Зачем? Разве голосование – не тайное?

– Нет. Не тайное. В этом – каждый сам за себя, – и снова усмехнулось бледное лицо. Сырое и холодное, как из могилы дуновенье, пахнуло вдруг, и, на мгновение, разбухло и застыло комком сердце... Потом по очереди, как на похоронах, все в черном, медленно потянулись к ящику... И хоронили в нем белые, тонкие листы: Да, да, да, да, да... Итог? Все за – один против.

Кто?!

– Я – против, – бледная улыбка скользила по белому, мраморному лицу. Вздох прокатился по зале. И неожиданное стеснение в душе прошло и заместилось злостью:

– Я уступил вам, но сам я против, – качнулась высокая фигура, милостиво кивнула злым лицом и пропала...

И разом вскипела зала. Толстяк, напоминавший черную пивку, жирно колыхаясь, подскочил к пергаментному человеку. По зале уже мчались официанты с подносами. Становилось все шумнее. Лица людей в черном быстро багровели...

– А я, – пивка уже выпил три рюмки (когда только успел!). – Я считаю, можно их, просто, ррраз... – он щелкнул ногтями, – и... готово!

– Нельзя, – пергаментное лицо осталось невозмутимо. – Нельзя. С нас хватит Христа. До сих пор расхлебываем. Но тогда не знали, что нельзя. А теперь – знаем. Впрочем, тот спасал нас, и все равно заставил бы его распять. Слишком они сильны...

– Но чем?! – орал пивка, извиваясь. – Чем?!

– Как только человек дал гарантии в душе, – два серых мертвых глаза, напоминавших две тряпочки материала, уставились на пивку. – В душе, – со значением повторил пергаментный человек. – Но ведь тебе неизвестно это слово, – и тихо засмеялся, перерезав улыбкой-щелью себе лицо от уха и до уха...

– Что же, он векселек подписывает? Гарантии?! – зло завизжал пивка.

– В каком-то смысле – да! Отречением от мирского. Это гарантия не использовать силу истины. И в этот миг – истина может открыться

ему. И тут мы ничего уже не сможем с ним поделывать. У него в руках бесконечная сила, о которой он, к счастью для нас, порой и не подозревает. До поры, до времени, правда. И чем опаснее и значительнее он для мира, тем беспомощнее мир... — лицо у пергаментного человека стало еще суше и жестче. А пивка-толстяк извивался и весь дрожал от возбуждения и злости:

— ...Я, — орал он, — я... вас... я показал бы...

Тут взвыл оркестр и в его реве утонули визгливые проклятия. Откуда-то появились дамы в вечерних платьях и полетели, закружились по зале... Вначале медленно, потом быстрее, быстрее! Эээхха... карусель кружится! Прочь! Собью! Сшибу! Уухха, ха, ха!

Человек с пергаментным лицом незаметно скользнул в соседнюю, малую залу, и, неторопливо оглядевшись, прошел еще дальше к выходу. Из кресла тихо поднялась тень. Пергаментный человек остановился на мгновение. Тень выпрямилась и застыла.

— Действуйте, все должно идти по плану, — глухо, затухая вблизи сухих губ, прозвучали слова... и быстро пергаментный человек прошел к выходу. Тень молча кивнула, и так же быстро скользнула куда-то в сторону и растворилась...

Черный большой автомобиль тихо всхрапнул и поплыл стремительно. Фары ровными конусами резали ночь, и на мгновение выхватили плоскую плоскую фигуру человека. Как в черном люке на фоне неба она явилась и пропала...

* * *

Алексей Юдин резко посторонился. Большой автомобиль скользнул мимо и растворился в ночи. Только снопы огня от фар еще долго вспыхивали на глухих заборах и деревянных ставнях низеньких домиков... Алексей шел домой. Так смутно на душе, как этой ночью, никогда у него не было. Да и слово "смутно" здесь вряд ли подходит. *Страшно* было у него на душе. Дико, как во сне, когда хватают тебя огромные руки догнавшего великана и ты застываешь в беззвучном крике, не в силах пошевелиться...

Весь вечер, а теперь и половину ночи он бродил по узким улочкам, где за чугунными развodyями решеток лопотали о чем-то листья в ночи. Иногда густые и тяжелые ветви перевешивались через ограду и приходилось пригибать голову... Теперь под ногами вместо асфальта сыпался песок окраины. А широкий тротуар превратился в узкий проход между бесконечным забором и зарослями кустарника, отделявшего его от дороги... Ночь была в разгаре. Но где-то далеко-далеко незаметно начинал белеть краешек небесной простыни... Пройдет еще час, другой, и сквозь нее проступит жаркое красное золото, а потом все тот же гигант нескромно сдернет покрывало, и покажется розовое, умытое утренней прохладой, лицо на востоке. Еще сильнее зардеется румянцем от смущения. Во все стороны побежит, пылая, жар щек. Но вот преодолет себя и глянет красавица, и дивные лучи блеснут от ее глаз, брызнут нестер-

пимым светом нам в лицо, и в нежной голубизне, бледнея, немея, тихо растворятся луна и звезды...

Глухо пробило два часа. Алексей все шагал и шагал. – Предатель! Он, Юдин! – вертелась мысль. – Но зачем? Зачем эта нелепость случилась? Юдин – Иудин?! Он не виноват, что его фамилия созвучна с той... И дико, что все случилось и было сказано в тот миг, когда поверил он окончательно, и готов был идти за темноглазым... А теперь? И теперь тоже! Но кто смеет эту горечь и мягко вынет из сердца застывший комок обиды и боли...

Алексей пошарил в кармане и достал последнюю сигарету. Свет спички отбросил оранжевое пятно на забор, метнулся и погас. Зато кончик сигареты теперь засветился, то ярко вспыхивал, то багровел и, покрываясь пеплом, тускнел, чтобы тут же через секунду снова вспыхнуть.

– ...Нет! Все решилось бы и без Него. Он подписал бы в душе отречение. И если бы кто-нибудь знал, как легко ему стало в тот миг, как отбросил он суету. Перестал бороться, куда-то спешить, чего-то хотеть. Служба, деньги, карьера, женщины, удовольствия – у него все это было. Но, видимо, так был отмечен его путь, что не того хотелось... А чего? Узнать при жизни, что там, за чертой, что разделяет, или лучше сказать, отделяет еще – жизнь от неизвестно чего? Чертой, что называют смерть... Что там, за ней?

Ярко засияла соломенная точка, и, как резцом, глубокими тенями угловато-грубо наметилось лицо Алексея...

А что было раньше, до рождения? И есть ли разница? Есть! Тогда меня еще не было... а теперь, потом... уже... не будет. А в промежутке – неотвратимость! А что за ней, за этой пленкой реальности? Что кроется за ней или под ней?! Если не знаешь, что было до и будет после – то и на это наверняка – не ответишь? Зачем тебе все это? – вдруг колыхнулась гладь души и поднялся усталый тихий голос. – Зачем? – Он остановился и, бросив окурочку на землю, резко растер его ногой... – затем, что ничто другое так по-настоящему, как это, не интересовало никогда меня! Найти себя, любимое дело в жизни... – коротко и зло он рассмеялся. – Искал, и очень долго, к сожалению. Искал, пока не убедился в нелепости идеи искать себя в чем-то, в предмете, или занятии "любимом". Искать того, кто всегда рядом, и никуда не надо ходить... Искал до тех пор, пока не понял, что нет Меня ни в чем, что вне меня. Тогда и понял я, узнал вдруг каждой клеточкой, от живота, что же такое смерть, по-настоящему! И волосы встали дыбом, и выступил на лбу пот, и так стало дико и страшно! Никогда! Больше никогда меня не будет! АААааа!... и оборвалось. Сам оборвал это дикое Не Хочуууу... И молнией мелькнуло другое! Так же, как смерть, я ощутил вдруг Жизнь! Ощутил себя, и разом понял так много, что не мог осмыслить и выразить это мгновенное осознание десятки лет.

Алексей вздрогнул. Глухо и хрипло, и неожиданно, прямо у него под ногами залаяла собака. И зло загремела цепью. – Фу ты, черт! Испугала, – всердцах он даже сплунул и, продравшись через полосу кустов,

шагнул на дорогу. Стерегут добро, хозяйские псы! Для кого и зачем? Умрет – и все останется. Сыну, дочери? А им, может, и не пригодится, если долго проживешь. Свое наживут. Все хорошо вовремя. А вовремя я понял? Нет! Пожил бы спокойно, как Лев Толстой, лет до сорока, пятидесяти, а там и погрузился бы в размышления о жизни, смерти... Но поздно говорить об этом. Поздно! И вот пришел Он, темноглазый, задумчивый и спокойный... Пришел, и никто не поверил Ему. И он, Юдин, тоже не поверил. Проклятие нашего века: скепсис, рационализм... Эксперимент давай, а не чудо. Или такое чудо, чтобы и сказать было нечего... Проклятое сомнение! А он обещал. А ты, ты, – Он сказал, – Предатель. Потому что Юдин и должен донести на Него, как много лет назад, тогда...

В глубине светлеющей улицы показалась фигура человека и остановилась, поджидая Алексея. Он не сразу его заметил. И увидел невысокого коренастого человека уже тогда, когда почти вплотную подошел к нему. И вздрогнул. Каким-то зловещим страхом веяло от молчаливой фигуры. Но человек улыбнулся и миролюбиво спросил: "Прости, закурить не будет?"

– Нет, к сожалению.

Человек посторонился, пропуская Алексея. Тот весь напрягся и... не успел. Что-то кольнуло остро и резко слева, и все померкло... Тело его, как большая ватная кукла, стукнулось о дорогу. Тонкая серая пыль стремительно рванулась из-под него и, клубясь, чуть поднялась... А коренастый человек, быстро оглянувшись, неторопливо наклонился, вытер нож о полу его пиджака и скользнул в сторону, с дороги. Тихо. И никого. Только воронье поднялось с дерева неподалек и с хлопанием полетело к белеющей чистой полосе на востоке. Печально висели над ним светлые два уголка бледной лунной косыночки, закрывшие высоко в небе невидимое лицо. И будто чувствуя свою вину, пугливо комкая и распахивая по карманам тени, убегала Ночь...

* * *

– Убили! Убили-и-и-и!

– Ирочка, Ирочка! Успокойся. Кого убили?

Молодая женщина каталась в беспамятстве по дивану. Старики переглянулись. Он был сердит. Она в недоумении. Неужели эти молодые люди не могут понять, что в пожилом возрасте всякие бурные эмоции просто неприличны. Нам трудно, Ирочка, волноваться, и вредно...

Старушка не выдержала и подошла к молодой женщине. Обняла ее. Та сотрясалась от рыданий.

– Алешу убили, – наконец провыла она... – Алешу-у-у...

– Алешу?.. – теперь он быстро подошел к ней и встряхнул за плечо.

– Алешу?! Кто? Когда?!

– Сегодня ночью... Я сразу к вам приехала...

Но старик ее не слушал. Он поверил, и сразу как-то одеревенел, застыл. И только его жена еще продолжала гладить голову молодой плачущей женщины... Но делала это машинально, испуганно и недоумевающе смотрела на него...

Как тихо стало в комнате. До того жужжали мухи. Где-то поскрипывали доски, кто-то перекликался... И замерло все, загустело... Так бывает, если нырнуть поглубже в воду и открыть глаза... Вокруг все расплывается, неясны смазанные контуры, а в ушах налита густая тишина, только кровь гудит сама изнутри...

– Кто это сделал? – наконец выдал из себя старик. – Неизвестно?

– Известно, – она уже просто всхлипывала, – бежавший из тюрьмы. Убийца... Его тут же поймали через два часа...

Старушка повалилась неловко. Он успел ее подхватить... – Скорее, дай нашатырь! – Молодая женщина, всхлипывая, торопливо отвинчивала крышку пузырька... Старушка вздохнула и открыла глаза...

– Я лягу, – тихо попросила она...

– Пошли, Ирочка, в сад, – сухо сказал старик после того, как пожилую женщину уложили, – там и поговорим.

Они поднялись и молча вышли из комнатки. Сад весь рябил бликами и зайчиками света. Оранжево вспыхивала паутинка на солнце, всюю пели птицы, и весело, как дети в саду, шумели отдохнувшие за ночь листочки...

– Когда похороны?

– Завтра, – она судорожно вздохнула.

– Мы приедем сегодня к вечеру, – старик, сощурился выгоревшие до белизны холодные старые глаза, смотрел в просвет между ветками, – А ты поезжай сейчас. Там есть кому помочь? Где... он сейчас?

– В морге, на экспертизе. Пришли его товарищи...

– Вот и хорошо. Они сделают, что надо... Да перестань плакать! – вдруг зло и резко произнес он. Молодая женщина вся подобралась и испуганно на него посмотрела.

– Прости, Ирочка, – устало сказал старик. – Алеша был единственным и последним близким у нас человеком...

Ресницы у нее взлетели и распахнули широко глаза. Казалось, хотела спросить: А я? и не спросила. Старик не смотрел на нее. Ветер раскачивал ветки, и, как топот коней, сыпались глухие удары падающих яблок.

* * *

– Отлично, – пергаментный человек, довольный, потер свои сухие руки. – Что сделали с рецидивистом?

– Его уже приговорили к высшей мере, и сегодня привели приговор в исполнение, – субъект напротив в кресле чуть пошевелился.

– Как вам удалось это устроить... – пергаментный человек замялся, намеренно сделав паузу...

– Мы знали, что тот собирался бежать. Немного помогли ему, и навели на Юдина. Сказали, что у него много денег...

– Слухи есть какие-нибудь?

– Пока никаких, кроме наших. Распространяем по плану.

– Продолжайте следить, и обо всем сообщайте мне лично. Понятно? Где бы я ни находился.

Субъект проворно вскочил и приготовился откланяться.

– Когда похороны?

– Сегодня.

– Последите. Будьте внимательны.

– Есть. Можно идти?

– Идите.

Проворно, как большой кузнечик, субъект скакнул в дверь. Пергаментный человек подождал несколько мгновений. Затем встал и вышел в соседнюю комнату через незаметную дверь в стене. Там его ждал тот, кому он должен был рассказать все и подробно.

Два кресла, полумрак и тяжесть... все тонуло здесь в этой комнате – слова, шаги и асми люди, казалось, растворялись, и только густая, плотная тишина, заполнявшая каждый кусочек пространства, становилась еще плотнее, напрягалась, как застывающая стекловидная темная масса...

– Отлично, – пергаментный человек снова, второй раз за последние полчаса потерял свои сухие руки, – Сегодня похороны. И цепь порвана!

Человек напротив чуть пошевелился в глубине кресла. Он сидел в тени, и сам казался тенью, только чернее других теней, еще гуще...

– Вы уверены, что с ними покончено теперь? – ровно и глухо спросил он.

– Уверен! – скрипнул голос, и улыбка-щель перерезала пергаментное лицо.

– А если нет? Если не в нем дело? Если вообще иная была у Него цель? Вы думали, что тогда?

Сухие руки яростно крутнулись одна в другой. Щель захлопнулась так резко, что отчетливо было слышно, как клацнули зубы... Так защелкивается замок в ловушке или капкане...

– Тогда только два выхода, – прошелестело возле сухого рта.

– Какие? – спросил голос в тени.

– Если они остаются, то... – он намеренно сделал паузу. – А если уходят, то пусть уходят...

– Но они вернутся! – густая тень шевельнулась резко и раздраженно.

– Тогда и посмотрим. Пока что цепь разорвана...

Тень в кресле молчала. Неожиданно оттуда снова донесся голос:

– Но почему все, как две тысячи лет назад? В чем смысл повторения? – и, не дав сказать пергаментному человеку, продолжил сам. – По вашей теории, религия, новые заветы – необходимы для развития общества. Внутренняя встряска. Пророк подкрепляется, как правило, чудесами и жертвой, и последующим чувством вины у народа. Нужно учитывать местную психологию. Например, Христа не могло быть, по вашему, в Индии. Там другая психология у людей, и религиозные жертвы в таком виде – не нужны... Все это мне ясно. Но скажите, почему до деталей все должно повторяться второй раз?

– Этого мы не знаем.

– Расскажите мне сами и коротко, как все было?

Все началось лет тридцать пять назад. Меня тогда, естественно, не было на этом посту. К нам вдруг обратились самые разные гадатели, прорицатели и особенно астрологи. Сначала их не приняли. Потом, на всякий случай, решили выслушать. Они сообщили, что расположение планет в созвездиях такое, что должен родиться великий Пророк, сродни Иисусу Христу. Предлагали назвать место рождения, и валом валили в этот пресловутый Н-ск. Когда их опросили, то они сообщили... Тогда шутки ради, мы запросили западных астрологов, и получили от них тот же самый "прогноз". Мы запросили несколько десятков человек. Каждый дал время и место. Время у всех было одним и тем же, а места – различались, но не намного. Когда нанесли все точки на карту, то почти все они упали вблизи Н-ска. Тогда, на всякий случай, и забеспокоились. Все, кто родился в тот год, тридцать три года назад, были взяты под наблюдение. Потом, постепенно, многие из них были освобождены от нашего глаза за явной недееспособностью. В пророки они не годились. И, по сути дела, осталось немного человек. Среди них особенно выделялись тринадцать, как по способностям, так и по странностям. А вот месяц назад они все оставили работу. Начались всякие видения у священнослужителей, и распространились слухи о втором пришествии. Естественно, мы должны были принять меры.

– Почему вы решили убрать Юдина?

– Жертва должна быть исполнена через Иуду. Он в свое время показал на него. В чем здесь смысл – трудно сказать. Во всяком случае, не тот, чтобы просто донести. Потому что Христа прекрасно знали, по сути дела, он и не скрывался. Видимо, важен был сам акт предательства в душе одного из близких... Зачем – мы не знаем. Так должно было случиться и сейчас. Фамилия Юдин созвучна с именем Иуды. Если, конечно, все стремится к тому же, что тогда.

– Если стремится... А если нет? И потом, в нашем случае Тринадцатый ведь так и остался вам неизвестен, в принципе?

– Да. Юдин, по замыслу, должен был донести...

– По чьему замыслу?

– Во всяком случае, мы решили разорвать цепь событий наименее безболезненно. Либо Юдин-Иудин и должен показать на Него, либо, по другой версии, он и есть Он. В любом варианте мы нарушаем ход событий.

– Но в чем, я спрашиваю, цель всех этих штук? Неужели надо так примитивно все повторять? Вновь, как пьесу, разыграть евангелие в Н-ске? Ведь это просто смешно! Или здесь кроется какой-то другой смысл?

Он замолчал, и тишина стала ощутимой. Она медленно стекленела и наливалась тяжестью и напряжением. Твердела. Казалось, стоит сделать движение, и что-то со звоном и хрустом лопнет, разлетится. Пергаментный человек застыл недвижно. Высокая черная тень неслышно поднялась из кресла напротив него. Белое мраморное лицо, казалось, па-

рило прямо в воздухе. Так же неслышно, как поднялась, темная фигура заскользила взад-вперед сквозь темное стекло – тишину.

– Когда его хоронят? – долетел голос из угла.

– Сегодня, – прошелестели сухие губы в ответ...

– Сегодня – Пасха, – глухо проговорила черная фигура в другом углу. – Христос Воскрес!

И снова повисла тишина. И тень застыла в одном из кресел. И ни один лучик солнца не проник в странную комнату, где все растворялось и теряло обличье...

* * *

День выдался на редкость ясный и теплый. Вчерашняя жара и духотища куда-то пропали под напором легкого и ласкового ветерка. Все радовало душу. И солнце казалось солнышком. И тучи или облака – тучками, облачками. Ко всему в этот радостный, солнечный денек хотелось приклеить что-то уменьшительное, умильное

Пасха. Христос Воскрес. Воистину Воскрес. И уже с утра розовели и наливались красным носы и весело поблескивали глаза... Позванивали колокола. Народ толпился празднично. И не потому, что верил во что-то. Нет. Просто день хороший, и, если Воскрес Христос, то тем более радостно... Галдела толпа. Последние новости и слухи так и шныряли от человека к человеку.

– Вчера ночью, слышали, Юдина зарезали...

– Кто? Кто зарезал?

– Да, говорят, бежал кто-то из тюрьмы. Ри...цидивист.

– Сегодня хоронят. Прямо в Пасху...

– День какой, а...

– Да, снова начались хулиганства. Позавчера парня избили, а девушку...

Трум-ту-туммм... Тара...ра...ра, – вдруг громко заиграл неподалеку похоронный оркестр...

– Несут, несут! Смотри, на плечах несут. Друзья или родственники?

– Тихо. Отойдите, отойдите...

Тара-ра-ра...раааа... Та-та-та-таааа...

Бухал по фанерному старенький барабан и одиноко, уныло рывкал бас. Трубы тоненько и залиvisto, толкая друг друга, подхватывали... И тихо подергиваясь на плечах шестерых парней, плыл тяжелый гроб с закрытой крышкой. Плыл мимо крестов и тихих могильных плит. И, казалось, самые ближние из них чинно, как прохожие, снимают шляпы и останавливаются на недолго. А дальние, те безразлично и спокойно идут мимо, убегают назад, не задерживаясь. Перезванивали колокола. И залиvisto, длинными трелями пели соловьи, соперничая в чистоте и красоте с такими же залиvistыми, но очень фальшивыми и неловкими трубами оркестра. – Тара-ра-ра-раааа... – голосила тонкая медь. Высоко в небе каркал черный ворон... Гроб плыл, покачиваясь, толчками. И медленно шаркали за ним подошвы, загребая кладбищенскую пыль.

Земля. В ней прямоугольная, ровно вырытая яма. И грубые пенько-

вые веревки в таких же грубых, заскорузлых руках могильщиков. Ловкие ребята. В три минуты аккуратно опустят тчжелый деревянный ящик на дно, и гулко, одеревенело отдастся в ушах звук первых, упавших на крышку гроба, комьев земли. Вот и все!

– Стой! Остановитесь! Открыть надо и проститься.

Медленно, дернувшись, гроб остановился. Люди сгрудились. Господи, как тихо! Даже птицы смолкли.

– Опускайте осторожно!

Гроб медленно опустили и поставили на тележку, случайно здесь оказавшуюся. Со скрипом отодралась крышка, прихваченная несколькими гвоздями. "Тише, осторожнее!.. Так... Снимай, снимай!.." Крышку прислонили к оградке ближайшей могилы.

Лицо покойника напоминало глиняную маску. Такое же твердое, холодное и совсем неживое... Так неестественно и дико для глаза выглядят манекены... И все протестует в живом при взгляде на глину, принявшую вдруг облик живого. На глину, которая в ярком солнечном свете – само отрицание жизни, насмешка над ней и... тайна. Страшная тайна неподвижности, сохранившей еще чей-то близкий облик...

Тихо. Ветер шевелит волосы у живых. Лепечут и, как тысячи зеленых стрекоз, летят, летят, не отрываясь от ветки, листья больших старых деревьев. Шумят задумчиво. И над глиняным лбом покойника ветерок перебирает уже ненужную никому прядь. Господи! Как тихо!

– Встань и иди домой! – отчетливо и повелительно прозвучали слова. И такими нелепыми они показались тем, кто их слышал, что никто не нашелся... Так бывает, когда после глубокой задумчивости ты вдруг очнешься и недоуменно смотришь на своего приятеля, не понимая еще смысла нелепой шутки...

– Встань и иди домой! – снова повелительно и отчетливо проговорил невысокий темноглазый человек. Он стоял совсем рядом с гробом. И откуда взялся? Вроде бы не видели его до того...

Толпа очнулась и зашумела. Что? Как? Гоните его, сумасшедший?! Разве можно так глупо шутить?! – голоса загудели. Кто-то протянул уже руку и схватил за плечо безумца над гробом...

Покойник сидел. Сидел, опираясь руками о стенки деревянного желтого ящика. Глиняное в разводах лицо манекена исчезло. Алексей сидел и смотрел. Смотрел прямо перед собой, видимо, плохо соображая, где он и что происходит... Потом медленно и как будто машинально выпростал он из простыни одну ногу, потом другую, и перебросил их через борт гроба... Глиняная застывшая кукла сама вылезала из желтого ящика и страшно глядела знакомыми глазами...

День, день... день-день перезванивали колокола... Оркестранты, видимо, не поняли причину заминки и решили, что надо играть. И снова взвыла старая медь... Тррумм...ту...ту...туууу... Тара-ра-рааааа... – озверело и тонко закричали трубы.

Алексей шел сквозь толпу. И люди расступались перед ним... Туру-ру-ру – хрипловато заголосил альтик... "Господи!" – выдохнул кто-то с

надрывом, и все очнулись, и побежали, ломая кресты и растапывая цветы на чужих могилках. Через несколько минут возле опустевшего гроба остался тот, кто сказал нелепые безумные слова и с ним еще одиннадцать человек. Да чуть поодаль, как червяк, ползал между могилками свихнувшийся, и время от времени бормотал: "Прах я, червь есмь, ха-ха-ха..." И еще теснее прижимался к жирной кладбищенской земле...

Разом, не сговариваясь, все одиннадцать опустились перед Ним на колени. А из дальнего конца аллеи уже бежали к ним темные фигуры... Карр, карр... каррр, – одиноко летел ворон в молочно-белом небе. Никто и не заметил, как все переменялось в погоде. Ясное и свежеголубое небо заволочла какая-то гадость и повисла пыльной кисеей, волочась по земле своим краем...

* * *

День в самом деле переменялся. Какая-то муть повисла и все заволочла. И душно, тяжело стало, давила эта пыльная кисея. Люди обливались потом и проклинали погоду и ее переменчивость... И уже катились тревожные слухи...

– Сосед, ты слышал, говорят, на кладбище сегодня...

– Встал и пошел!...

– Ты понимаешь, сначала сидел, а потом пошел...

– Я его знаю, моя дочка с ним училась в одном классе...

– Ну, а милиция или кто был рядом? Это же безобразие, что значит "пошел"!

– То и значит...

– Дурацкие шутки прикидываться мертвым...

– Да нет он и был мертвым... его зарезали вчера ночью.

– Зарезали? А как же он мог встать и пойти?!

– ?!

– Бросьте вы бабские сплетни разносить. Похоронили честь-честью и все тут... А просто на кладбище шпионов поймали, ну и все спутали.

– Откуда на кладбище шпионы?..

– Черт их знает. Их везде хватает!..

– Ну и погода, а с утра так хорошо было...

– Говорят, воскрес, только не Христос, а Юдин Алешка...

– Ха-ха-ха...

– Не к Воскресению погодка...

Действительно, висевшая от неба до земли тонкая, удушающая жаркая кисея, казалось, стала сгущаться и темнеть. Так бывает при солнечном солнечном затмении. Черная тень набегающая на яркий диск, и медленно он гаснет, и в тот миг, как совместятся тени, становится странно на земле, внизу. Ни день, ни ночь, какой-то дрожащий серебристо-серый свет с темными разводьями... Листья кажутся черными и обуглившимися... Птицы умолкают... И землистые, страшные лица у твоих близких, что вместе с тобой, застыв, глядят с непонятной тоской в сердце на чер-

ный диск вместо солнца...

Ни ветерка, ни шевеления... А серое, на много километров, из тончайшего пуха-пыли покрывало все жарче и плотнее укутывало землю... Затухали сами собой разговоры. Все почувствовали неожиданное томление, и быстро разбежались по домам темные фигурки. Все застыло. Только незаметно и неслышно все плотнее становилось вокруг... казалось, само небо спустилось на землю и накрыло ее плотно всеми облаками своими..

* * *

– Хватай их!

Первая из фигурок, бежавших по аллее, устремилась к темноглазому. – Хватай! Хва-а-а-а... – вдруг закричал человек в темном и повалился на землю, корчась, как корчатся от страшной боли в животе. А остальные просто остановились вдруг и застыли. Кто как бежал, так и застыл. Как в кино, будто остановили ленту, и замер кадр, а в нем всё: люди, птицы...

– Охо, ууу...ииии... – послышались странные звуки. Возле старой, неухоженной могилки неподалеку сидела на земле и тихо стонала молодая женщина.

– Ирина, – строго сказал темноглазый. – Иди к мужу своему. Он сейчас дома.

И, повинувшись его слову, она поднялась и пошла...

Все одиннадцать еще стояли на коленях.

– Встаньте!

Они встали и молча ждали. Темные фигуры застыли, как восковые статуи в самых причудливых, живописных позах. Корчившийся на земле – затих... В глубине аллеи, у входа, мелькнул кто-то и пропал...

* * *

– Алло, алло! Шеф! Беда! Беда! – надрывалась истерично трубка.

Пергаментный человек отодвинул ее от уха подальше, В затвердевшей стеклянной тишине истерическое дребезжанье маленькой мембраны напоминало жужжание мухи, что бьется в банке из очень толстого стекла...

– Спокойнее! – сухо, как твердым рашпилем, содрал он все эмоции кричавшего голоса. Тот стих, и через мгновение как подменили человека. Голос говорил быстро, но стал четким...

Слова отчетливо были слышны. Воскресил? Бледная, как тень, скользнула улыбка на мраморном лице. "Непонятная сила"? Бесстрастное пергаментное лицо совсем застыло. Трубка неподвижно покоилась в его руке... Наконец, голос стих. Тогда пергаментный человек спокойно приказал:

– Выполняйте последнюю часть программы! – и опустил руку.

Тень в кресле шевельнулась:

– В чем состоит эта последняя часть? – спросил ровный голос.

– Просто уничтожим их, и все. Против пули гипноз бесполезен, – и неожиданно сорвавшись, добавил сухо и зло: – прав, наверное, Пиявка... Не надо было с ними церемониться!

– Дурак, – донеслось отчетливо из кресла. – Тебе только кажется, что ты можешь что-то сделать таким, как Он. Грех Христа потому так велик, что распятие Его – самоубийство. Он позволил Сам убить Себя, и тем совершил бесконечный грех и прикрыл им надолго все наши. А сейчас? Откуда у тебя такая уверенность, что снова не повторится то, что уже однажды случилось...

– Но что нам делать? – пергаментный человек снова был бесстрастен и сух. – Наше общество стабильно и возмущений нам не надо. Зачем Он пришел снова?

– Постой, там что-то не так!

Высокая фигура поднялась из кресла и мягко скользнула к окну. Взлетел тяжелый занавес. Серо-серебристый свет полился в комнату.

– Ого! Какая ужасная погода!..

– Если это не повторение, то что?

– Погляди, что там творится, – мрачная черная фигура у окна качнулась. За окном наливался тяжело и гадостно мрак...

– Во всяком случае что-то мы должны были делать? – пергаментный человек по-прежнему смотрел в окно и, видимо, мучительно о чем-то думал. Желтый сухой лоб перерезало сразу несколько острых складок.

– Поздно что-либо делать!

Пергаментный человек быть может в первый раз в жизни вздрогнул. Слишком необычным показался ему голос от окна. Он быстро поднял глаза. Две серые тусклые тряпочки глянули на мраморное лицо говорившего, потом торопливо он перевел взгляд на окно... Шель перерезала его жесткое сухое лицо. Это от захватившего дух ужаса, как крышка от коробки, отвалилась челюсть...

Серая, тягостная муть раскололась посередине. В бездонной, ясной глубине парило гигантское лицо. Казалось, непереносимые лучи яростно струились из глаз его...

– Поздно! – мраморное лицо было спокойно. Только твердые щеки покрывались как будто белой пудрой. Так от нестерпимого жара обугливается гладкий камень. И давно ослепли и выгорели глаза его, а он все смотрел и смотрел, покрываясь слоем белой горячей пыли...

– Теперь понятно, зачем Он приходил, – прошептал пергаментный человек, медленно пятась к двери от страшного окна. – Последний раз проверить, а может, и... спасти... Перед...

Страшные лучи из далеких глаз настигли его и прожгли насквозь... Как страницы старой книги в огне, пергаментный человек быстро съежился... Что-то потрескивало... Последний раз у деревянной куклы качнулась сухая рука...

И затрубил первый Ангел.

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

ПОЭМА БЕЗ ПРЕДМЕТА

Песня Первая

1

Когда, над Городом Чудесным (1)
зарозовев, пришла заря
пощекотать лучом воскресным
мозаику календаря,
я не гадал о катастрофе,
но выслушал, смакуя кофе,
как Муза, оседлав карниз,
сердито прошипела вниз:
"За ум берись, бросай лениться:
талантик напрягая свой,
пиши онегинской строфой –
пора у Пушкина учиться.
Буржуй, враждебен ты труду
и пишешь только ерунду."

2

Да, я поэт, а не начетчик,
мне стыдно и почти смешно,
что столько выложенных строчек
напрасно переведено.
Я не слуга, не переводчик,
пишу для маменькиных дочек
(тут Муза прервала: – "Поэт,
не смей сбиваться на сонет!").
Спасибо Музе за поправку:
неисправимый формалист,
послушен я и сердцем чист –
пасусь, пощипывая травку,
и даже злейшего врага
не поднимаю на рога.

3

Итак, румяная Аврора
 резвится на календаре,
 и делового разговора
 добилась Муза на заре.
 Ах, если б Геба или Флора,
 Светлана, Сольвейг, Миловзора
 пришла, – я видеть был бы рад
тригин (2), а не триумвират.
 А все же признаюсь: милее
 мне Флоры творческая мощь –
 произрастительница рош
 и вязов стриженных в аллее,
 она, январским назло льдам,
 несет фиалки к поездам.

4

Я выдумал в тиши полночной
 и милой Флоре посвятил
 журнал древесный и цветочный
 (заткнись, московский "Крокодил"!).

Всех несогласных перетопав,
 издатель – Флор (3) Гелиотропов,
 решил: редактор – Соснина
 (Гелиотропова жена),
 корректор – даром, что рассеян,
 свояк издателя, Дубков.
 Пусть пишет о кружках Цветков,
 о книгах – Иакинф (4) Лилеин,
 Березов (5) – притчи от сохи,
 Нарциссов (6) – к праздникам стихи.

5

"Еще того недоставало! –
 сказала Муза, – ведь, увы,
 нет денег даже для начала,
 так выбрось дурь из головы."
 Не пахнет в воздухе попойкой,
 Гелиотропов не за стойкой,
 гнусит, сердитая со сна,
 полнеющая Соснина,
 Лилеин, гиацинт белесый (7),
 прядовитый рецензент
 (стер Солженицына в момент),
 скучает над бездарной пьесой,
 а я – ведь я необходим –
 оставляю прежний псевдоним.

6

Псалом я слышу погребальный:
 седой Харон тебя умчал,
 мой дриадачески-флоральный
 акмеистический журнал.
 Как Обухов (8), зеркально-чистым
 и я родился акмеистом,
 вел обстоятельный рассказ,
 читательских отраду глаз,
 подробностей не опуская,
 не уклоняясь в чепуху,
 чтоб оказалась наверху
 "акмэ" (есть выдумка такая)
 и пирамида острием
 торчала в чертеже моем.

7

Отход наметился не сразу:
 не в детстве, а на склоне лет
 я научился недосказу,
 искусству вкапываться в бред.
 Давно ли, смыслом обольщенный,
 я блин бранил недопеченный,
 предупреждал, что ни один
 такой не скушается блин,
 что у читателей отрыжку
 снедь кислая произведет,
 что Гуль с досады отойдет,
 и вслед Можайская вприпрыжку,
 теперь же пью за недосказ,
 а рифму я давно припас.

8

И это тем еще удобно
 (о, Смеляков, мотай на ус),
 что трудно изложить подробно
 бред и побряхтыванье муз:
 в грамматике средневековой
 партийный цензор бестолковый
 запретов явных не найдя,
 домой помчится — до дождя,
 и наскоро, чтоб отвязаться
 и к ужину не опоздать,
 напишет "Принято в печать"
 (затем, что не к чему придраться).
 Смелей, несмелый Смеляков:
 не бойся непонятных слов!

9

Поэт лукавый, что же это?
 Вишняк (9) с шампанскою игрой?
 Сие – Поэма без предмета.
 А где герой? – Я сам герой!
 А впрочем, лабиринт устроив,
 я много ввел других героев:
 Гелиотропов, Соснина
 (Гелиотропова жена),
 Лилеин (тучен, бело-розов),
 Травин, Черемухин, Дубков
 (не выносящий сквозняков),
 Светлана, Смеляков, Березов.
 А где предмет? Предмета нет:
 ведь беспредметность – не предмет.

10

Герой – условие поэмы,
 и это первый крупный шаг,
 чтоб, колеся без важной темы,
 зигзагом выправлять зигзаг.
 Но соблюду прием условный,
 не обойдусь без родословной
 и поищу в семье моей
 хотя б ногайцев, но князей.
 Почту заветы постоянства:
 таков издревле был девиз
 катившегося вниз и вниз
 провинциального дворянства:
 упрямый Лепельский уезд
 держал за Польшу меч и крест.

11

Так, Беларусь – моя отчизна,
 владенья предков с давних пор:
 Иванов След, Стельмаховщизна,
 Журавна, Волча, Летний Бор,
 Ушача, Лютово, Поринки,
 где жить и жить бы по старинке
 на стыке двух недружных вер!
 Так жил оршанский землемер,
 так жил его племянник светский:
 "позывы" в суд он развозил,
 и этот подвиг оценил
 король Михайло Вишневецкий:
 "Пусть возного за труд святой
 минует воинский постой."

12

От реквизиций и постоев
 нам не защита сам король.
 Помещика не удостоив
 приветствия, вошедший в роль
 любой саврас, лихой поручик
 щипал украдкой барских внучек
 (к чему толкал его Амур),
 брал топливо и резал кур.
 Беда другая шла от деток:
 рождались больше сыновья,
 и обедневшая семья
 распалась на десяток веток.
 Был климат лепельский неплох,
 а мальчиков дает нам Бог.

13

Мы в городе привычки гасим,
 и скоро отчий дом забыт!
 Но мой прапрадед, пан Герасим (10),
 хранил степенный барский быт.
 О нем я знаю слишком мало,
 а все-таки – с него начало
 поэмы жалобной моей.
 Троих имел он сыновей:
 Антона, Франца, Казимира,
 из коих нужен мне второй –
 мой прадед и почти герой.
 Греми, застенчивая лира,
 иль сам я, струнами бренча,
 спую о подвиге врача,

14

Я в подтверждение преданьям
 храню прадедовский диплом
 с его жестоким обещаньем,
 с его пергаментным телом.
 От Киевского факультета
 ему дана "бумага" эта
 весной, в пятидесятый год,
 но нам важнее оборот,
 где лекарь обещал безмездно
 необеспеченных больных
 лечить – и умереть за них,
 коль будет им сие полезно.
 А нынче наши доктора
 себе, не нам, хотят добра.

15

Горнорабочих завалила
 земля, — глухой подземный взрыв,
 и в шахту помощь поспешила,
 в жерло лазейку приоткрыв.
 Мой прадед Франц туда спустился,
 но взрыв ужасный повторился,
 засыпал мертвых молодцов
 десятком новых мертвецов.
 Так умер мой достойный прадед.
 А нынче: — Лягте на софу,
 пока он роется в шкафу.
 Затем он к вам прибор приладит.
 Глядишь — часок и протечет,
 а время — деньги, деньги — счет.

16

Его жена Елизавета (11),
 теперь несчастная вдова,
 ушла от обольщений света
 в заботы горькие вдовства:
 не потерялась иноземка,
 ганOVERская эта немка.
 Лишь дом пустой остался ей,
 да двое маленьких детей:
 Эразм и крошка Теофила.
 Документально доказав
 дворянство их — источник прав,
 в ученье их определила.
 А нынче отпрыскам дворян
 в дворянстве видится изъян.

17

Как часто в жестком Новом Свете
 я слышу дружеский совет:
 оставив предрассудки эти,
 договориться с духом лет: —
 "Твои геральдика и предки —
 помеха, прутья ветхой клетки,
 где добровольно ты сидишь.
 На мир ты даже не глядишь,
 мечтателем и простофилей
 хандрить, угрюмый арлекин,
 упрямый плакальщик руин
 давно разрушенных Бастилий.
 Спасли когда-то гуси Рим,
 но их потомков мы едим!"

18

Теперь мы знаем: несвобода
 лишений не больше иных,
 но все же не забудем года
 освобожденья крепостных.
 Год упоительного бреда
 был годом и рожденья деда,
 который в том же феврале
 впервые пискнул на земле,
 а после, инженер-строитель,
 служил по всем концам страны,
 служа, накапливал чины
 и, как сибирский просветитель,
 был, набожный католик, он
 нагрудным знаком награжден.

19

Далёкое мы видим малым,
 а то, что под носом – большим:
 подпрапорщика – генералом,
 когда имеем дело с ним.
 Но случай вовсе непонятный –
 грех аберрации обратной:
 что близко – червячок в пыли,
 а бегемот – всегда вдали.
 Не потому ли Евтушенко,
 ничтожный графоман, болтун,
 крикун, подрывник, пакостун,
 с г---- снимаемая пенка,
 натужно пыжащийся гном,
 воображается слоном?

20

Я вижу сонным Лепель сонный,
 Монблан высоким я зову
 и, к аберрации не склонный,
 я снов не вижу наяву.
 По выбору властей и рока,
 от Карса до Владивостока,
 по крайней мере, сорок лет
 строителем служил мой дед.
 Назначенный на север хмурый,
 он, крепким вверившись саням,
 знакомился по деревням
 с церковною архитектурой:
 открытки с видами церквей
 теперь в коллекции моей.

21

В кругу детей, в завидном мире,
 пока не грянула напасть,
 живал он в Северной Пальмире
 (та Спасской прозывалась часть).
 Быть может, и припомнит некто
 Обуховского ширь проспекта,
 где жил он в номере седьмом
 с Невой державной под окном
 и где, младенец годовалый,
 недолго погостил и я.
 Но очень скоро мать моя
 назад пустилась в путь немалый:
 в Сибирь, испугана войной,
 с кульками, с няней и со мной.

22

Сибирь была тогда богата
 (и как о прошлом не вздохнуть?).
 Отец мой, Франц-Эразм, когда-то
 кругобайкальский строил путь.
 В Иркутске, за год до великой
 войны, я в мир ниспослан дикий
 и, если б не стряслась беда,
 не выпадал бы из гнезда:
 ведь нам казалось в годы эти,
 что мне широкий путь открыт,
 что изучал бы я санскрит
 в Московском университете
 и труд писал бы в тишине
 о Грече или Княжнине.

23

Меж тем к России и (12) Европе
 приложен мощный был рычаг,
 и понеслись в калейдоскопе
 Сибирь, союзники, Колчак, —
 взвились разбуженные мухи.
 Плеть голодовки и разрухи
 хлестнула больно и по мне:
 я оказался в Харбине.
 Чита кеты и сахарина
 исчезла в дымке без следа:
 с тех пор я больше никогда
 не видел банки керосина,
 ковров за хлеб не отдавал
 и валенок не надевал.

24

Когда бы вырос я в Париже, –
 изрек литературовед, –
 я был бы и к Парнасу ближе,
 куда иной дороги нет,
 как только через воскресенья
 у Мережковских. Путь спасенья,
 от колыбели до вершин,
 для всех и каждого один.
 Ах, эти сэндвичи, сосиски
 и общая мечта гостей:
 зады "Последних Новостей"
 и "Современные Записки",
 где, может быть, в неровный час
 в поэты выведут и нас!

25

В Париже группировки, кланы,
 литературные кружки:
 подружки млеют и дружки,
 взаимным восхищеньем пьяны.
 Там видятся большие планы,
 там анемичные стишки
 о счастье, остром до тоски,
 превознесут терапианы.
 Там не запьешь, на захандришь:
 рукой Бакуниной телесной (13)
 от сплина вылечит Париж.
 Преславный город, рай небесный,
 зачем не ты открылся мне?
 Увы, я вырос в Харбине.

26

– "Сонет?" – раздался окрик Музы
 (признаться, я забыл о ней), –
 "ужели до такой обузы
 я дожила на склоне дней?
 Ты стряпаешь сонеты ловко:
 чиста, естественна рифмовка,
 но весь испортил ты урок:
 две рифмочки на восемь строк!
 Я труд оставляю бесполезный:
 ведь ты и сам почти старик,
 а не бездельник-ученик,
 чтоб бить тебя лозой железной.
 Теперь же взятки гладки. Стоп.
 В сонете нужно больше стоп.

27

Стихами Тюриной, о Музо! –
 казни меня, всего облей
 (Иваск на рифму тащит "пузо":
 его, пожалуй, пожалей!).
 Ты приходила то сиделкой,
 то старомодной богаделкой,
 то неотвязною женой
 ходила по пятам за мной.
 А я... Влекли меня бульвары,
 заманивала толкотня,
 и двигались вокруг меня
 как будто склеенные пары.
 Но ты ворчала: – "Черта с два!
 Ступай писать. Я дам слова."

28

Не силачем-единоборцем,
 на бой зовущим целый свет,
 я вышел в поле стихотворцем
 едва четырнадцати лет.
 Страничка бойкая "Юнчита" (14)
 была отменно знаменита,
 но я, чтоб избежать похвал,
 стихи по почте посылал.
 Иначе с первых же мгновений,
 а не к закрытью, не к концу,
 я встретил бы лицом к лицу
 ее редактора: Арсений
 Несмелов пылко был любим
 незнатным городом моим.

29

В Писаньи сказано: – "Стучите,
 и вскоре распахнется дверь!"
 Иначе я в моем Юнчите
 корпел бы, верно, и теперь.
 Однажды мне сказала мама:
 – "Пора взглянуть на вещи прямо:
 ты, как поэт, умен и свеж,
 так отнеси стихи в "Рубеж" (15)".
 – "Рубеж"? – Я застонал со страху:
 там сера, жупел и смола,
 там пленника сожгут дотла
 и пепел выбросят на плаху,
 там на зубчатом колесе
 подростки погибают все!

30

Ну, словом, не пойду, и дудки:
я не сошел еще с ума!
Но мама – не в своем рассудке? –
решила: – "Я пойду сама."
И точно: взяв стихи попроще
(о лете, о кленовой роще,
но там же был и "Вечный Рим"),
ушла с сокровищем моим.
А я прилег с какой-то книжкой,
молился Богу и судьбе,
но было мне не по себе
(я робким был тогда мальчишкой,
теперь же колкий я и злой –
забыл о скромности былой.

31

А с маминым приходом милым
узнал я, что она уже
беседовала с Михаилом
Сергеевичем (16) в "Рубеже".
Приветливый, простой, веселый,
он сразу лед разбил тяжелый,
стихи прочел и перечел
и прямо к делу перешел:
к подыскиванию псевдонима.
Они подумали вдвоем
о новом имени моем
без декламаторства и грима (17).
С тех пор – признаться не стыжусь –
Я Перелешиним зовусь.

32

Поэт, не избегай усилий,
продумывая псевдоним:
так учит Розанов Василий,
и, право, я согласен с ним.
Пусть не изящен ты, а грузен,
но если ты Кастаньский, Музин,
хотя бы Пегасевич – верь,
отворится покорно дверь
туда, где роза не завянет,
где хор литературных дев,
от восхищенья разомлев,
тебе тройное "Salve" грянет...
А если ты, вдобавок, бас,
пройдешь в поэты в тот же час.

33

Играй козырным псевдонимом:
 давно заметил суевер,
 что ни один не стал любимым
 поэт, клейменный буквой "р".
 Сподобились похвал и кликов
 Полонский, Анненский, Языков,
 Есенин, Пушкин, Гумилев,
 Блок, Адамович, Соловьев.
 У Лермонтова "р" негрубым
 является в соседстве с "л",
 Тетерников от "р" успел
 удрать, назвавшись Сологубом,
 а я и рык, и шип люблю:
 я их с Державиным делю.

34

Итак, я – баловень "рубежный":
 отныне слава не замрет,
 пока меня редактор нежный
 толкает бережно вперед.
 Страницей начал я двадцатой,
 недолго посидел на пятой,
 но не было моей судьбой
 почить хотя бы на второй.
 Оберегаемый Минервой,
 я продвигался напролом
 и, как павлин, кичась хвостом,
 заважничал вверху на первой:
 дородной птице веселей
 среди настурций и стеблей (18).

35

Домашние советы, моды,
 карикатуры – позади:
 о, горделивый дух свободы,
 дыханье вольное в груди!
 Казалось, юный Перелешин
 улыбкой Музы был утешен:
 старушка-Муза в те года
 была резва и молода.
 И все-таки его тянула
 (меня – его – его – меня)
 шумиха, давка, толкотня
 литературного аула,
 его манили чары зол,
 и я в Чураевку пошел.

36

Давно я подружился с домом
 харбинского Х.С.М.Л. :
 одиннадцатилетним гномом
 я там за партою сидел.
 Гимназия. Библиотека.
 Жюль Верн. Стихи начала века,
 немало вещей ерунды,
 но там же "Камень" и "Сады".
 Секретарем Ха-Эс-Эм-Эла
 был Грызов, он же Ачаир,
 чья слава – выше, чем Памир,
 по стогнам города гремела.
 Он на рояле подбирал
 мелодии и их играл (19).

37

Приятно музыка играла
 про "топоток" и "стукоток",
 про девственную мощь Урала
 и тягу дедов на восток.
 Мы вслед за колдовским роялем
 влеклись по незнакомым далям,
 то ратным двигались полком,
 то утопали с Ермаком.
 То к полумесяцам татарским
 нас эта музыка несла:
 рвалось "ла-илла-иль-алла"
 наперерез дружинам царским,
 и под раскольничьи псалмы
 на Гималаи лезли мы.

38

Я, будущий поэт российский,
 там изучил в короткий срок
 мирок харбинско-олимпийский,
 тепличный, маленький мирок.
 Во дни чураевских парадов
 не слушал тошных я докладов,
 но за стихи – зоил, не тронь! –
 бросался в воду и огонь.
 Вот Шеголев, сухой и едкий,
 Вот Гранин томный, вот Сергин –
 красивый пустельга один,
 другой – взволнованный и меткий.
 А чарам наших юных дам
 я строфы целые отдам.

39

Дано грузинкам среброкудрым
 достоинство императриц:
 как часто перед взором мудрым
 я раболепно падал ниц!
 Хаиндрову черноволосой
 застал я – стройной, востроносой,
 великолепно-молодой
 (не родилась она седой).
 В дали екатеринодарской
 она живет, но иногда
 оттуда падает звезда
 ко мне на стол – подарок царский!
 И, скинув три десятка лет,
 я жадно ей строчу ответ.

40

Другая – Андерсен Лариса:
 большие лунные глаза (20),
 танцовщица, поэт, актриса
 (в душе не видно ни аза).
 Шанхай, Сайгон, потом Таити:
 но вы, читатели, следите
 по хроникам больших газет
 за ходом царственных планет.
 Она смуглее девы Савской
 и вдвое, думаю, умней:
 о, как мы бегали за ней,
 за Сольвейг, девой скандинавской!
 Она со многими на "ты",
 но милы ей одни коты.

41

О, девушки, о, дамы наши,
 снов и свиданий благодать!
 О Резниковой – о Наташе –
 я не могу не рассказать.
 Ее уютная квартира
 была лучем иного мiра,
 и я вошел туда, дрожа –
 в обитель нимфы "Рубежа"!
 Как часто в милом доме этом
 порхал беспечный разговор,
 и кочевал небрежный взор
 по многочисленным портретам,
 и книги гладила рука,
 переплетенные в шелка.

42

Среди портретов были иксы,
но жались также по стенам
Инсарова и Кукрыниксы,
Шаляпин, приехавший к нам.
(Чуть было не сказал "по стЕнам",
но удареньям неизменным
ни разу я не изменил,
"по вОдам" тоже не ходил).
Теперь, художник Верещагин,
спасай мой утлый тарантас:
без рифмы я в недобрый час
остался бы... Итак, Елагин (21),
поэт, в котором чуто царя,
на ударенья несмотря.

43

Он, мудрый, преуспел в науке
с путей заезженных бежать
и в ярком образе и звуке
волненья мiра отражать.
Вневременность и современность,
изменчивость и неизменность
столкнулись, гневно подрались,
и мы, надувшись, разбрелись.
Так в колриджевой "Кристебели",
что, падкий до чужих обнов,
стянул Георгий Иванов (22),
друзьями были с колыбели,
живя под шелест общих тайн,
сэр Роланд и сэр Леолайн.

44

Быть может, языки людские
нас раздружили навсегда,
иль просто сами мы такие,
что нас тревожит ерунда?
По незначительным вопросам
брюзжим и брызжем купоросом:
что лучше: "ферт" или "фита",
"у мОста" или "у мостА"?
Вперед, вперед, моя повозка!
("Исторья" – Пушкин обронил,
а Струве "радьо" притащил
в паноптикум фигур из воска:
слов-дикобразов, слов-скопцов,
слов-кактусов, слов-мертвецов).

45

Всех уголков гостеприимней
 в Х.С.М.Л. тогда слыла
 учительская. Стужи зимней
 мы, раскалившись добела,
 не замечали. Облаками
 табачный дым ходил над нами,
 и в гуле звонких голосов
 терялся бой стенных часов.
 Пока прочитывалась проза,
 которой не блистал Харбин,
 мы стыли, но быстрее льдин,
 внесенных в кузницу с мороза,
 оттаивали: добрый грог –
 рифмованных струенье строк.

46

В программе числились обычной
 рыканье львов и смех гиен,
 и Петерец острозычный,
 и беспощадный Лапикен (23).
 Со скукою вполне приличной
 Слободчиков (24) дипломатичный
 умел не выдать ничего
 и спрятать злое торжество.
 В терминологии условной
 мы панцырь обретали свой:
 "напевным" звали звон пустой,
 "свободным" звали слог неровный,
 а "искренность" иных стихов
 считалась хуже всех грехов.

47

Последнюю прочел я Вьюгу (25),
 чтоб отработать "партбилет",
 и гром загрохотал по кругу
 на целый дом, на целый свет!
 Разверзлись пушечные зевы: –
 "Апухтинские перепевы!" –
 "Нет, я скажу вам напрямик:
 он – надсоновский ученик!" –
 "Ратгауз, Фофанов и Брюсов –
 вот Перелешина отцы!" –
 Остались навсегда рубцы
 от этих яростных укусов.
 На брань я бранью отвечал,
 но на полгода замолчал.

48

Мне не пилося тогда, не слось
и не влюблялось. Без похвал
и жить не очень-то хотелось,
но я в Чураевке бывал.
Читал я много, жадно, скоро
поэтов новых без разбора
и что к рукам не мог прибрать,
любовно списывал в тетрадь.
Рукописаньем бережливым
тетрадь заветная цвела,
и для меня она была
библиотекой и архивом:
глотала целые тома
ее линованная тьма.

49

К евлогианцам, к софианцам
Х.С.М.Л. благоволил,
а нас лишь языкам да танцам,
да воллей-боллу он учил.
Цвели Бердяев и Булгаков,
но, их неистовства оплакав,
в Белграде беженский Синод
пугался зыблемых темнот.
Кирилл Иосифович Зайцев,
что нынче авва Константин,
от ереси бежал в Харбин
и отсиделся у китайцев
от пагубных растленных книг,
от еретических интриг.

50

Но мы не всё договорили
о незабвенном Харбине,
так позабудем о Кирилле,
что вовсе и не трудно мне.
Кого, кого не заносила
в Харбин неведомая сила –
к его ветрам, к его снегам
и к сунгарийским берегам?
Гостил у нас поэт Скиталец:
на звучных гусях он играл
и безмятежно распевал
о мощи праславянских палиц,
о подвигах богатырей,
о вольных витязях морей.

51

Среди событий жизни светской
и вечной ярмарки невест
запомнил я принцессы шведской (26)
благовоспитанный приезд,
почтительность холодной встречи
и нескончаемые речи:
просторный зал Х.С.М.Л.
рукоплесканьями гремел,
а недоспавшая принцесса
и муж, лысеющий плебей,
хотели только, чтоб скорей
закончилась дурная пьеса,
позевывали от тоски
и молча ели пирожки.

52

Другая быль не позабыта:
сквозь толщу времени сквозит
японского митрополита,
владыки Сергия визит,
седго, тучного, больного –
его приветственное слово
о том, что Бог сильнее зла,
кадило, митра, исполла,
сверканье пузырей словесных.
А старец – или он устал,
или в грядущем прочитал
крюки напевов неизвестных:
его избранье тяжело
на плечи отрока легло.

53

Невольным рукоположеньем
меня он Богу посвятил,
а я ни вздохом, ни движеньем
его покоя не смутил.
Тяжелая, давя и грея,
легла рука архиерея,
как будто, выведя за круг,
мне архипастырь вверил плуг.
О, горе мне! Осколки сердца,
не вытерпевшего вериг,
сменил я на соблазны книг,
на ложь и маску иноверца,
на пестрое мельканье зол,
на свой немудрый произвол.

54

И вот, я плачу о потерях,
 о горестной моей судьбе...:
 Всему виной – художник Рерих,
 художник, в общем, "так себе".
 Сначала валенки, старушки,
 избушки, паперти, клетушки,
 а дальше – властен и суров
 (чем глубже в лес, тем меньше дров),
 он изменил мощам воспетым,
 холодной северной луне,
 монастырям и старине,
 и занялся автопортретом,
 по-настоящему любя
 на свете одного себя.

55

И вот... Но я такого вздора
 дотоль не слышал никогда:
 шли от Мадраса до Лоб-нора
 через Камчатку поезда!
 Итак, отбросьте удивленье:
 Камчатка – пастбище оленье,
 гиперборей меж серых льдин,
 но по дороге есть Харбин,
 куда, согрет собачьим мехом,
 шаман и жирные сынки
 свалились – явно вопреки
 географическим помехам –
 и въехали в разъятый круг
 протянутых навстречу рук.

56

Помилуй, Боже триединый!
 На выставку пришел и я,
 и долго пред одной картиной
 промучилась душа моя:
 сам Рерих на площадке горной,
 а ниже Спас Нерукотворный –
 морщины, слезы и венок –
 простерт у рериховых ног.
Такое каждый бы заметил!
 Теснясь у странного столпа,
 разгадки жаждала толпа.
 Спросили. Рерих не ответил:
 за дерзостное **quis pro quo**
 поколотили бы его.

57

Отступники сегодня в моде,
одеты в бархат и парчу,
но я об этом эпизоде
и не молчал, и не молчу.
Я не дьячок, не сын поповский,
но самозванке теософской
войну давно я объявил,
смеялся вволю и язвил:
о Белом Братстве психопатов
пишу и правды не таю,
за что на голову мою
помои льются из ушатов,
но, ливнем не смущенный гусь,
от них я резво отряхнусь!

58

Вращался круг недель безбурный,
и с ним вращался без чудес
и мой герой литературный.
Лишь изредка наперерез
его телесности гончарной
врывался ангел светозарный,
копьем раскалывая мрак.
Воскликнул ангел: – "Вы мой враг!" –
И вновь загрохотали громы,
зардели молнии из глаз:
– "Я не прощу до смерти вас"
(тогда мы не были знакомы) –
"и мы еще поговорим
о вашей бомбе *Вечный Рим!*"

59

"Я Колосова Марианна (29),
я беженка, но я борюсь
за полноту Господня плана,
за вечную святую Русь!
Зачем же вы сказать посмели,
что русские осатанели,
что сорваны колокола,
что благодать от нас ушла?
Россия, верьте, встрепенется
и станет выше и сильней:
от обесчещенных церквей
гул колокольный понесется,
и склонятся у алтаря
убийцы русского царя!"

60

Тогда с улыбкой терпеливой
я поэтессе разъяснил,
что пыл ее благочестивый
по-своему мне даже мил,
что нация — союз духовный
вне принадлежности церковной,
что все, кто матери верны —
ее достойные сыны:
католики и лютеране,
приверженцы седьмого дня —
все русские, и всем родня
евреи и магометане.
Равно перед Россией чист
и православный, и буддист.

61

Сестра моя, из лучшей стали
грудь отлита твоя была!
Врагами, к счастью, мы не стали:
меня к себе ты позвала.
Твой дом узнал я по деревьям,
и там, в уюте стародевьем,
беседы зажурчал ручей:
в неярком золоте лучей,
даримых заходящим солнцем,
мы пели — дружно, в унисон —
что наш осуществится сон
в отместку хищникам японцам (28),
сулящим азиатский рай,
но раздирающим Китай.

62

Средь нашей серости житейской
был, как тропический цветок,
приезд помещицы корейской (29)
в наш полусонный городок.
В мужской одежде, коренаста,
она; раскоса и скуласта,
нимало не страшась хулы,
садилась только на столы,
мирок шокировала чинный,
благоухала табаком,
превозносилась мундштуком —
трубой полутора-аршинной,
и даже после стольких лет
я не забыл ее бесед!

63

– "В тот раз мы за полночь сидели.
 Костер погас, но угольки
 еще под чайниками тлели,
 и вдруг – зеленые зрачки!
 При мне всегда моя винтовка.
 Я встала. Выстрелила ловко
 (спаси, Кванон, и помоги!),
 и пал свирепый царь тайги.
 Теперь под завыванья бури
 так хоршо моей душе,
 когда я в тесном шалаше
 лежу на этой первой шкуре,
 заснуть подолгу не могу,
 курю и слушаю тайгу!

64

Ни денег не ищу, ни славы,
 в театре не хочу играть.
 Люблю лекарственные травы
 в глухом распадке собирать.
 Люблю заросшие тропинки,
 опасности и поединки,
 когда приходят на дымок
 медведи из парных берлог.
 А здесь – заходит ум за разум,
 сбивает с толку толкотня." –
 Признаться, не влекло меня
 к ее охотничьим рассказам:
 мне страшен был хваленый плен
 без милых муз и без письмен.

65

Однажды в уголке студийном
 (в учительской, что наверху)
 взревела бедствием стихийным
 большая дама на меху.
 Ввалилась. Назвалась Донбровской (30).
 На горе не было Янковской,
 чтоб отпугнуть ее ружьем.
 Что ж? Мы учтиво привстаем.
 Она – писательница тоже
 и в муфте принесла рассказ,
 которым осчастливит нас
 (о, Боже, милостивый Боже!).
 Уселась бурно и прочла
 про беспримерные дела.

66

Разбойник юношу уносит,
 веревками скрутив его:
 напрасно сострадания просит
 безвиннейшее существо.
 Уносит в дальнюю пещеру.
 Примите также вы на веру,
 что были гордостью скита
 ковры, подушки и тахта.
 А по стенам кругом висели
 полотна знатных мастеров:
 Веласкес, Рубенс, Васнецов,
 Ван-Дейк и томные постели,
 а около тахты лежал
 в Дамаске кованный кинжал.

67

– "Я с жизнью не готов расстаться", –
 лепечет юноша в цвету,
 но начинает раздеваться
 разбойник, севший на тахту.
 Напрасно юноша трепещет,
 кинжал в глаза напрасно блещет:
 является нагой злодей,
 дразня округлостью груди!" –
 Тут кто-то крикнул не по чину:
 – "Пусть женщина сильна, грузна,
 не может все-таки она
 связать и унести мужчину!" –
 "Не может? Умственная тьма!
 Разбойник – это я сама!"

68

Прошло, мне помнится, полгода
 со дня расправы надо мной,
 и вот уже царила мода
 на Андерсен: о ней одной
 писали все. Играя нами,
 арктическими именами
 сверкала, как алмаз, она,
 Дагмар, варяжская княжна.
 Забыв дикий и трикий
 и сумрачный иконостас,
 и я во славу синих глаз
 измыслил нечто про валкирий
 и снежный набросал пейзаж,
 обкусывая карандаш.

69

Поэт, я мыслил, многогранен,
и взятка моде — не порок.
Любезно согласился Гранин
вручить Ларисе мой венок:
ведь сам я злую укоризну
и преждевременную тризну
(я — Надсон, Фофанов и Фет)
запомнил на десяток лет.
Добившись на одно мгновенье
неполномерной тишины,
он объявил: — "Со стороны
нам прислано стихотворенье
от неизвестного. Оно
сейчас вам будет прочтено."

70

Качая львиной головою,
растаяла в волнах ладя,
и, втайне гордый сам собою,
стихотворенье слушал я.
Там бились буруны о скалы,
искали викинги Валгаллы
за глыбами плавучих льдов
и вспоминали нежных вдов.
• Туш. Серпантин. Гирлянды. Ленты.
— "Ах, здорово! Вот это — да!"
— "Кто ж эта новая звезда?" —
Волнение. Рев. Аплодисменты.
— "Прекрасно," — глянув из угла,
валкирия произнесла.

71

— "Кто ходит замарашкой потным,
получит верный нагоняй,
так будь хотя бы чистоплотным
и рифмы, как белье, меняй," —
учила Муза-инспектриса,
а я не смог бежать от "биса":
цедя конечные слова,
не раз, быть может, и не два
я рифмы повторил по лени,
хотя с российским языком,
как Виноградов, я знаком
и отличаю "тень" от "сени",
и по ночам под головой
держу и я рифмовник свой.

72

Семидесяти строф с привеском
 для песни хватит. И для нас.
 Закончим же с обычным блеском
 подготовительный рассказ.
 Чтоб оживить словарь убогий,
 возьмем старинный рифмологий,
 сперва прочтем его насквозь,
 потом раскроем на авось.
 Демократической эпохи
 заимствованные слова
 стасуем с теми, что едва
 держались при царе Горохе,
 и выдадим чужой секрет,
 рифмуя "прах" и "винегрет".

73

Плененный декадансом нежным,
 я Адамовича люблю
 и патриархом зарубежным
 его с поклоном признаю,
 хотя сходил в мирок харбинский
 хрустальный Антонин Ладинский,
 и Ходасевича сарказм
 нас доводил порой до спазм.
 Но чаще в кабачке Шатровой –
 (полрюмки, ломтик огурца,
 неискушенные сердца
 и тьма кромешная Садовой) –
 царил Георгий Иванов,
 певец Гафиза и Садов.

74

Где ты, Гафиз, и где Заира?
 Умолкла вкрадчивая речь!
 Лишь Адамовича порфира
 не падает с державных плеч.
 Нам этой жизни было мало:
 напрасно женщина качала
 бессмысленную колыбель, –
 манила нас иная цель.
 Я о кресте мечтал и розе,
 Сергин – о музыке небес,
 чтоб отступил упрямый бес,
 а Шеголев – о звонкой прозе,
 чтоб Сириин завистью пылал,
 а Бунин ахал и вздыхал.

Нас восхищал Владимир Сирин,
 не тот, что от "Лолит" и "Ад"
 доходами утихомирен,
 не от России ждет наград,
 Американец нам не нужен,
 но с нами Чорб и милый Лужин,
 сто раз прочитаны уже,
 трясутся в тощем багаже.
 Трясутся "Камера обскура",
 "Король и дама – и валет" –
 клоака – и внезапный свет,
 и вдруг ожившая гравюра,
 и достигающий до звезд
 насмешливо-лукавый "Грозд".

* * *

ПРИМЕЧАНИЯ к Песне Первой

1. "Чудесный Город" – Рио де Жанейро, город поистине *чудесный*.
2. Тригин – от "три" и "гинэ" (женщина) – неологизм, аналогичный слову "триумвират", означающему не "троемужие", а коллегия из трех лиц мужеского пола.
3. Флор – цветок.
4. Иакинф – гиацинт.
5. Лицо невымышленное.
6. Лицо вымышленное.
7. Упорно произношу второе "е", как в слове "лес".
8. Харбинский поэт, до своей смерти в 1946 году сохранивший юность и охоту подражать Гумилеву.
9. Вишняк – газированная вода с сомнительно-фруктовым сиропом, приводившая харбинскую детвору двадцатых и тридцатых годов в состояние, близкое к экстазу. Связь этого нектара с известным в За-рубье редактором Марком Вишняком в точности не доказана.
10. Иероним Салатко-Петрище именовался в просторечии Герасимом.
11. Елизавета Адальбертовна Шеперс, дворянка, двадцати восьми лет от роду, сочеталась законным браком с Францишком Салатко-Петрище, тридцати четырех лет от роду, в белоцерковской римско-като-

- лической церкви 27 ноября 1858 года.
12. Строчка с тремя "и" кряду встречается в "Полтаве": "Враги России и Петра."
 13. Екатерина Бакунина, известная парижская писательница, автор натуралистического романа "Тело".
 14. "Юнчит" – страница Юного Читателя в харбинской газете "Рупор".
 15. Харбинский литературно-художественный журнал, выходивший по субботам.
 16. Михаил Сергеевич Рокотов (Бибинов) – писатель, добрейший редактор "Рубежа", ныне (1972 г.) проживает в Калифорнии.
 17. Почти полная строка из Арсения Несмелова.
 18. Первая страница "Рубежа" часто украшалась нарядными заставками.
 19. А четыре "и" кряду – это уж чтобы "затмить" Пушкина! Посвящается Ивану Венедиктовичу Елагину.
 20. Строка Николая Шеголева.
 21. Елагин, Иван Венедиктович, – один из лучших поэтов Зарубежья.
 22. "Кристалль" переведена Гумилевым и М.Л.Лозинским, но издана (Петрополис, 1923) под маркой Георгия Иванова.
 23. Петр Петрович Лапикен, писатель, ныне (1972 г.) преподающий в одном из североамериканских университетов.
 24. Владимир Александрович Слободчиков, ныне (1972 г.) проживающий в Москве.
 25. Довольно длинное стихотворение.
 26. По мужу фру Седергрэн.
 27. Марианна Ивановна Колосова – одаренная поэтесса, писавшая о ненависти к порабощителям России.
 28. В 1932 году Маньчжурия была захвачена Японией.
 29. Виктория Юрьевна Янковская, поэтесса и писательница.
 30. Розалия Иоганновна Донбровская, впоследствии прославившаяся двухтомным романом "Вчера и сегодня".

АЛЕКСАНДР ГИДОНИ

ЖАРКИЕ ДНИ ПОТЬМЫ

Падает ли дождь, холодит ли утренняя – уже чуть по-осеннему – зябкость, печет ли (все еще летнее!) солнце, – для меня сентябрь в любом случае – *жаркий* месяц. Это ощущение живет во мне со времен того сентября 1957 года, когда мордовское солнце всходило над унылыми зонами Дубровлага солнцем краткой эзковской победы над страхом, унижением; победы над чекистами, да и – что греха таить! – над самими собой иногда. С 1-го по 5-е сентября 1957 года, в период хрущевского показательного "либерализма", происходила в Потье забастовка политзаключенных. Тогда, – как шутили позднее эзки, – пусть на маленьком кусочке территории, пусть лишь в течение пяти суток, но в зоне 7-го лагеря (почтовый ящик 385/7, станция Сосновка) Советской власти не было. Была *наша* власть...

Это были воистину "жаркие дни" в прямом и переносном смысле. Погода выдалась, как на черноморский заказ. В безоблачном небе царствовало, катилось, пылало, раскидывалось всеми своими лучами, солнце. Оно поблескивало в прозелени мордовских болот и на пулеметных дулах лагерных вышек; оно душило жарким, безостановочным пѳтом и танкистов в спешно брошенных к лагерю танках, и загоравших на барачных крышах эзков времен того "хрущевского набора", о котором на Западе знают и мало, и плохо, да часто и знать не очень-то хотят. Вряд ли многим известна также история забастовки сентября 1957 года, которая, между тем, является важной вехой в общей истории демократического движения России – вехой поучительной как в свете своих неудач и ошибок, так и с точки зрения ее морально-политического опыта.

Волей судеб автору этих строк суждено было стать руководителем забастовки. Неудивительно, что мне, представителю оппозиционного по отношению к советскому режиму "поколения 1956 года", хочется, чтобы в среде русского Зарубежья знали о нашей "сентябрьской страде", о том, почему и как мы бастовали, и о том, какие уроки, в конце концов, можно извлечь из наших надежд, увлечений и наших промахов.

Ибо история пятидневной забастовки 1957 года в мордовском политическом лагере – это в миниатюре картина политической борьбы со всеми ее смерчами и отливами: со взлетом и падением ее лидеров; со смесью благородного идеализма и корыстных поползновений; с игрой самолюбий и отважных решений; со страстностью человеческой и с бесстрастной жестокостью судьбы. Всё в миниатюре: в кругу двух тысяч политзаключенных, в квадрате небольшой лагерной зоны. Но всё по-серьезному – ведь ставками были жизнь и смерть; аргументами – с одной стороны – сила протеста и свободомыслия, а с другой – огненно-стальная мощь танков, пулеметов и пушек окруживших лагерь советских войск.

1 сентября стало первым днем нашей забастовки, когда чекисты покинули лагерную зону, и футбольное поле, тянувшееся от вахты до производственной зоны, сделалось "демаркационной линией" между *ними* и *нами*. На поле цепью расположились наши пикеты, которые должны были не допустить как проникновения кого-либо из членов "надзорсостава" в лагерь, так и просачивания отдельных эзков – из числа стукачей и тех, кто боялся последствий забастовки, – в производственную зону, где находились корпуса фабрики, занятой выпуском футляров для радиоприемников марки "Урал". (Долго потом – уже "на воле" – передергивался я, видя эти приемники; словно сползала лакировка с корпуса и обнажался деревянный остов, который клеили, шкурили, драили эзки лагерной фабрики – гнусная примета гнусного быта моей "мордовской эпохи").

Но прежде чем говорить о ходе самой забастовки, надо понять, что представлял собой в комплексе политический лагерь времен Хрущева; чем жили и дышали советские эзки новой – послесталинской формации 50-х годов. Без этого многое в нашей забастовке просто необъяснимо.

К сентябрю 1957 года времена, описанные Солженицыным, уже миновали, а тяготы тюремного быта, о которых позднее написал Марченко, еще не возникли. Условия в политическом лагере были почти "санаторными": работать вроде бы и заставляли, но не очень; действовала система зачетов; посылки и письма приходили без ограничения; плохое лагерное питание можно было заменить коммерческой столовой – благо деньги разрешалось иметь при себе. Всё это проистекало не от какого-нибудь "гуманизма" властей предрежущих, а скорее от их некоторой растерянности после крушения культа Сталина: ужасы былого, с пытками, расстрелами, номерами на груди и прочим антуражем сталинско-бериевских методов, отпали, а новую "методу" зажима в отношении политических еще не выработали. Старые лагерники порассказывали нам – молодежи "поколения-56", о восстаниях и забастовках на Воркуте, Колыме, в Казахстане, которые заставили власти (уже после смерти Сталина) смягчить условия содержания заключенных и, в конце концов, отделить 58-ую статью, т.е. политических, от уголовников. Таким образом, мы – "поколение-56", попали в своего рода образцовый, "чистый" лагерь 58-ой статьи.

Однако "чистота" статьи подразумевает отчаянную "пестроту" ее пунктов, множимых на различия человеческих судеб, убеждений и судьбных "дел". Кого только не было в политическом лагере!.. Религиозники (в диапазоне от сектантов-иеговистов до ортодоксальных католиков), бывшие партизаны (по советской терминологии "бандиты") из Литвы, Латвии, Эстонии; бендеровцы, власовцы, грузинские националисты, иностранцы, украденные советской разведкой, бывшие эмигранты, каким-то образом возвращенные в СССР; иностранные разведчики и советские... тоже разведчики (провалившиеся на Западе, вернувшиеся и, конечно же, "посаженные", ибо "слишком много знали"). Были здесь и т.н. "военные преступники"; были солдаты и офицеры Советской Армии, которые отказались в 1956 году стрелять на улицах Будапешта и получили за это по 10 лет срока. Социальная амплитуда различий эзков колебалась от колхозника до министра; возрастная – от "молока на губах" до почти мафусаиловских высот. Мне показали однажды колоритного кавказца в бурке: ему исполнился 101 год, а срок он имел двадцатипятилетний. Воистину Советская власть проявляла в данном случае "гуманность", добавив к жизненному долголетию тюремное "многoletие". С другой стороны, сидели в лагере и парнишки, не достигшие восемнадцатилетнего возраста.

Что касается нас – молодежи, то большей частью это были студенты столичных вузов (особенно много "поставили" в Дубровлаг Ленинградский, Московский и Киевский университеты). Как правило, были мы все еще "марксистами", "ленинцами" или "титовцами"; все имели пункт "за Венгрию" (т.е. за сочувствие венгерской революции 1956 года); все надеялись на революционное – по примеру Венгрии, но не в пример ей более успешное – свержение коммунистического режима.

Любопытно, как с нашей "марксистской" (или "ревизионистской") маркой освоились надзиратели и вообще чекисты: когда приходил очередной этап с молодежью, то нередко можно было слышать реплики конвоиров: "опять *марксистов* привезли!" Это полубранное, полуироническое определение звучало *на полном серьезе* и очень колоритно в устах "защитников" советского строя на сороковом году его существования...

Само собой, в лагере между заключенными, которые придерживались разных взглядов, часто вспыхивали споры. Понадобилось определенное время, чтобы с нас – марксистов, сползла шелуха "передового учения". Обычная эволюция происходила примерно так. Прибывает в лагерь молодой парень. Он с гордостью заявляет о своих "марксистско-ленинских" убеждениях, о том, что он "коммунист", но не согласен, допустим, с Хрущевым, или с политикой в национальном вопросе, или с "колхозным строем". Проходит месяц: смотришь – он говорит о себе, что он уже "социалист", еще месяц, и он – просто "демократ". А там глядишь – либо он обратился к религии, либо с симпатией толкует о монархизме, но уж, во всяком случае, со своим "коммунизмом" он прощается наверняка. Жизненный опыт, даваемый лагерем, возможность правдивой информации со стороны массы по-настоящему *интересных*

людей, которых только в лагере и встретишь, находясь в Советском Союзе, быстренько излечивают от коммунистических иллюзий. Но для этого все же необходимо какое-то время.

Наша забастовка началась в тот период, когда большинство из нас — молодежи, именовало себя "социалистами". Посему в глазах многих старых лагерников, прошедших сталинские лагеря и ожесточенно ненавидевших не только советский режим, но и всякую "терминологию", ассоциативно с ним связанную, мы являлись "красными". Одну из группировок старых лагерников, резко настроенных против нас — левых, возглавлял весьма интересный человек, талантливый поэт Василий Анисимович Бернадский (трижды уже сидевший по 58-ой статье).

Лично у меня с ним были прекрасные отношения. Сближало нас обоюдное занятие поэзией, известная общность вкусов (например, любовь к стихам Гумилева). В области же политики мы стояли на разных "полюсах". В.А.Бернадский был человеком политической эмоции: всё сколько-нибудь "красное" действовало на него, как тряпка на быка. Тщетно объяснял я ему, что социалисты (разумеется, сторонники демократического социализма) являются наиболее непримиримыми врагами коммунистов хотя бы потому только, что коммунисты, попирая принципы демократии, оскорбляют социалистическое сознание вдвойне: своим тоталитаризмом и, к тому же, профанирующим заимствованием социалистической терминологии. Бернадский и его сторонники твердили в ответ одно: все "красные" и "розовые" суть враги демократии и по существу, мол, равнозначны коммунистам. Поэтому никакого единения с ними не должно быть даже в лагере. Сколь губительной оказалась подобная "непримиримость" — это выявила история забастовки.

Непосредственным поводом к ней явился инцидент у ворот производственной вахты 31 августа. Охранник, стоявший на вышке, дал очередь из автомата в направлении заключенных, которые не совершили ничего особенного: просто требовали ускорить их пропуск через вахту в жилую зону, т.к. подошло время обеда. Тот факт, что автоматная очередь была дана *в направлении лагеря*, истолковался многими эсками, пережившими сталинские ужасы, как признак возврата к "произволу". К вечеру слово "забастовка" циркулировало повсюду. Надзиратели спешно стали покидать зону. Лагерь превратился в территорию, никем не управляемую. Возник своего рода "вакуум власти". В такой ситуации любой инцидент мог дать повод чекистам для применения оружия под предлогом "восстановления порядка". Только дееспособная власть самих заключенных могла предотвратить подобное развитие событий. Власть эту создали мы — "социалисты".

Негласно (об этом знали лишь несколько человек) возник триумvirат, в который вошли: автор этих строк, студент Киевского университета Анатолий Лупинос и московский студент Дильс Сотников. Мы решили, что общее руководство забастовкой будет осуществляться только нашим триумvirатом, поскольку, как нам казалось, лишь избранная нами линия поведения позволит избежать кровопролития. Дело в том,

что среди заключенных раздавались призывы к восстанию; кое-кто предлагал атаковать вахту, пробиться через нее; затем, пользуясь численным превосходством, подавить небольшой сравнительно дивизион лагерной охраны, овладеть оружием и дальше пробиваться... куда? – этого, понятно, не могли объяснить горячие головы, если учесть, что мы находились в центре России, не слишком-то далеко от самой матушки-Москвы, и вся "акция" была заведомо обречена на провал. Мы – социалисты, были решительно против попытки "восстания", защищая точку зрения большинства заключенных: объявить *мирную* забастовку, добиваться приезда в лагерь Комиссии Верховного Совета СССР и представить ей наши требования политического, гуманитарного и экономического характера. Мы знали от старых лагерников, что требование о вызове Комиссии Верховного Совета СССР в случаях массовых конфликтов с администрацией лагерей было традицией, сложившейся еще в сталинское время. Использовать эту традицию в новых – гораздо более мягких, условиях "хрущевского периода" было самым разумным и перспективным.

Я, Лупинос и Сотников договорились между собой о том, что наш триумvirат будет действовать в обстановке полной секретности, преследуя две основные задачи: во-первых, довести забастовку до победоносного завершения без кровопролития (что подразумевало наличие внутри лагеря образцового порядка), а, во-вторых, не допустить перехода власти в руки каких-либо экстремистов (как "правых", так и "левых"). Особенно опасались мы интриг и противодействия со стороны Бернадского. Как показали дальнейшие события, это было не лишено оснований.

Для непосредственного и "видимого", так сказать, руководства лагерной жизнью в период забастовки мы решили создать "Забастовочный комитет" из числа тех людей, которые проводили бы нашу линию. Сами, согласно нашему плану, мы не должны были входить в комитет, дабы не раскрывать перед чекистами (мы не сомневались, что КГБ будет проводить следствие по делу о забастовке в будущем) "механизма" нашей структуры. Членами же комитета должны были стать те зэки, которые *сознательно* готовы поставить себя под удар следствия, зная об этом и вполне осмысленно *идя на это*. Под влиянием событий наш план претерпел изменения. Поскольку Анатолий Лупинос в первые же часы забастовки (еще до возникновения нашего триумvirата) был в числе агитировавших за ее начало и наверняка поэтому был "засечен" лагерными стукачами, мы решили в последний момент, что он станет председателем Забастовочного комитета, обеспечивая тем самым лучший ход любых обсуждений и дискуссий в нем. В случае же каких-либо сложностей все важнейшие решения будем принимать мы – "триумvirы".

Так был создан орган, который формально встал во главе забастовки. В состав Забастовочного комитета из пяти человек вошли: Анатолий Лупинос (председатель), Олег Милешкин – бывший курсант Во-

енно-Медицинской Академии, Андрей Пилскалнс – латвийский националист, Валентин Жуков – в прошлом "бытовик", уже в лагере получивший политическую статью, и служивший ранее на флоте Борис Луговой. Все они оказали большие услуги делу забастовки и все потом (за исключением "расколовшегося" Лугового) хорошо держались на следствии и перед судом. За спиной же Забастовочного комитета стоял наш триумвират.

Эта организационная структура осталась неизвестной подавляющему большинству заключенных. О ней узнали в КГБ много времени спустя, когда Дильс Сотников был уже на свободе, а я и Лупинос получили новые сроки (по 4 года), так что в судьбе нас троих ничто измениться не могло. В ходе же самой забастовки ээки не знали в точности *членов* Забастовочного комитета, но авторитет его стоял очень высоко, что наглядно свидетельствует о полной поддержке нашей линии борьбы со стороны подавляющего большинства заключенных. Следует добавить, что сами члены Забастовочного комитета (кроме Лупиноса, разумеется) не знали о существовании "триумвирата Гидони-Лупинос-Сотников".

В первый же день забастовки лагерную зону украсили лозунги: "Мы требуем Комиссии Верховного Совета СССР", "Да здравствует Конституция!" (слово "советская" как эпитет мы не употребляли сознательно – поэтому, с одной стороны, казалось, что мы требуем соблюдения конституционных норм вообще, с апелляцией к общечеловеческим категориям; с другой стороны, нас нельзя было обвинить в "антисоветчине" – ведь мы были *за Конституцию*). Вместе с тем очень популярен был другой лозунг: "Долой 10-й пункт 58-ой статьи как антиконституционный и антидемократический". Впоследствии, в ходе суда, нас обвиняли, что тем самым мы выступили против советских законов. Однако здесь обвинению пришлось нелегко, ибо я, ведя защиту, сразу же подчеркнул, что выступая против одного из пунктов политической статьи (пункта за т.н. "антисоветскую агитацию", а под этот пункт подводилось что угодно!), мы осуждаем его как противоречащий статье о свободе слова Конституции СССР, т.е. *Основного Закона* государства. Ясно, что отвергать *частный* случай толкования закона, стоя на платформе главного источника *всех* законов вообще, не значит выступать против законности. Впрочем, в советском суде логика и законность имеют не большее значение, чем милосердие в "Архипелаге Гулаг"...

Повсюду, на зданиях барачных, на столовой, помещении "КВЧ" (культурно-воспитательная часть), над летней эстрадой, повесили мы также лозунги: "Да здравствует ООН!", "Долой принудительный труд!", "Свободу т.н. "военным преступникам!" (во множестве стран к тому времени уже амнистировали людей, осужденных за события войны), "Освободить престарелых и малолетних!", "Требуем общего пересмотра дел". Были также лозунги экономического содержания. Все наши требования пользовались общей поддержкой, хотя не обошлось и без курьезов. Так, однажды ко мне явился делегация из бывших власовцев, бендеровцев и националистов – все пожилых и не слишком-то образованных людей. Они

стали с обидой жаловаться на то, что, дескать, вот мы все вместе страдаем, вместе боремся против чекистского произвола, а все равно для нас они, мол, — военные *преступники*. Пришлось долго объяснять им, что мы специально взяли в кавычки этот термин, навязанный нам; что для нас — молодежи, они — наши союзники, такие же страдающие люди, как и мы, и т.п. Инцидент был исчерпан.

Зато, само собой, не обошлось без инцидентов с чекистами. Сначала, правда, события развивались достаточно спокойно. В первый же день забастовки я по лагерному радио (радиорубка со всей аппаратурой находилась в зоне, и мы получили возможность вести регулярные передачи внутри лагеря, а — через громкоговорители — и за зону) призвал лагерное начальство от имени Забастовочного комитета не прибегать к силе, удовлетворить требование о приезде Комиссии Верховного Совета СССР и во избежание недоразумений, не заходить в зону, где были выставлены наши пикеты, дежурившие круглосуточно и состоящие главным образом из молодых прибалтийцев и украинцев. К слову сказать, на протяжении всей забастовки проявилась исключительная спайка всех национальных группировок: русские, украинцы, евреи, поляки, прибалтийцы, грузины, армяне — все держались сплоченно, все, понимая опасность разногласий и конфликтов на национальной почве, проявляли чувства взаимопонимания и дружбы в лучшем смысле этих слов. Характерно, что когда группа Бернадского нанесла удар изнутри по забастовке, то она избрала средством удара как раз подстрекательство национального недоверия, т.е. метод, осужденный всеми политзаключенными послесталинской эпохи.

По лагерному же радио я зачитал Обращение ко всем заключенным, призывая их держаться стойко, не поддаваться провокациям и помнить, что мы начали борьбу за наши права, человеческое достоинство, и начали ее с общего согласия. Я сам был автором текста Обращения, и читал его с особенным старанием, "подавая", где нужно, и "металл в голосе", а где следовало — и задушевную мягкость интонаций. Много раз за свою жизнь выступал я впоследствии как лектор и актер, выступал на телевидении и на радио; перед огромными аудиториями и небольшими, но очень "интеллектуальными" компаниями; много получал комплиментов и аплодисментов за это, но никогда я не был так счастлив и польщен, как тогда, во время забастовки. Успех Обращения был колоссальным. Толпы эзков у громкоговорителей слушали его буквально со слезами на глазах, ибо для многих это было первым "словом правды", доносящимся *по радио*, за многие годы их лагерной жизни. Едва я, кончив передачу, отошел от микрофона, как наши пикетчики, державшие (по соображениям конспирации) охрану вокруг помещения радиорубки, сообщили, что множество людей требует повторить Обращение снова. Пришлось еще раз сесть к микрофону и заново читать...

После этого мы каждый день вели радиопередачи. В предпоследний день забастовки у микрофона кроме меня выступили также представители самых крупных национальных группировок в лагере (помимо русских). На своих родных языках украинец, латыш, литовец и эстонец обратились к товарищам по лагерю с призывами продолжать забастовку, оказывая

поддержку деятельности Забастовочного комитета. Увы, к этому времени забастовка агонизировала...

Любопытно, что примерно на второй день забастовки, когда из-за зоны доносился рокот подъезжавших танков и бронемашин, когда спешно строились новые пулеметные вышки для "кинжального огня" по баракам, донеслось до нас и смехотворное "вещание" чекистского радио. Из громкоговорителей раздался голос, призывавший "граждан заключенных" не подчиняться "так называемому Забастовочному комитету", "не дать себя обманывать кучке авантюристов" и "выходить на работу". Провал этой "радиоакции ГБ" был полнейший. Насколько благоговейно внимали эки нашим радиопередачам, настолько же презрительно смеялись они над лицемерными чекистскими призывами. Поняли это и сами чекисты. И решили прибегнуть к более "сильному средству".

Этим средством оказалось вторжение в зону солдат и массы работников КГБ (как в форме, так и в штатском). Раскрыв ворота зоны, они, тесня линию наших пикетов, вошли на территорию лагеря и отрезали столовую от остальных бараков. Расчет их строился на том, чтобы, используя время, когда люди идут на завтрак, отделить всех оказавшихся в столовой и перегнать их в производственную зону, на территорию фабрики, тем самым добившись уменьшения числа бастующих. Мы поняли этот маневр и через радио передали приказ временно в столовую не идти. Одновременно мы призывали всех заключенных избегать столкновений с представителями охраны и солдатами, однако сопротивляться любым попыткам увести их силой с территории жилой зоны.

Положение было трудным. С одной стороны, казалось очевидным, что чекисты не откроют огня по зоне, пока в ней находятся солдаты (без оружия) и вообще "их люди"... С другой стороны, опасным было состояние, когда нас оттесняли с половины лагерной зоны. Чего они добивались? Может быть, оттеснить всех бастующих к линии запретки, которую нельзя переходить под угрозой огня с вышек, и тем самым парализовать волю и любые действия забастовщиков? Или же просто внести разложение в наши ряды, т.к. чекисты, рассыпавшись по зоне, уговаривали заключенных в индивидуальном порядке переходить в производственную зону? Агенты КГБ в штатском фотографировали многих ээков, а также делали снимки наших лозунгов и транспарантов... В этой неопределенной ситуации нужно было сделать что-то, способное поддержать авторитет Забастовочного комитета и создать хотя бы иллюзию *нашего* порядка...

Я попросил ребят-прибалтийцев (как правило, все это были отличные спортсмены) спешно начать какие-нибудь игры, имитируя полное равнодушие ко всему происходящему вокруг. И вот – картина!.. День был отчаянно-жаркий; слепило солнце; и под его лучами на баскетбольных площадках возле бараков загорелые юноши бегают стайками с мячом под одобрительные возгласы "болельщиков", которые одновременно отругиваются от настойчиво лезущих к ним лагерных надзирателей и чекистов. Спортивная идиллия – да и только!.. И ведь помогло... Действительно,

возникло впечатление, что все идет своим обычным ходом, а присутствие чекистов в зоне — так, незначительная помеха.

В довершение всего я, подойдя к зданию КВЧ и видя, что к нему же подошел начальник воспитательной части — плюгавенький и до предела тупоумный офицер с типично мордовской физиономией, сказал дирижеру лагерного оркестра (им был западноукраинец по фамилии Горобец), чтобы он собрал в центре лагеря своих оркестрантов. — Играйте, что хотите, только играйте, — добавил я. — Желательно что-нибудь веселое "для поднятия духа"...

Начальник КВЧ, слыша это, решил тут же испробовать на Горобце силу своей авторитетности.

— Горобец! Я приказываю вам не выводить оркестр! — сказал он, глядя на меня: дескать, скушал?

— Горобец! — сказал я в свою очередь. — Немедленно выводите оркестр!..

Бедный Горобец!.. Насколько мне было известно, он считался человеком, близким к лагерному начальству. Но все же — ээк, свой!.. И теперь — между двух огней: этот приказывает, этот тоже приказывает... С одной стороны: спокойная жизнь с начальством; с другой — лагерная солидарность... Ах, бедный Горобец!.. Что победит в тебе в этот момент испытания?.. Победила совесть.

— Я вам не подчиняюсь, — сказал он начальнику КВЧ. — Я подчиняюсь только Забастовочному комитету...

Разъяренный офицер прошипел мне в лицо: "Вы за это заплатите..."

— Ну, когда наступит "время расплаты", — ответил я со значением в голосе, — посмотрим, *кто и за что* заплатит...

Оркестр вышел на площадь и заиграл бодрые марши. К нему невольное потянулись многие ээки. Собралась внушительная толпа, которая противостояла цепи солдат, явно смущенных своей ролью, и менее внушительной, но суетливой толпе надзирателей, а также чекистов в штатском. Последние, очевидно, не расставались со своим замыслом оттеснить нас к запретке. Видя это, я решил испробовать прием, который, по моему предположению, должен был парализовать любые *немедленные* действия со стороны наших врагов. Надо было выиграть время, а там видно будет!..

— Горобец! — спросил я дирижера. — Ваш оркестр может исполнить "Интернационал"?

— Конечно, — ответил он.

— Тогда играйте его немедленно. "Они" не должны ничего делать в момент исполнения гимна...

И оркестр заиграл... Толпа ээков подхватила мелодию, слова... Пели все: и мы — молодежь, которой еще по сердцу был сокровенный смысл того, что содержалось в заклинаниях типа: "Весь мир насилья мы разрушим". Пели стоящие рядом социалисты и монархисты, националисты и военнопленные, старые лагерники и, так сказать, новобранцы "архипелага". Пели с дрожью в голосе, многие — со слезами... Такого исполнения "Интернационала" мне больше не приходилось слышать никогда

и нигде. Нервное напряжение достигло предела. Толпа – вся, как один, грозно надвинулась на чекистов... и они – побежали. Сначала дрогнули штатские (кое-кто из них снял шляпы и кепки в знак "уважения" к исполнению "Интернационала"), а когда зэки приблизились к солдатской цепи, тесня убежавших надзирателей, кто-то из офицеров подал команду, и солдаты, круто повернувшись, так же цепью вышли из лагеря. Территория его снова была в наших руках полностью. Этот тур борьбы мы выиграли.

Однако передышка длилась недолго. На следующий день, примерно после обеда, наши дежурные сообщили мне, что в зону вошел какой-то генерал в сопровождении Прокурора Мордовии, заявив, что приехал из Москвы и желает поговорить с заключенными. Появление генерала могло быть хорошим признаком. Во-первых, если приехал генерал, то могла приехать и Комиссия Верховного Совета; во-вторых, его присутствие в зоне давало гарантию, что чекисты не собираются стрелять по лагерю (ведь в крайнем случае того же генерала мы могли взять в качестве заложника). Однако вместе с тем, генерал – это все-таки не Комиссия, а его контакты с частью колеблющихся зэков, бывших нетвердыми забастовщиками, могли привести к нежелательным для нас результатам. Надо было принять какое-то решение.

В этот момент мне сообщили, что стала известна фамилия генерала. Это был Бычков, которого многие старые лагерники называли палачом, поскольку он руководил подавлением восстаний в казахстанских лагерях, применяя танки против заключенных, в том числе и против женщин. Наши дежурные сообщили также, что некоторые из зэков требуют ареста и казни Быčkoва. Поэтому в любую минуту может быть совершен террористический акт против него.

Понимая, какие губительные последствия имела бы для нас попытка покушения на генерала, я приказал нашим проверенным людям окружить его (и Прокурора Мордовии) так, чтобы никакой потенциальный террорист не смог к ним пробиться. В окружении наших людей Бычков прошел благополучно сквозь пикеты по направлению к летней эстраде. Здесь собралось много заключенных, к которым он хотел обратиться с речью. Тактика его была ясна: перемежая угрозы и легкие посулы, внести раскол в ряды лагерников, игнорируя при этом Забастовочный комитет и вообще создавшееся положение. Я лично не видел смысла в каких-либо переговорах с Бычковым, однако уж если такая необходимость возникала, то ее следовало использовать как стадию подготовки для *главных* переговоров – с Комиссией Верховного Совета. *А реально значимые* переговоры должны были проходить отнюдь не на летней эстраде...

Поэтому сразу же, как только Бычков заговорил и стало очевидно, что он своей демагогией делает ставку на раскол в наших рядах, я распорядился применить новый "музыкальный трюк". Переместившийся к эстраде оркестр оглушительно заиграл под самым носом у Быčkoва, и возникла ситуация из маршаковской детской притчи: "разевает щука рот, да не слышно, что поет". В результате "щука" попала на крючок: генерал заявил, что хотел бы в конфиденциальной обстановке рассмотреть наши

требования и предложить свои условия.

Я решил принять его предложение. Надо было перед всеми заключенными раскрыть его истинную роль как человека, желающего покончить с нашей забастовкой на неприемлимых для нас условиях. Я не сомневался, что ничего путного он нам не предложит, что его прибытие в лагерь — пробный шар Москвы: если Бычков усмирит забастовку, то и хорошо — все кончено; ну а если ему не удастся это сделать, тогда, видимо, придется посылать Комиссию. Проведя с Бычковым закрытые переговоры, мы, во-первых, показывали колеблющимся энкам, что не пренебрегаем промежуточными стадиями в наших действиях, а, во-вторых, выясняли для себя вопрос о намерениях чекистов. Дело в том, что мы уже знали о стягивании войск к территории Дубровлага. Примерно дивизия была перебросена к Потье; близлежащие деревни частично эвакуировались на случай, если мы "вырвемся из лагеря"; чекисты опасались того, что забастовка на 7-ом лагпункте будет подхвачена и другими зонами Дубровлага. В этих условиях было существенно важным уяснить степень готовности чекистов прибегнуть к оружию против нас. В зависимости от этого можно было лучше варьировать нашу тактику.

Доверить кому-либо из членов Забастовочного комитета вести переговоры я не мог; Лупинос выглядел очень уставшим; Сотников был занят некоторыми "техническими" вопросами. Поэтому я, отбросив наши конспиративные соображения, решил сам пойти на встречу с Бычковым. В общем, это был правильный ход. Другое дело, что я тут же совершил большую ошибку. Желая расширить базу поддержки нашей линии поведения и продемонстрировать перед энками своего рода тактику "единого фронта", я предложил Бернадскому пойти на переговоры с Бычковым вместе со мной.

Мы договорились с Бернадским, что будем придерживаться общей позиции. Бернадский в ходе переговоров это соглашение нарушил.

Его самолюбие, уязвленное тем, что забастовкой руководят столь не любимые им "красные", а не он, сыграла с ним злую шутку. Человек с большим лагерным опытом, субъективно честный, он ради собственного тщеславия, а так же под влиянием страха за собственную судьбу (это тоже неприятно проявилось в нем), решил сорвать забастовку. Общее дело, которое не было *его* делом, не интересовало его. Заодно Бернадский решил избежать для себя и нового "судебного дела"...

Когда, уже в ходе переговоров с Бычковым, я, в числе требований забастовщиков, поднял вопрос о недопустимости каких-либо репрессий по отношению к участникам забастовки, генерал в ответ, желая привлечь нас на свою сторону, поклялся в безопасности *нас двоих*. Я отказался участвовать в этой игре. Бернадский ее принял. А впоследствии, уже перед судом, который добавил к моему двухлетнему сроку за "ревизионизм" еще 4 года за "массовые беспорядки в лагере", я спросил Прокурора Мордовии (одного из участников наших переговоров с Бычковым), почему, если судят меня, то не судят Бернадского, он развязно ответил: "Бернадский повел себя иначе, чем вы. Он призывал кончить забастовку, а вы требовали ее продолжать. Поэтому в отношении вас мы не сочли

себя связанными нашим обещанием". Мне оставалось только поблагодарить его за откровенность, пусть даже и цинического свойства...

В пределах небольшого очерка нет возможности воссоздать всю картину наших переговоров с Бычковым. Они были безрезультатны, но довольно интересны. Генерал-лейтенант Бычков (тогда заместитель Министра внутренних дел СССР) заявил нам, что он прибыл в лагерь по прямому указанию Хрущева и ему же лично доложит о наших переговорах. (Видимо, этим объяснялось впоследствии то, что Хрущеву была хорошо известна моя фамилия). Бычков предложил нам, как людям, пользующимся авторитетом среди заключенных, содействовать прекращению забастовки. Взамен, посулив нам личную безопасность "во всех случаях", он согласился также рассмотреть некоторые экономические требования, наотрез отказываясь, однако, обсуждать претензии политического характера. Я, со своей стороны, сказал, что мы настаиваем на переговорах с Комиссией Верховного Совета СССР и что забастовка будет прекращена лишь при этом условии. Одновременно я заявил протест против скопления войск вокруг лагеря, подчеркнув, что для этого нет никаких оснований, т.к. в лагере поддерживается образцовый порядок. Бычков заверил меня, что "о применении оружия не может быть и речи", и это было, по видимому, существенным заверением с его стороны. Одновременно мне удалось буквально "выжать" из него обещание немедленно довести до сведения Хрущева о нашем требовании вести переговоры только с Комиссией Верховного Совета. Правда, в ожидании окончательного решения Москвы, Бычков предложил нам с Бернадским продолжить наши переговоры на следующий день. Видя двусмысленную тактику Бернадского, который пытался утопить политическую сторону дела в разговорах об отсутствии мыла в ларьке и тому подобных мелочах (на что охотно шел Бычков), я — желая к тому же выиграть время — согласился на предложение Быčkова. Расчет мой был прост: мы с Бернадским должны были выступать на летней эстраде перед забастовщиками сразу после окончания переговоров. Объявив о их неудаче, мы тем самым легко могли обеспечить новую поддержку требованию приезда Комиссии. Забастовка, таким образом, продолжилась бы, несмотря на маневры Быčkова и вопреки им.

Все это я высказал Бернадскому, и он, как будто, согласился со мной. Однако в момент наших выступлений на эстраде он внезапно стал призывать к прекращению забастовки, одновременно искажая смысл многого из того, что говорилось между нами и Бычковым. Это было настоящим предательством. Олег Милешкин — один из членов Забастовочного комитета, предложил мне тут же арестовать Бернадского, изолировав его от остальных заключенных. Возможно, это было бы верным решением, но я хотел избежать подобных акций. Арест Бернадского здесь, на эстраде, на глазах у сотен заключенных, неизбежно вызвал бы представление о том, что в руководстве забастовки произошел полный раскол. Нас в определенной степени подвела наша конспирация: ведь подавляющее большинство эзков не знало поименно членов Забастовочного ко-

митета; многие полагали, что Бернадский входит в состав руководителей забастовки. Все это, вместе взятое, следовало учесть.

Поэтому я запретил трогать Бернадского. Я лишь призвал с эстрады к продолжению забастовки, и в мягкой форме (заявив, что "Василий Анисимович Бернадский, видимо, не совсем ясно понял..." и т.д.) поправил его комментарии к переговорам с Бычковым. Моя точка зрения взяла верх: забастовку решено было продолжать; пришедшие в Забастовочный комитет представители национальностей заявили нам о полной поддержке нашей линии поведения. Все это было так, но...

Уже ночью стало ясно, что забастовка фактически кончилась. Бернадский, выдавая себя за члена Забастовочного комитета, прошел по баракам, всюду говоря, что "мальчишки" и "красные" блокируют его деятельность, что нам надо принять условия генерала (как будто таковые были выдвинуты) и выходить на работу, а завтра он (может быть, вместе со мной) продолжит с генералом переговоры (как будто *после* выхода на работу в этом был какой-либо смысл). Бернадскому не удалось полностью овладеть ситуацией, однако создать *ситуацию раскола* он сумел. Делу забастовки был нанесен смертельный удар.

Так замкнулся круг предательства человека, который вначале упрекал нас – социалистов, за отказ от идеи "восстания", а в конце концов пошел на срыв реальной и серьезной забастовки, имевшей – в конкретной ситуации 1957 года хорошие шансы на успех. Так близорукая "нетерпимость" к точке зрения других, страх и дешевые амбиции подготовили моральное падение и переход на сторону врага. В политике, независимо от масштабов ее, это бывает – увь! – так часто!..

К утру пятого дня забастовки мы утратили свой контроль над лагерем. Наши пикеты на футбольном поле почти распались; осмелевшие надзиратели проникли в зону и уже готовили на этап предполагаемых "зачинщиков" забастовки. Ко мне подошел Бернадский, сказав, что генерал просит нас идти на переговоры с ним. Я отказался наотрез; указывая на группы эков, уныло тянувшихся к производственной зоне, и на другие группы – готовящихся к этапу, указывая на обнаглевших чекистов, я спросил Бернадского: "Вы этого хотели, Василий Анисимович? Чего же стоит ваш "антикоммунизм" и ваша готовность к борьбе?.. И вообще, *сколько она стоит?* Бернадский ничего не ответил и понуро пошел к вахте, где его ждал чекист, посланный генералом...

Вскоре нас – сотни две наиболее "подозрительных" забастовщиков, вывели за ворота лагеря. Мы шли мимо танков и пушек к ожидавшим нас вагонам, которые увезли нас на штрафной лагерь. Один из офицеров, подошедший ко мне в дороге, признался в разговоре со мной, что "забастовкой мы нагнали большого страха". – Однако, – добавил он тут же, – все равно вы ничего бы не сделали...

В последнем он был как будто и прав. В самом деле, что могли сделать две тысячи безоружных людей в центре России против армейской дивизии, против вооруженных охранников, готовых в любую минуту "тряхнуть стариной" и пролить человеческую кровь?.. Но кое-что сделано было... Мы бастовали, мы дали понять, что сознаем свои человеческие

права, что мы не приемлем *их* режима, даже уступая *его силе*... Вот почему наша забастовка стала впоследствии своего рода героическим преданием в рассказах политзаключенных.

Судили за нашу забастовку членов Забастовочного комитета и меня. Наибольшие сроки (4 года) получили я и Лупинос. Больше года находился я под следствием (тем более, что КГБ пыталось попутно "пришить" мне обвинение в "шпионаже"). Когда я вернулся в лагерь (где было уже очень много новых политзаключенных со всех концов Советского Союза) имя мое было окружено настоящей легендой. Меня считали не только руководителем, но и организатором забастовки. Для лагерного начальства я стал жупелом нежелательного и опасного "подстрекателя к беспорядкам..."

Теперь все это – уже история... Можно говорить без обиняков о том, что я не был *организатором* забастовки: она вспыхнула совершенно стихийно. Но я горжусь – и думаю, не без оснований, – что руководил ею и, несмотря на ошибки, в целом руководил успешно (во всяком случае, человеческая кровь не пролилась, и мы *уступили* в борьбе, а не *отступили* в ходе ее). Горжусь я и тем, что стал – благодаря своей популярности среди политзаключенных – фигурой, которая в глазах КГБ заслуживала быть объектом провокаций со стороны чекистов с целью подорвать мой авторитет как оппозиционного "лидера". (КГБ провело против меня целую "операцию" прямо-таки детективного свойства, но... это уже другая история).

Сейчас же, заканчивая этот очерк, я могу лишь выразить надежду, что воспоминание об одном из эпизодов в летописи антисоветского революционного движения эпохи 50-х годов нашего века окажется небезынтесным человеческим документом для будущего историка России. Конечно, это лишь эпизод, штрих недавнего былого, но – кто знает? – может в этом – и заявка на будущее? Та заявка, которая красит не только в минор мои воспоминания о пяти жарких сентябрьских днях потьминской осени 1957 года.

Дополнение от автора:

Статья "Жаркие дни Потьмы" была написана мною после выезда из Советского Союза в 1975 году. Естественным было желание поскорее отдать ее в печать. Не менее естественной казалась мне убежденность в том, что рассказ о политической забастовке 1957 года, несмотря на сравнительную давность этого события, встретит положительный прием в русской зарубежной прессе.

Руководствуясь этими соображениями, я послал статью "Жаркие дни Потьмы" в газету "Новое Русское Слово". Ни публикации статьи,

ни какого-либо ответа не последовало. Вторую попытку я предпринял спустя несколько месяцев, послав статью в журнал "Грани". Тот же результат.

Чем это вызвано? Как объяснить тот факт, что важное событие в истории демократического движения в СССР, почти неизвестное на Западе, не вызвало интереса у редакторов таких солидных изданий, как газета "Новое Русское Слово" и журнал "Грани". Ведь, скажем прямо, порой на их страницах публикуются, занимая немало места, куда менее важные по сути своей материалы!

Для меня самого ответом в определенной степени является то недоброжелательство, с которым я столкнулся среди части эмигрантов, наивно поверивших в распространяемые КГБ басни о моем, якобы, "шпионаже". При этом КГБ и люди, поддерживающие гэбистские инсинуации, использовали некоторые события прошлого, приписывая мне действия и побуждения, которые должны были набросить тень на меня. Мотивы КГБ понятны: я достаточно много "насолил" этой организации еще со времен моей юности, не говоря уж о моем "скандальном" отказе от советского гражданства по политическим мотивам в 1974 году. Мотивы людей, распространяющих здесь, на Западе, провокационные слухи, понять труднее, ибо в этом случае диапазон побуждений очень широк: от простого неведения до сознательного желания унять "слишком прыткого" и не примыкающего к какой-либо устоявшейся в Зарубежье "касте" эмигранта. К слову сказать, на Западе я с ужасом убедился в том, что КГБ понимает русскую эмиграцию куда лучше, чем русская эмиграция понимает КГБ. Печальный, но – увьи! – реалистичный вывод!

И все-таки позволительно задаться вопросом. Ну, хорошо, допустим, автор этих строк кажется кому-то здесь "подозрительным"; допустим, к нему кто-то считает нужным относиться не слишком приветливо. Разве от этого уменьшается ценность и значимость события, которое, право же, и ценно и **значимо** для антикоммунистического и демократического дела? Разве кто-нибудь, кроме данного человека, уже рассказал печатно о том, что должно быть, наконец, печатно рассказано? Разве должна быть навсегда забыта политическая забастовка тысяч людей, имевшая место в стране, где каждая забастовка – подвиг, лишь потому, что ее лидер впоследствии кому-то и чем-то "не угодил"? Разве?.. Впрочем, эти вопросы можно ой как еще умножить...

Дело, к сожалению, заключается в том, что в русской зарубежной прессе существует незримая, но достаточно сильная цензура, определяемая соображениями групповщины и кастовости. Как бы ни опровергали это обстоятельство иные газетные авторы, оно является фактом, который подтверждается и рознью между различными "волнами" эмиграции, и подменой принципиальности борьбой ущем-

ленных самолюбий, и случаями конкретных несправедливостей в отношении новых эмигрантов (бывает, что и "старых", но почему-либо не угодивших той или иной "касте").

В свете всего сказанного я хочу выразить удовлетворение тем, что журнал "Современник", стремящийся избежать капкана "групповщины", желающий содействовать всем истинным антикоммунистам и демократам, всем литературно талантливым людям, сделал возможным довести до сознания русских читателей историю Потьминской забастовки 1957 года. Не сомневаюсь, что данная публикация принесет пользу каждому, изучающему историю оппозиционного движения в СССР, историю ГУЛага новейшего – послесталинского – времени.



Слева направо: А.Гидони, В.Бернадский, В.Лазарянец (один из активных участников сентябрьской забастовки). Лето 1957 года. Потьма. (Фото из архива Александра Гидони).

Одновременно я пользуюсь этим случаем, чтобы напомнить всем русским в изгнании (а также украинцам) о судьбе такого стойкого и многолетне страдающего борца за свободу, каким является АНАТОЛИЙ ЛУПИНОС – председатель Забастовочного комитета во время нашей Потьминской забастовки. Он до сих пор томится в заключении, находясь в Днепропетровской "психушке" (об этом писали академик Сахаров, Леонид Плющ и другие). Содействовать кампании протестов и требований освободить АНАТОЛИЯ ЛУПИНОСА – наш долг.

Пусть же рассказ о забастовке 1957 года будет содействием в реализации этого долга.

Александр ГИДОНИ .



В издательстве "Современник" в начале будущего года выйдет в свет брошюра АЛЕКСАНДРА ГИДОНИ "СИНКРОДУАЛИЗМ".

Автор – профессиональный историк – развивает оригинальную концепцию философии истории, в частности, теорию прогресса, противостоящую механистическим и марксистским истолкованиям исторических явлений. Подчеркивая момент синкретичности, присущий истории в целом, Александр Гидони вводит понятие "дуалистической координации", которое позволяет лучше понять столкновение противоборствующих и дуалистических процессов. В то же время, по словам автора, его синкродуализм – "это теория, которая не хочет быть теорией", поскольку прежде всего синкродуализм "пытается создать определенный дух исследования, способный стимулировать историка работать именно в данной технике, в данном ключе исторической методологии". Как подчеркивает А.Гидони, "синкродуализм определен пафосом веры в Бога и в Божественную предначертанность судьбы Человека, пафосом борьбы против антигуманистических и атеистических интерпретаций истории".

Историко-философский очерк Александра Гидони "Синкродуализм" – интересное и самобытное явление в сфере исторической мысли.

Об условиях распространения брошюры "СИНКРОДУАЛИЗМ" будет объявлено особо.

А. ВЕЛИЧКОВСКИЙ

* * *

На улице дождик выпал,
От зеркальности карет,
От зеркальных листьев липы –
Блещет розовый рассвет.
Кто сказал, что жизни прежней
Невозможно изменить?
В мире прошлого безбрежном –
Можно все переменить.
В настоящем дело хуже:
Измени-ка в этот час –
Ослепительные лужи,
Тучки дымчатый топаз.

* * *

Не может быть, чтоб сердце билось,
Ни дать ни взять – само собой,
Не в этом молоточке сила.
Потрогай грудь мою рукой –
Ты чувствуешь, как бьется бойко
Оно, скучая о былом,
Не молоток стучит в постройке,
Стучит Строитель молотком.

Проф. ВЛАДИМИР СЕДУРО

СОЛЖЕНИЦЫН И ТРАДИЦИИ ПОЛИФОНИЧЕСКОГО
РОМАНА ДОСТОЕВСКОГО.

(Окончание. Начало в книгах 32 и 33-34).

Внимание Солженицына как писателя к внутреннему миру человека, изображение и самораскрытие его во внутреннем диалоге, споре с другими точками зрения, проявляется в огромном количестве человеческих характеров в романах "В круге первом", "Раковый корпус", "Август Четырнадцатого". Для Солженицына, как и для Достоевского, типичнейшей группой являются расколотые голоса, открытые реплики которых отвечают на скрытые реплики другого голоса в нем самом. Так, противопоставляются, например, голоса инженера-полковника Антона Николаевича Яконова и его невесты Агнии. Находясь на вершине видимой власти, в высоких чинах самого могущественного министерства, ценимый за ум и талант, Яконов, однако, ощутил себя особенно несчастным, когда он стоял холодным декабрьским утром, припав к мертвым камням разрушенной церкви Иоанна Предтечи в Москве. Вспоминалась Агния, его бывшая невеста, как живой упрек, олицетворение всего духовного, от чего он отрекся ради карьеры. Высшее восхищение, экстаз и поэзия моления, красота русского православия, красота самого места той церкви, внезапно нахлынули на высокого советского вельможу и обвеяли его душу сладостью забытых ощущений уходящего прошлого. Хрупкая идеалистка Агния, всегда, по семейной традиции, принимающая сторону гонимых, теперь прямым укором совести заговорила в нем его подавленным, ушедшим глубоко в подполье, на дно его души, голосом и явила этого героя читателю во всей трагической сущности.

Другой неискорененный голос человеческой потребности помочь человеку в беде, вопреки риску собственной гибели, заговорил в государственном советнике второго ранга, подполковнике дипломатической службы Иннокентие Володине, когда он решился предупредить доктора Доброумова об угрожающей тому провокации со стороны госбезопасности. Наличие в молодом заключенном Ростиславе Доронине, несмотря на советское воспитание в духе доносительства как, якобы, "патриотического долга", второго голоса, заставляет

его разоблачить осведомителей майора Шикина. Товарищам по заключению в шарашке он рассказывает об Иудиной печати – недостающих тридцати гривенниках в переводах, получаемых стукачами за их предательскую службу.

Человеческое побеждает каннибальское у большинства героев Солженицына, хотя к этой победе человек часто подходит трудными путями, в процессе упорного противоборства противоречащих в нем голосов. Чисто человеческой честности и принципиальности у Льва Григорьевича Рубина нелегко преодолеть взращиваемой в нем с раннего возраста доктрины марксизма и слепой веры в социализм. Свободный от какой-либо доктрины и вечно ищущий, симпатичный герой Глеб Викентьевич Нержин душой учуял в Рубине сердечную чистоту и вступает с ним в дружеское общение. Сквозь весь роман "В круге первом" проходит образ Нержина, являясь связующим его звеном, равно как и место действия романа – шарашка, частично Москва за пределами лагерной тюрьмы. Нержин вступает в диалогическое общение со всеми действующими лицами романа, он разговаривает, спорит или выслушивает и Рубина, и Сологдина, и Бобынина, и Потапова, и начальника института Яконова, и старшего лейтенанта Шустермана, и художника Кондрашева-Иванова, и майора Шикина, и дворника Спиридона и многих других.

Подобно Пьеру Безухову Льва Толстого, Нержин ищет философского смысла жизни и почти находит его у крестьянина Спиридона, сложная жизнь которого явилась благодатным материалом для проверки толстовской истины, что в мире нет правых и нет виноватых. Простоту и силу решения он находит в народной мудрости, высказанной Спиридоном: "Волкодав – прав, людоед – нет". Так Спиридон становится для Нержина современным Платоном Каратаевым. Но этому предшествовали длительные собеседования Нержина с Егором Даниловичем Спиридоновым, трудно поддающимся на диалог, долго видевшим в попытках разговаривать с ним подвох. Но постепенно проявляя и выражая свой особый внутренний мир, Спиридон раскрывался в своей мудрой самобытности, и занял прочное место в душе искателя истины народолюбца Нержина. Давая в своей душе место чужому сознанию, народному миропониманию, Нержин таким образом тем успешнее пребывает к самому себе, находит свое кредо жизни.

Как у Достоевского, слову героев Солженицына в силу его внутреннедиалогической установки свойственно стремление обращенности к другому слову, воплощенному личностью, к носителю слова. Оно не может существовать вне этой обращенности, диалогической конвергенции с другими голосами. Отсутствие такой возможности порождает кризис самосознания героя. Ярким примером кризисного само сознания в силу ограничений обращенности слова служит образ Алексея Филиппыча Шулубина в повести "Раковый корпус".

Активный участник революции, позже – профессор марксистской

философии, замолчал, как только начались массовые преследования инакомыслящих. Он двадцать пять лет жил под небом страха. Молчание стало для него основным средством сохранения жизни и семьи. Четверть века прожил человек с невыносимым грузом внутри, kloкочущим в нем возмущением содеянным вокруг него, но он соглашался и молчал. Это было нелегкое молчание, подобное трагизму оторванных от родных и близких и сосланных на каторгу людей. Это молчание было равносильно погребению заживо. Шулубин и теперь еще молчит в далеком городе Коканде, где он волею судьбы очутился после Москвы. И заговорил только с Костоготовым наедине в больничном саду на скамейке, под воздействием последнего для него солнца, за три дня до операции, из-под которой он не надеется вернуться к жизни. "...В Коканде я этого не скажу! на работе не скажу! А то, что вам сейчас говорю – это потому, что столик операционный мне уже подкатывают! И то бы при третьем не стал! Не стал бы! Вот как. Вот куда меня приперли... А я кончил сельскохозяйственную академию. Я еще кончил высшие курсы истмата-диамата. Я читал лекции по нескольким специальностям – это все в Москве. Но начали падать дубы. В сельхозакадемии пал Муралов. Профессоров заматали десятками. Надо было признать ошибки? Я их признал! Надо было отречься? Я отрекался! Какой-то процент ведь уцелел же? Так вот я попал в этот процент. Я ушел в чистую биологию – нашел себе тихую гавань!.. Но началась чистка и там, да какая! Прометали кафедры биофаков. Надо было оставить лекции? – хорошо, я их оставил. Я ушел ассистировать, я согласен быть маленьким!.." (31).

И этот старый большевик, партиец с 1917 года, свое бесконечно-покладистое молчание рассматривает как показатель того, как в народе за краткий период истории спала общественная энергия, исчезают импульсы доблести, перерождаясь в импульсы трусости.

И это произошло не только с обыкновенными рядовыми людьми, но и с такими, как он сам, которые когда-то в революции не берегли своей жизни и готовы были умереть за нее. Люди покорились идолам страха, весь свой век пробоялись. И не потому, что во все это крепко верили или ничего вокруг глубоко не понимали... С сильным чувством возмущения Шулубин позволил, наконец, излиться своему наболевшему:

"– То все профессора, все инженеры стали вредителями, а он – верит? То лучшие комдивы гражданской войны – немецко-японские шпионы, а он – верит? То вся ленинская гвардия – лютые перерожденцы, а он – верит? То все его друзья и знакомые – враги народа, а он – верит? То миллионы русских солдат изменили родине – а он все верит? То целые народы от стариков до младенцев срезают под корень – а он все верит? Так сам-то он кто, простите, – дурак?! Но неужели ж весь народ из дураков состоит? – вы меня извините! Народ

умен – да жить хочет. У больших народов такой закон: все пережить и остаться!" (32).

Шулубин из революционера-романтика перерождается, подобно большинству, в молчаливого соучастника всех преступлений правящей партии. Но в душе его никогда не угасает искра стремления к справедливому обществу; в нем живет вера в нравственный социализм, основанный на расположении человека к человеку и взаимной любви, как антитезе культивируемой ненависти. Только выговорившись, открывшись Костоглотову, Шулубин стал полноценным характером и вошел в повесть как значительный, оригинальный, мыслящий персонаж, пополнивший собою таких раскрывшихся через нескончаемый диалог характеров, как Олег Костоглотов, Павел Русанов, Людмила Донцова, Вера Гангарт, Зоя, супруги Кадмины, Ефрем Поддубов, Максим Чалый, Фридрих Федерату, Авиета, Вадим, Демка, Ася, Лев Леонидович и другие.

Диалогически скрепявая сознания своих героев, Солженицын постигает осколки Мирового духа в человеке, усматривает в нем красоту человеческого, как отражения Божьего лика в нем. Вечность, зароненная в Костоглотова, сказала не только в его борьбе за правду и истину в течение двухмесячного пребывания в раковом корпусе больницы, но и в способности по новому воспринять мир. Только через страдания, унижения и оскорбления человек способен ощутить момент рождения нового мира, пережитый Костоглотовым в день его выхода из больницы:

"Он выступил на крылечко и остановился. Он вздохнул – это был молодой воздух, еще ничем не всколыхнутый, не замутненный! Он вздохнул – это был молодой зеленеющий мир! Он поднял голову выше – небо развевалось розовым от вставшего где-то солнца. Он поднял голову еще выше – веретенки перистых облаков кропотливой, многовековой выделки были натянуты через все небо – лишь на несколько минут, пока расплывутся, лишь для немногих, запрокинувших головы, может быть – для одного Олега Костоглотова во всем городе.

А через вырезку, кружева, перышки, пену этих облаков – плыла еще хорошо видная, сверкающая, фигурная ладья ущербленного месяца.

Это было утро творения! Мир сотворился снова, для одного того, чтобы вернуться Олегу: иди! живи!" (33).

Глава "Первый день творения" в "Раковом корпусе" едва ли не самая поэтичная, выражающая веру в жизнь, как выразили жажду жизни слова Ивана Карамазова о голубом небе и клейких весенних листочках в разговоре с Алешей в третьей главе "Братья знакомятся" пятой книги "Братьев Карамазовых". Костоглотов, идущий по утреннему городу в поисках цветущего урюка и ощущающий себя свободным и счастливым человеком, как бы выраввшимся из пасти самой

смерти, излечившийся от рака, напоминает Алешу Карамазова в главе "Кана Галилейская". Вот соответствующее место из Достоевского:

"Он не остановился и на крылечке, но быстро сошел вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю.

Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и испуганно клялся любить ее, любить во веки веков. "Облей землю слезами радости твоя и люби сии слезы твои..." – прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и "не стыдился испуганно сего." Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, "соприкасаясь мирам иным". Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся, а "за меня и другие простят", – прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и на веки веков".(32)

Как с Алешей, павшим на землю слабым, а вставшим твердым на всю жизнь бойцом, с Костоготовым происходит то же чудо Каны Галилейской: лишенный всего в жизни, переживший угрозу смерти, сосланный навечно в Среднюю Азию, по выходе из раковой больницы он чувствует себя самым свободным человеком. Мир засиял ему новыми, невиданными доселе красками и засверкал той чистотой, увидеть которую дано только чистым душам. Мир как бы "остранился" для него, употребляя термин формалиста Виктора Шкловского. Поэтому так искренно звучит его обращение к детям под впечатлением виденного в зоопарке объявления о бессмысленной жестокости злого человека, сыпнувшего обезьяне табака в глаза. "Дети, не растите злыми! Дети! не губите беззащитных!" Желтые же глаза хищника-тигра вызвали у него – в силу сравнения со Сталиным – чувство неприязни. И какое умиление зато вызывала в нем своими крупными доверчивыми глазами стройная антилопа! Чудо духовности расцветало в нем на почве преображенной человечности.

Таким образом, Солженицын, как и Достоевский, ставит человека в исключительные положения, которые способствуют раскрытию в нем извечных человеческих черт, "человека в человеке", говоря словами Достоевского. Судьба столкнула Костоглотова в то утро творения мира с чудом природы, которое могло быть прочувствовано только человеком, освобожденным от всех ограничивающих человеческую сущность категорий социальной, политической, служебной, родственной, семейной, классовой, кастовой, культурной жизни. Это уже вечный человек, и автор только испытывает и проверяет трудными, исключительными обстоятельствами идею человека как человека. Жанр полифонического романа предоставляет Солженицыну идеальную возможность для такого экспериментирования в смысле постижения самых глубинных сторон человеческой души.

Наследуя лучшим чертам писателя-человековеда и участь у Достоевского искусству большого многопланового романа, Солженицын в состоянии проникнуть не только в души своих современников – он проявил исключительную способность войти в мир персонажей, удаленных от него во времени. Образ молящегося и в молитве находящего просветление генерала Самсонова в романе "Август Четырнадцатого" поражает своей художественной проникновенностью; звучит настоящим открытием словесного искусства. Лучшего свидетельства таланта, самим Богом призванного, и не требуется.

Солженицын, подобно Достоевскому, вобрал в себя страдания и горести людей своего времени и тем подготовил себя к пониманию и глубокому проникновению в духовный мир людей других эпох. Оттого все персонажи романов этого писателя так убедительны. Он раскрывает нам те же тайны человека, которым посвятил свою жизнь автор Раскольников и Карамазовых. Но как наш современник, Солженицын обогащает полифонический роман типа Достоевского новым мироощущением XX-го века и вводит в орбиту своего творческого внимания опыт, страдания и раздумья человека нашей усложнившейся и ожесточившейся эпохи.

Поэтому роман Солженицына является новой и высшей ступенью развития русского и европейского романа. Самим фактом своего существования он отрицает все новейшие теории антиромана. Чудо явления Солженицына является чудом восстановления и дальнейшего развития романического жанра на основе здоровых и обогащающих традиций искусства полифонического романа Достоевского. В их обновлении и продолжении заключается выдающаяся роль Солженицына как писателя.

Примечания:

1. Simon Karlinsky. A new Departure for a Master. The New York Book Review, September 10, 1972, Section 7, p.49.
2. А.Солженицын. Собрание сочинений в шести томах. Т.4. Франкфурт на Майне, "Посев", 1970, стр. 533.
3. Там же, стр. 773.
4. Там же, стр. 798.
5. А.Солженицын. Нобелевская лекция. – "Русская Мысль", 7 сентября 1972 г.
6. "Один день у Александра Исаевича Солженицына". Интервью словацкого журналиста Павла Личко. – "Новое Русское Слово", 2 июля 1967 г.
7. Philip Rahv. In Dubious Battle. August 1914 by Alexander Solzhenitsyn. The New York Review of Books, Oct. 5, 1972, pp. 13-15.
8. А.Солженицын. Собр. соч., Т.3, стр. 123.
9. Там же, стр. 125.
10. Там же, стр. 129.
11. Там же, стр. 130.
12. Там же, стр. 130.
13. Там же.
14. Там же, стр. 131.
15. Там же.
16. Там же, стр. 132.
17. Там же, стр. 135.
18. Там же.
19. Там же, стр. 134.
20. Там же, стр. 143.
21. Там же.
22. Там же, стр. 146.
23. Там же, стр. 147.
24. Там же, стр. 153-154.
25. Там же, стр. 157.
26. Там же.
27. Там же, стр. 158.
28. А.Солженицын. Собр. соч., Т.2, стр. 475.
29. Там же, стр. 485-486.
30. Там же, стр. 481.
31. Там же, стр. 536.
32. Ф.М.Достоевский. Собрание сочинений в 10 томах. Т.9. М., 1958, стр. 452.

ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Я не люблю писать стихи,
Я не хочу писать стихи,
Хоть и бессонна ночь:

Слова – покорны и тихи –
Как воробьи из-под стрехи,
Метнутся тут же прочь.

И не унять тогда тоски,
Шершаво-тяжкой, как доски,
Привезенной на гроб.

А тени смутного "вчера"
Вкруг хороводят до утра,
К заре исчезнуть чтоб.

И на листе найдет рассвет
Кривых писаний странный след
Как заговор "Аминь!" ...

Но все ж пройдет немало лет,
Мне по пятам идя вослед
В рассветно-хладну синь,

Пока, прохладно и слегка,
Меня коснется *Та* рука –
Спасет и защитит.

И будет смерть моя легка
Как перистые облака,
Куда душа взлетит.

Торонто.

* * *

Словно вербный пух — далеки, легки,
Мои юношеские стихи.
Мои первые, мои смелые,
Робко-нежные, неумелые.

Цвели вёсны мои
абрикосами,
Терпкий Терек рыжел
под откосами,
Заливалась маками
под Моздоком степь —
Словно зайчик солнечный,
возникла песнь.

Все так складно виделось:
Жизнь, как горы, высилась
И бежала тропкою,
Радостно-торопкою,
Пропадала, длинная,
За семью вершинами...

Но не стала, горная,
Мне дорогой торною.
А, грозя обвалами,
Там, за перевалами,
Убежала за море
И покрылась маревом...

Лишь осталась мне песня грустная,
Песня нежная,
песня русская.
Словно вербный пух —
так свежа, легка,
Как заря в горах —
звездно-высока.

1977г.
Торонто.

"ЖЕЛТОВОЛОСЫЙ ОТРОК"

Элементы детскости в жизни и творчестве Сергея Есенина.

Прошло более полувека со дня смерти Есенина. Как в старинном романсе – "годы промчались и страсти утикли..." И литературное наследие Есенина, и его личность – уже достояние истории литературы. Его несомненно яркое явление в русской поэзии заслуживает и внимания, и беспристрастного анализа. Историк-аналитик вправе приступить к этой теме. Очень может быть, что выводы из этого анализа будут неприятны все еще многочисленным почитателям Есенина, окружившим его имя как бы неприкосновенным авторитетом и пиететом. Однако – "Платон друг, но истина дороже Платона", как говорил его ученик, друг и оппонент Аристотель.

Именно противоречивость, даже в современных нам впечатлениях о поэте, заставляет задуматься аналитика: в чем здесь дело? В чем заключается тот основной и глубинный психологический фактор, который определил собой полные противоречий и жизнь и творчество Есенина и, таким образом, вызывал противоречивые оценки и того и другого? Почему Есенин устроил свою жизнь именно так – с трагическим концом? Был ли этот конец неизбежен? Повидимому, да. Ведь еще в самом начале были стихи "На рукаве своем повешусь" и "Я пришел на эту землю, чтоб скорей ее покинуть..." Чуткое ухо слышит что-то неблагоприятное в самых ранних, еще как будто совсем "благополучных" стихах Есенина.

Значит, какой-то глубинный фактор уже находился в действии, сознательно или, вернее всего, подсознательно.

Попробуем выяснить его.

Если вы видели астрологические гороскопы, то вы знаете, что они представляют собой круг, т.е. небесную эклиптику, разделенную на неравные секторы – т.н. "дома". Астрология утверждает, что каждый дом, в зависимости от знаков и планет, находящихся в нем, влияет на судьбу человека, увеличивая вероятность тех или иных событий. Первый дом – сектор, восходящий из-под черты горизонта в самый момент рождения человека, называется асцендентом и заключает в себе определение основы характера человека: будет ли он, например, активным борцом или пассивным страдальцем. Вот в этом

астрологи совершенно правы: именно глубинная основа характера предопределяет всю будущую судьбу человека. "Каждый человек – кузнец своего счастья" – говорит пословица. Поправим эту пословицу: скорее всего, именно кузнец своего несчастья.

Попробуем же выяснить этот асцендент в душевном как бы гороскопе Есенина.

Господствует мнение, что в трагической судьбе Есенина была виновата коммунистическая партия, систематически уничтожавшая дорогой сердцу Есенина патриархальный крестьянский уклад. Споры нет – коммунисты ответственны за трагическую гибель очень многих поэтов и не поэтов, уничтожая их прямо. Но в случае Есенина человек губил сам себя. (В случае Есенина, в конце жизни последнего, власть терпела его такие выходки, которые стоили бы головы всякому другому).

Может быть, нечто сходное в смысле самоуничтожения произошло с Блоком: сильный интеллект может разрушить себя и своего носителя – тело, как ядом, одной мысленной концентрацией на своем душевном банкротстве. Вспомним, что А.К.Толстой влагает в уста царя Бориса слова: "Иль мните вы, бессильна скорбь одна разрушить плоть?.."

И поведение в жизни, и стихи Есенина убеждают нас в том, что в душе поэта такой фактор гнезвился, предопределив в сильной степени его судьбу (при стечении внешних обстоятельств, от поэта уже не зависящих). Этот дисгармонирующий фактор своим действием и привлекал к Есенину, и отталкивал от него. При наличии песенного дара такая дисгармония находит свое выражение в поэзии, и такая поэзия действует на читателя особенно убедительно – и в направлении выражения красоты, и безобразия. Может быть, здесь следует провести некоторую параллель с музыкой и личностью Чайковского.

У Есенина были и страстные поклонники, и яростные противники. Был Есенин приемлемым и неприемлемым. Но в стихах его яростного противника Бунина есть строчка: "...засинела даль воспоминаний", и теперь, в этой дали, мы можем беспристрастно разобраться в том сложном психологическом явлении, имя которому – Сергей Есенин.

Бесспорно, одно время он был "властителем дум" своего, да, пожалуй, и следующего поколения. Разберемся же в этом литературно-психологическом явлении "властителя дум".

В истории русской поэзии таковых можно насчитать четырех, начиная с рубежа нашего и прошлого столетий. Это – поэты Надсон, Бальмонт, Игорь Северянин и Сергей Есенин. Почему мы начинаем счет с рубежа столетий, а не с начала девятнадцатого века с его именами, – именами гораздо более значительными, чем вышеупомянутые "властители"? Ответ будет очень простым: массы. Именно

к рубежу столетий в России образовалась массовость читателя. Пушкина и Лермонтова читали избранные, и не так уж многие избранные. Но к рубежу столетий возросла и численность населения, и грамотность, и повысился общий читательский уровень. В последней четверти девятнадцатого века сильно возросла в числе т.н. "трудовая интеллигенция". Выразителем ее "благих порывов" и сочувствия "обездоленному младшему брату" и был Надсон (умер в 1887 году). Увы, как мастер стиха он был не "по хорошу мил, а по милу хорош".

К концу девятнадцатого века настроение читательской массы несколько изменилось. С Запада пришло веянье эстетизма: рядовой читатель вдруг сообразил, что поэтическое слово должно быть не только "святым и честным", но и красивым. И вот к самому концу века он услышал от Бальмонта:

"Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется
Чуждый чарам черный челн."

Так еще никто до Бальмонта не писал – в смысле формы (хотя этот "чуждый чистым чарам счастья челн томленья, челн тревог" был в сильной степени переложением лермонтовского "Паруса"). Но так или иначе, долгое время стихи Бальмонта были очень популярны. Эстетизм поэта не мешал его очень левым убеждениям: Бальмонту пришлось даже на время эмигрировать. Но это в глазах либеральной интеллигенции только увеличивало его популярность. Погубил эту популярность сам Бальмонт, устремившийся в самую невероятную графоманию на фольклорно-лингвистические темы и став совершенно неприемлемо-скучным для читателя.

Да и массовый читатель тоже изменился: к читающей массе трудовой интеллигенции добавилась масса субинтеллигенции. Этот читатель краем уха нахватался и эстетизма, и "шикарной моды", и популярных сведений о техническом прогрессе в последние "хорошие годы" перед Первой Мировой войной. И этот читатель с упоением повторял стихи Игоря Северянина о "грезэрках" "в шумном платье муаровом". Тут были внове и "бразильские крейсера", и "дворцы двенадцатизэтажные, по принцессе в каждом этаже"... Гумилев так охарактеризовал поклонников Северянина в своей рецензии на один из сборников последнего: "Эти читатели говорят о любви с парикмахерами и о бриллиантине с возлюбленными". Но этот конфетно-красивый (или лучше сказать – украсивленный) мир залила кровью война, а потом революция. Блок немного рано – лет за десять – уронил определение: "Мы, дети страшных лет России..." – но страшные годы настали с 1914-го года и далее. Некоторые историки прямо утверждают, что XX век начался с августа 1914-го года.

И вот тогда, в самые первые годы войны, в Петрограде, некий желтоволосый молодой человек встретился с поэтами Серебряного

Века: Блоком, Сергеем Городецким и Николаем Клюевым. Он выступал в шелковой русской рубашке с колосьями и бумажными васильками в руках – дешевой бутафорией, которую ему устраивал сам конфетно-пряничный Городецкий. Но, несмотря на все безвкусице такой бутафории, стихи этого "желтоволосого отрока" производили сильное впечатление своей свежестью и отсутствием готовой, стандартной литературности. Даже императрице был представлен этот отрок – Сергей Есенин. Императрица сказала, что стихи его "красивы, но печальны".

Настоящий поэт всегда напоминает сейсмограф: в красивых и совсем еще не трагичных ранних стихах Есенина можно уловить нотку какой-то обреченности – в ней же слышен голос обреченных поколений России. Личная драма Есенина общеизвестна: жестокое разочарование последовало за кратким очарованием. Здесь нельзя винить Есенина в недалёковидности или политической близорукости. Ведь и его петербургские менторы – и Клюев, и Городецкий, и сам Блок – тоже сначала "очаровались" революцией.

Но Блок очень скоро увидел, что революция вовсе не та "Прекрасная Дама", о которой писались стихи, а нечто гораздо худшее. В бреду он просил, умирая, умирая, уничтожить свою поэму "Двенадцать". (Георгий Иванов. Петербургские зимы. 1950, Изд-во им. Чехова, стр. 210-211). Клюев кончил жизнь в ссылке. Только Городецкий сумел "приспособиться" и даже был принят в партию. Как кончил Есенин – известно. На одного приспособившегося было много обреченных. Есенин стал одним из таких: из попытки "задрать штаны, бежать за комсомолом" – ничего не вышло. Это создало Есенину его резонанс в современных ему поколениях. Но только почему же он – если все равно впереди была гибель – не выбрал гибели почетной – гибели Гумилева? Смерть Гумилева была ненужной, бесцельной бравадой, но это была гибель героя. Есенин же медленно доводил себя до самоубийства алкоголем. В чем он может быть противопоставлен волевой личности Гумилева? Выше был упомянут тип "активного бойца" – в асценденте. Таким бойцом был (или хотел быть) Гумилев. А что было у Есенина, если не в астрологическом гороскопе, то в "душевном"? Вспомним очень частый мотив самоубийства детей: "чтобы потом пожалели"... И вот тут и спрятан ключ к пониманию натуры Есенина, которая вызывала и принятие его, и резкое отталкивание – из-за искажения того прекрасного, что было в Есенине.

В краткой характеристике "властителей дум" каждого поколения, которую мы сделали, не существует на первый взгляд ничего общего. Но так ли это?

Оставим пока в стороне Надсона: и умер он чуть не сто лет назад, и на всю его короткую жизнь наложила отпечаток чахотка, и личность его была светлой и привлекательной, да и во властители

дум он попал чуть ли не после своей смерти. Но вот в личностях и Бальмонта, и Северянина, и Есенина есть некоторые общие характерные черты, и эти черты, как в фокусе, усиливаются в Есенине.

Прежде всего, как поэты, хотя и не равноценные, они характерны певучестью стиха. Объединяет их и эстетизм – ведь ранние, еще не трагические, стихи Есенина говорят о "красивости" деревенской Руси.

Эти поэты также несомненные мастера слова – каждый в своем роде. Каждый из них – плоть от плоти и кость от кости поколения своих читателей и почитателей, чему на примере Бальмонта существует доказательство от противного: как только эстетствующий либеральный интеллигент стал буквоедом-лингвистом, он сразу потерял своего читателя!

Это были все общие положительные черты. А нет ли отрицательных? Тоже общих?

Хлестаков говорит о себе: "У меня в мыслях легкость необыкновенная!" Житейское легкомыслие Бальмонта и Северянина было proverbiallyм среди современников. Легкомыслие Есенина достигло в его жизни пределов трагических. Особенно ярко оно сказалось в его браках, указывая на какую-то детскую неустойчивость в чувствах.

И Бальмонт, и Северянин ввели в русскую поэзию тему мимолетности – неумения или нежелания сосредоточиться на данном моменте или данном предмете. У Есенина эта мимолетность обращается в безволие, течение по воле волн, в какую-то неорганизованность личности.

Интересно отметить здесь следующее предположительное обобщение: читательская масса не приняла во властители своих дум весьма волевых поэтов: ориентированного на природу, как и Бальмонт, Бунина, эстетизированного, как Северянин, Гумилева и уж совсем крестьянского Клюева. Не то, чтобы эти "волевые" поэты остались совсем без аудитории, но эта аудитория была гораздо уже, чем у "властителей дум". Вернувшись оаять к Надсону, отметим, что его поэзия была тоже только безвольным призывом к благим порывам, а не действенным мятежом. Повидимому, масса сама безвольна и охотно резонирует на такую ноту.

Но безволие личности не мешает ей в ее собственной переоценке самой себя.

При всей неорганизованности своих "я" и Бальмонт, и Северянин, и Есенин давали себе очень высокую оценку.

У Бальмонта очень известное стихотворение так и начинается:

Я изысканность русской медлительной речи.
Предо мною другие поэты – предтечи...

Игорь Северянин был несколько более определенным:

Я, гений, Игорь Северянин...

И вполне убежденный в правоте своего очень неопределенного представления об "Инонии" – иной России – Есенин заявлял:

Так говорит по Библии
Пророк Есенин, Сергей.

Пушкин и Лермонтов были много скромнее: по стихотворению, озаглавленному "Пророк", они, правда, написали, но имели там в виду поэта вообще, и себя только в частности, имен не называя.

У Есенина такая переоценка самого себя переходила и на стихотворное мастерство: так, в письмах к Иванову-Разумнику в 1920 году (т.е. двадцати пяти лет от роду) он называет Блока и Клюева, своих уже достаточно маститых тогда менторов в недавнем прошлом, прямо и определенно плохими поэтами, ставя в пример свой способ пользования неточными рифмами.

Конечно, Есенин своим непосредственным талантом перевернул новую страницу в стихотворной технике, но не всегда его совершенно новая образность достаточно оправдана – есть и весьма произвольные словоупотребления. Блок же как поэт уже не зависит от мастерства, и в этом поспешном суждении Есенина сказалась некоторая поверхность, вполне совпадающая с другими характерными чертами его личности. Но, несомненно, было у Есенина какое-то глубинное видение мира, большею частью очень удачно выраженное на его особом языке. Приведем пример такой органически увиденной и выраженной образности; сначала этот образ может показаться совсем неоправданным:

Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет бнлоснежной...

Почему сумрак кудрявый, почему у него белые руки, почему сумрак ими машет? – Как будто бессмыслица...

Но для деревенского жителя средней полосы (и севера) России должно быть ясно, что здесь описана кудрявая опушка (дальнего – "за горой") леса, заросшая цветущей черемухой, кисти которой развеваются легким ветром. Здесь сказывается Есенин-мастер, который не думает, а видит и рассказывает – что он увидел. А еще скажем, что яркость и непосредственность впечатления очень характерна для ребенка.

Теперь же, уверившись в том, что Есенин находил свои образы большею частью вполне мотивированно, разберем одно четверости-

шие из очень известного стихотворения: "Не бродить, не мять в кустах багряных / Лебеды и не искать следа...". Разберем данные в четвертом катрене образы:

В тихий час, когда заря на крыше,
 Как котенок, моет лапкой рот,
 Говор кроткий о тебе я слышу
 Водяных, поющих с ветром, сот.

Все стихотворение – воспоминание о, может быть, даже и не реальной девушке. Образы стихотворения указывают на обстановку ясного вечера поздним летом или ранней осенью: багряные кусты, заросли лебеды под кустами, вызревший овес, сок спелой ягоды, осыпающиеся зерна. Но сравнение зари с котенком и внезапное упоминание дождя ("водяные соты") не вяжется с этим общим фоном. В меланхолическое воспоминание природы вклинивается описание домашнего уюта: котенок, уютно моющий лапкой рот, тихий говор дождя. Отчего? Что может сказать эта как будто не идущая к делу вставка? Может быть, биографы и отнесут женский образ этого стихотворения к какому-нибудь определенному имени. Судя по тексту, этот образ скорее символический и скомбинированный: то, что в психоаналитике называется "сгущением".

Но в данном случае не это является главным объектом нашего интереса. Самым существенным для нас в этом стихотворении, относимом к 1916 году, являются вот эти, упомянутые выше "не идущие к делу" образы домашнего уюта, и самое начало, с подводящими печальный итог трикратно повторенным отрицанием "не". Это предчувствие конца в каком-то, может быть, недалеком будущем, соединенное с реализацией невозможности и невозвратности этого уюта детства или очень ранней молодости. Отсюда и крыша – может быть, именно дедовского дома, в котором прошло детство Есенина, и котенок на этой крыше, и дождик, кротко шелестящий по этой же крыше. Всюду присутствует, явно или незримо, эта кровля – покров, защита – теперь по-детски беззащитного Есенина. Такое перенесение значимости, эмоциональной важности с одного образа на другой называется в психоаналитике передвижением.

А что касается трагических предчувствий в ранней молодости – то таковые были и у Лермонтова.

Анализ вышеприведенного катрена опять привел нас к тому же выводу: о наличии элемента детскости в психике автора. Но детская психика отличается и непоследовательностью, вытекающей из самого нормального детского эгоизма. Ребёнок – сам беззащитный – не принимает во внимание беззащитности другого существа. Отсюда детская жестокость.

Такая эгоистическая, недумающая жестокость просвечивала в сихике и двух других, упомянутых выше, "властителей дум".

По свидетельству очевидца, писателя С.Р. Минцлова, Бальмонт уговорил мать прижитого им ребенка оставить этого ребенка на произвол судьбы на скамейке парка в Белграде осенью. (Ребенок был взят со скамейки, повидимому, его бабкой). Отношение Северянина к его жене Фелиссе, верно оберегавшей его, тоже оставляло желать лучшего. Жестокость обращения Есенина с Айседорой Дункан достаточно хорошо известна и не требует повторного описания. Во всех трех случаях характерна какая-то детская бездумность в поступках.

И Бальмонт, и Северянин были, повидимому, благожелательно-равнодушны к вопросам религии. Представление о небесном просто как-то выпадало из их слишком привязанного к земле сознания. По всей вероятности, в них сказалась семейная традиция русской интеллигенции второй половины девятнадцатого века оставлять церковь как-то в стороне от жизни в семье. А детские впечатления сильно определяют религиозность или арелигиозность человека, в особенности, если детскость сохраняется в зрелом возрасте и не дает додумать вопросов до конца.

Не так обстояло дело с Есениным. В детстве он был окружен патриархальной крестьянской религиозностью, что и отразилось на его ранних стихах, насыщенных церковными (именно церковными, а не религиозными!) образами:

Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным.
И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримоу Христу.

Это – осень. Как и на протяжении всего творчества, в ранних стихах Есенина природа дается в излюбленных им образах крестьянского быта:

Осень, рыжая кобыла, чешет гриву...

А почему ветер дан в образе схимника? Почему "язвы красные" – кисти рябины принадлежат "незримоу Христу"? В первом из этих образов характерна опять путаница в нужных выражениях, путаница, проистекающая, как видно, из детской неосведомленности в церковных вещах и терминах, связанная с желанием достичь наибольшего впечатления именно зрительной образностью. Дело в том, что, по существу, образ схимника здесь совсем не подходит к обстановке: схима – высший чин монашества; схимники затворяются в своих кельях и не будут на прогулке "мять листву по выступам дорожным". Здесь был бы уместен образ монаха или даже послушника. Повидимому, со-

здалась какая-то метрическая трудность, и Есенин, ничтоже сумняшась, поместил другой, лишь очень приблизительно известный ему образ, конечно, имея ввиду самого себя на месте этого схимника, монаха или послушника (последнее было бы уместнее всего!), мысленно концентрирующегося на церковных картинах – отсюда и "незримый Христос" со зримыми "красными язвами".

Было ли это очень постоянное в стихах религиозное настроение молодого Есенина глубоким? Вряд ли. Это своего рода эстетизм и упор на крестьянский уклад жизни: церковные образы хороши, поскольку они входят в крестьянский уклад: не они, эти образы, оправдывают уклад, а уклад их оправдывает: "Хорошо потому, что наше, крестьянское!" Церковность, вернее, церковные образы создавали часть уюта крестьянского уклада. Потому-то молодой Есенин говорит, что

"...на известку колоколен
Привычно крестится рука..."

Здесь образ ("известка") внешне-зрительный, а чувство, вызываемое им – "привычное", т.е. часть традиции с детства. И Есенин усердно переносит религиозные образы на уют уклада, достигая в этом большой художественности, и на этом основано очарование ранних стихов Есенина.

Но поверхностность, детскость такого настроения сразу выходит наружу, когда он пытается сказать что-то от себя, от своего осмысления духовной подкладки жизни вообще, а не только в формах крестьянского уклада, как, например, в "Песне о хлебе".

В этом стихотворении Есенин утверждает, что жестокость по отношению к растению (тоже форме жизни) – в данном случае при жатве – входит в человека, питающегося хлебом:

И свистят по всей стране, как осень,
Шарлатан, убийца и злодей,
Оттого, что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.

Это интересное по своей теме стихотворение показывает неожиданную интуицию Есенина относительно установленной теперь в самое последнее время чувствительности растений к боли. Но художественное выполнение здесь оставляет желать лучшего. В частности, уборка снопов сравнивается с похоронами, но в очень неудачных образах:

Точно дьякон, на кобылу гаркнув,
Чтит возница погребальный чин.

Помимо чисто художественных и словесных несоответствий, этот образ корбит религиозное чувство – глубоко верующий человек так бы не выразился.

Именно этой поверхностностью религиозности традиционной Есенина объясняется его богоборческое настроение после революции, когда Есенин полагал (да и Клюев тоже), что Ленин будет новым мужицким царем и деревня возблагоденствует в своем старом патриархальном укладе. В "Ионии", полный какой-то ребяческой удалы, он хочет "зубами выщипать бороду" Богу. Это означает, что религию должна заменить новая социальная справедливость – издавна понимаемая в России "мужицкая правда".

Но Есенину приходится убедиться, что

Вот сдавили за шею деревню
Каменные руки шоссе.

За столь же неглубоким богоборчеством наступает пустота глубокого разочарования.

Стыдно мне, что я в Бога верил,
Горько мне, что не верю теперь.

Эти стихи написаны в 1923 году, за два года до смерти.

В своей неустойчивости – плюс-минус – религиозного чувства Есенин резко противоположен своим "взрослым" антиподам: Гумилеву, с его слегка демонстративной, но по-солдатски простой и крепкой верой, Клюеву – мистику-хлысту, и Бунину с его эстетическим пантеизмом.

В Есенине – по данным биографии и по дошедшему до нас творческому материалу – мы видим человека, который как-то по-детски относился к своей жизни, несмотря на несомненный песенный дар. Не забудем, что талант и душевная зрелость могут не совпадать – возьмем случаи вундеркиндов.

Легкомыслие в жизненных вопросах, преувеличенное мнение о себе, несомненная наивная жестокость по отношению к близким людям, поверхностность в вопросах веры, эмоциональная порывистость при полном слабоволии – все это черты есенинского характера. Вспомним также портреты Есенина, сохранявшего мальчишеский облик до самого конца. Это были портреты большого ребенка...

Теперь выяснено, что человеческая личность не является каким-то монолитным душевным образованием, а скорее представляет собой некоторый конгломерат более или менее отдельных полусамостоятельных образований, называемых комплексами. Эти комплексы – как бы плавучие острова чувств, представлений и решений, связанных те-

сными ассоциациями. Эти комплексы, часто называемые рабочими комплексами, полезны тем, что будучи где-то близко под порогом сознания, разгружают внимания собственно личности, "я" человека для совершения каких-либо привычных, полуавтоматических действий, например, езды на велосипеде. Когда человек учится этой езде, то он посвящает ей все свое внимание, вплоть до игнорирования окружающей обстановки; раз научившись ездить, он может думать о чем угодно во время езды: этой работой управляет теперь его рабочий комплекс: "велосипедист". К примеру можно упомянуть про очень распространенную комбинацию двух рабочих комплексов у человека, находящегося на средних ролях на какой-нибудь службе: "начальник" и "подчиненный"; таким же образом во взрослом человек остается еще комплекс: "ребенок". Замечено, что некоторые люди в большой опасности кричат: "Мама!"

Иногда этот комплекс остается в слишком доминирующей форме. Тогда говорится об инфантилизме личности. Инфантильная личность очень впечатлительна, эмоции ее резко выражаются, но не глубоко; обычно такие люди непоследовательны и поверхностны, а суждения их не отличаются логичностью. В них в сильной степени проступают эгоизм и нежелание считаться с интересами или чувствами других; убеждения их определяются не столько разумными доводами, сколько эмоциями.

Итак, все сказанное выше позволяет заключить, что такой строй личности определил судьбу Есенина и что, может быть, где-то в глубине подсознательного у Есенина звучало какое-то предостережение, что добром он не кончит. Когда эта неорганизованная личность нагромодила себе трудно решаемые жизненные задачи, он разрешил их эскапизмом – бегством в алкоголь.

Есенин был ребенком далеко не милым и не примерным. Во многом он от себя отталкивал, а притяжение к нему объяснялось его типичностью для времени и поколения. Два других поэта – тоже "властители дум" – Бальмонт и Северянин, имели такие же черты детскости в своих личностях, и также не в самых лучших проявлениях этой детскости.

Да и про Надсона говорили, что он был большим и милым ребенком и что дети очень охотно играли с ним.

Что же до Есенина, то в одном этот большой ребенок возвел на себя напраслину в стихах своих. Совсем по-детски он хотел казаться более страшным, чем был на самом деле. Он называл свою головушку ножевый и предполагал, что и он "кого-нибудь зарежет под осенний свист". Это все неверно: все-таки рифма "под осенний свист" у него читается: "сердцем чист"...

* * *

Примечание: В основу статьи положен доклад, прочитанный Б.А.Нарциссовым на Симпозиуме о Есенине при Русской Летней Школе Норвичского университета в 1975 году.



БОРИС НАРЦИССОВ

ХЛОРОФОРМ

Я хочу объяснить хлороформ:
Сладковатый бессмысленный шторм
Неожиданных смыслов и форм.
– "Ты пойдешь хвосторогим на корм!"

Этот чортик хвостом верть и верть:
– "Осужден ты на казнюю смерть!
Не уйти тебе от судьбы:
Ух! По скату круженной трубы –
Головленье тебе отрубы!"

Я от страха заплакал,
Я от страха заквакал.
Тут вмешался лиловый оракул:
– "Посадить его попросту на-кол!"

А потом – уж совсем ничего.
Ничего. Только вот и всего.

КАРТЫ

*"Бардадым – трефовый король."
Н.В.Гоголь. Записная книжка.*

*"А я его по усам! А я её по усам!"
Н.В.Гоголь. "Мертвые души".*

Был король Дуродом,
Был король Бардадым,
Короли – Старый Жом
И восточный – Бубным.

Вот по этому самому
Нам заняться бы дамами:
Невпопад ведь ложиться привыкли –
Молодой ли, старик ли...

Вот усатый валет
И большой сердцеед.
Сам он ходит с эмблемою сердца:
"А не хочешь такого вот перца?!"

Загляделась крестовая краля
На его винтовые усы...
– Ну, подумаешь, – нешто украли?
Все на месте остались кусы!

В картах был ералаш:
"А где мой и где ваш?"
Намечался скандал,
По усам кто-то дал.

Но червонный валет
Заметал свой след,
А король Бардадым –
Он напился пьян в дым.



ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ "КОНТИНЕНТА"

Кто не помнит надежд, связанных с возникновением журнала "Континент"? Силы, которые он сгруппировал, финансовая поддержка, которой пользовался, декларации, которые сопутствовали его появлению, — всё это как будто предвещало будущее, если не великое, то уж, во всяком случае, незаурядное. Оправдал ли "Континент" эти ожидания ныне, после вышедших уже более чем десяти номеров, когда можно и подвести определенные итоги, и предъявить какой-то счет в соответствии с былыми заявками? Ответ на этот вопрос неоднозначен: "Континент" является журналом интересным и полезным, но он не превратился в "супержурнал", он не реализовал своих планов величиной с "герценовский размах", более того, его неудачи порой оказывались крупнее, чем аналогичные просчеты, так сказать, "рядовых" журналов русского Зарубежья: "Граней", "Нового Журнала", "Возрождения" и других менее крупных изданий.

И отмечая заслуги "Континента" (каковых вообще-то немало!), нельзя не согласиться в то же время с весьма суровой критикой в его адрес, такой, например, как у Владимира Рудинского в его статье из "Голоса Зарубежья" (№ 4, 1977 г., стр. 37-38).

Не все мысли в обзоре В.Рудинского бесспорны. Очень сомнительны его вкусовые критерии, когда, например, он умудряется такого хорошего писателя-профессионала, как Анатолий Гладилин, поставить ниже явного дилетанта Владимира Марамзина, или же, мельком упомянув А.Галича, И.Бродского и Н.Коржавина — поэтов большого масштаба и дарования, внезапно провозгласить "наиболее настоящим поэтом" ...Лию Владимирову, которую и стихотворцем-то средним признать тяжело. Однако в большинстве случаев к высказываниям В.Рудинского стоит внимательно прислушаться.

Так, очень справедливо критикует он обращение ряда авторов "Континента" к истории, вернее сказать, их *обращение с историей*. В рамках настоящей статьи нас интересует именно этот аспект.

Сама по себе рубрика "История" в журнале объединяет не слишком много материалов. Однако на деле историческая тема представлена в "Континенте" достаточно широко. И надо сказать, что исторические материалы, не претендующие на историко-научный профессионализм, бывают гораздо любопытнее того, что строго предопределено соответствующей журнальной рубрикой. К числу таких материалов мы по праву можем отнести захватывающе интересные мемуары бывшего секретаря Сталина Бориса Бажанова (см. номера 8, 9, 10 "Континента"),

статью Бориса Орлова "Февраль семнадцатого" в канун нэпа" (№ 9), публикацию материала Степана Петриченко "Правда о кронштадтских событиях" (№ 10), мемуары кардинала Миндсенти (№ 1-4), книга Николая Бетелла "Последняя тайна" (о насильственной выдаче русских в 1944-47 гг.), статьи и очерки Франца Варкони-Лебера, Юлиуша Мерошевского, Игнацио Силоне, интервью Йозефа Смирковского и многое другое. Все это – история: давняя и новейшая, скрытая за традициями, легендами и фальсификациями, и нервно пульсирующая острой еще современностью; история молчаливая и кричащая, трагедийная, а иногда и гротескно-смешная, пропущенная через память сердца, через кровь и нервы воспоминания, а зачастую и омытая вполне реальной человеческой кровью. И, конечно, все эти публикации можно занести в актив "Континента".

Однако от общественно-политического журнала, претендующего на эпохальность во всем: от заглавия своего до провозглашенных как принципы своих намерений, мы вправе ждать публикации и чисто исторических (даже в профессиональном смысле) работ, очерков или эссе, которые давали бы сочетание интересной информации с мастерством исторического анализа, красоты историко-литературного письма с концептуальной глубиной обобщений и выводов. Последнее особенно важно, поскольку в нашу эпоху информационной перенасыщенности мы особенно жаждем чего-то большего, чем просто факт или даже элементарный логический вывод из него. Если можно так выразиться, мы томимся *"жаждой концептуальности"*. Удовлетворяет ли эту жажду "Континент"? К сожалению, этого пока не случилось.

Известный эклектизм в подборке исторических материалов, случайность и необязательность того или иного выбора их, не могут не мстить за себя. Чтобы не быть голословными, мы возьмем в качестве объектов нашего рассмотрения две статьи. Первая из них, помещенная в седьмом номере, принадлежит Эдуарду Штейну и озаглавлена со свойственной этому автору высокопарностью: "О "математике" души и "музыке интеллекта" эстонского народа". Вторая статья, напечатанная в девятом и десятом номерах журнала, написана Александром Яновым. Это большой исторический очерк под названием "Комплекс Грозного (Иваниана)."

О статье Э.Штейна, не будь она помещена в "Континенте", всерьез не стоило бы и говорить. Публикация столь дилетантской и слабой во всех отношениях работы – полный провал как автора, ее написавшего, так и редакции, принявшей ее к печати. В.Рудинский подверг статью Штейна справедливому разному, назвав ее "крайне неприятной", "полной ошибок и передержек" и констатируя, что сия статья – просто "словесность", полезная лишь "мировому коммунизму". ("Голос Зарубежья", № 4, стр. 38). Однако аргументация В.Рудинского не вскрывает собственно *исторической слабости* статьи, претендующей на безусловную историческую значимость: ведь как-никак Э.Штейн хочет истолковать

национальный характер целого народа. Что же он предложил читателю в виде такого истолкования?

Прежде всего Э.Штейн конструирует натянутые параллели между эстонцами и евреями. Казалось бы, куда естественней, говоря об эстонском народе, сравнивать его историю с соседними прибалтийскими народностями, поскольку для сравнений в этом плане имеются *прямые* исторические основания. Можно было бы избрать и другой вариант: параллель между эстонцами и финнами как сородичами по этнической принадлежности. Обладая г-н Штейн элементарной исторической методологией, он мог бы избрать этот естественный ход рассуждения. Но он предпочитает выискивать элементы сходства между эстонской и еврейской историей, вдохновленный, видимо, той "глубокой" мыслью, что при желании все на свете можно сравнить между собою. Нам же остается, *сравнив* г-на Штейна с настоящими историками, признать, что он не выдерживает в таком сопоставлении ни малейшей критики.

Легковесность его исторических заключений поразительна. Порою кажется, что он даже не отдает себе отчета, какие странные вензеля выписывает его неряшливая риторика. Вот, например, берется он рассуждать об эстонском эпосе "Калевипоэге" и тут же приходит к выводу, что "освещением исторических процессов "Калевипоэг" превосходит многие эпосы, уступая разве только греческим". С благодарностью принимая исключение, которое сделал г-н Штейн для "греческих эпосов", мы позволим себе заметить, что, во-первых, устанавливать эпическую "табель о рангах" — занятие не очень благодарное, а, во-вторых, чувство меры в оценках должно соблюдаться и в тех случаях, когда эти оценки диктуются чисто комплиментарными соображениями. Вероятно, поняв отчасти, что кривая риторики занесла его далеко в сторону от истины, Э.Штейн решил подкрепить свои оценки "Калевипоэга" сравнением его с финским эпосом "Калевалой". Тут читатель вроде бы может облегченно вздохнуть: наконец-то наш автор вступил на путь естественных, а не натянутых сравнений! Но у г-на Штейна, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров... пусть даже дров *эпических*." Сходство "Калевипоэга" с финским эпосом "Калевала" лишь поверхностное, — вещает он, — отличие же принципиальное: в финский *включены христианские мотивы* (подчеркнуто нами — А.Д.), а в эстонском, более древнем, мы видим только языческие. Таким образом, "Калевипоэг" венчает языческий, независимый период становления Эстонии".

Итак, по Штейну получается, что наибольшая глубина в "освещении исторических процессов" может быть достигнута отсутствием "христианских мотивов". Любопытная апологетика язычества! Мы, по наивности своей христианской, полагаем, что именно *христианское* мировоззрение приносит новую глубину и перспективу в историческое миропонимание и что привнесение "христианских мотивов", конечно же, означает новую, более высокую, ступень в развитии человеческого мышления, как индивидуального, так и общенародного. А вот г-н Штейн "про-

свещает" нас на сей счет по-иному.

Антихристианская по характеру апологетика язычества не является у Э.Штейна случайной оговоркой. В ходе своей статьи он и далее варьирует эту мысль. Так, на стр. 223-224 он пишет:

"Немецкое владычество принесло с собой в середине XIII века насильственное крещение. Столь позднее принятие эстонцами христианства *отнюдь не повлияло на ускорение развития духовной жизни народа* (?! – подчеркнуто нами – А.Д.), поскольку его внутреннее горение поддерживалось исключительно богатым эпосом".

Опять знакомый антихристианский мотив! И тут не знаешь, чему больше удивляться: кошунственной ли самонадеянности нашего автора или его произвольному обращению с общеизвестными фактами, которые он выворачивает наизнанку. Ведь ясно же, что наличие эпоса и фольклора – отнюдь не самые лучшие показатели интенсивности духовной жизни. Эти *простейшие* формы самосознания, конечно же, стоят на менее дифференцированной, утонченной стадии литературного и философского развития, чем те, которые развиваются позднее и, как правило, *после* христианизации. Если даже "немецкий период" и не дал индивидуально осязаемых результатов роста культуры в Эстонии, то сама по себе христианизация не могла не быть позитивным фактором в общем развитии. Ведь Штейн же не доказал, что *до немцев* эстонцы были высокоразвитым в культурном отношении народом. Напротив, в этом смысле они, повидимому, уступали тогда не только немцам, но и славянам.

Крайне поверхностный "историзм" Э.Штейна составляет потрясающий контраст с претенциозно-обязывающим названием его статьи. Если бы он написал, "не мудрствуя лукаво", о героической борьбе эстонцев в течение веков за свою независимость, привел бы соответствующие примеры, рассказал об интересной культуре эстонского народа, – это могло бы дать, может быть, скромный (в меру способностей автора!), но полезный результат. Тогда и отдельные неточности было бы нетрудно простить. Но когда автор обещает вычислить нам "математику души" целого народа, а вместо этого угощает нас сомнительными статистическими выкладками; когда он, берясь рассуждать о "музыке интеллекта", не демонстрирует даже особого ума, – это вызывает *особое* раздражение.

На стр. 224 Э.Штейн приводит цифровые данные о том, что эстонский народ, "численностью чуть больше миллиона, создал примерно 400.000 народных песен, 95.000 сказок, 170.000 пословиц и поговорок и, наконец, 100.000 загадок". Эти цифры должны, судя по контексту, подкрепить его мысль о том, что *дохристианское* развитие Эстонии было чуть ли не выше последующего. Но ведь Штейн не может доказать, что *все эти* песни, сказки, поговорки и т.п. созданы именно в *дохристианский* период. Следовательно, его аргумент как минимум не на месте и по существу ни о чем не свидетельствует, кроме самого факта наличия у эстонцев такого-то количества пословиц и загадок.

Противоречия, в которых путается Э.Штейн, повидимому, мало его смущают. Отрицая в начале статьи прогрессивное значение христианизации Эстонии, он затем делает открытие, что *дальнейшее* "возмужание" эстонской нации "наступает в начале XV века, в период внедрения новой религии – лютеранской и в эпоху возникновения в стране книгопечатания..." Значит, все-таки был какой-то прогресс в связи с христианизацией, раз шло "возмужание" нации, а лютеранство, между прочим, отнюдь не какая-то там... языческая секта.

Кстати, оставим на совести г-на Штейна его хронологию событий, хотя и очень любопытно нам узнать, как это лютеранство "внедрилось" в Эстонию "в начале XV века", когда оно вообще-то возникло лишь в шестнадцатом столетии под влиянием проповеди и политико-религиозной деятельности Мартина Лютера (последний же, как известно, лишь родился *в конце* пятнадцатого века, и по этой причине *в начале* указанного столетия лютеранства не было ни в Эстонии, ни в каком-либо другом месте нашей планеты). Э.Штейн оперирует с хронологией по принципу героя одной из песен Александра Галича, для которого, как поётся, "столетие, столетие, столетие – пустяк!" Совершенно спокойно заявляет он, что "первая эстонская книга...была напечатана в 1423 году", т.е. если поверить ему, раньше, чем первая книга Гутенберга – самого изобретателя книгопечатания. (На самом деле первая эстонская печатная книга появилась в 1535 году). Итак, по Штейну, Эстония знала лютеранство до Лютера, а книгопечатание до Гутенберга. Неплохое открытие!.. Да и относительно начала христианизации Эстонии, о чем Э.Штейн судит с таким апломбом, он путается, приписав ее немцам, тогда как в действительности начали ее датские завоеватели.

Уму непостижимо, как с такой, скажем деликатно, "миниатюрной эрудицией" можно было браться за написание исторической статьи! Но если бы дело ограничивалось только такими пробелами! Хуже, когда Э.Штейн начинает строить "теоретические" умозаключения, проводить параллели. Заговорив, например, о шведском периоде господства над Эстонией, он вспоминает и о Финляндии. Вроде бы опять попал на верный ход мысли. Но что у него получается в результате?

Сказав о либеральной политике шведов в Эстонии, он констатирует, что "ту же политику шведы проводили и по отношению к Финляндии. Значительно позднее, – продолжает он далее, – Россия, дав автономию Финляндии, стремилась этим актом ликвидировать в ней сильное шведское влияние, однако тогдашняя автономия Страны тысячи озер была намного шире, чем ее теперешняя независимость".

–Ах, мой друг Аркадий! – хочется сказать словами тургеневского Базарова. – Не говори красиво! Говори понятно!.. О чем, собственно, идет речь в этом пассаже, о какой автономии? Если об автономии во времена русского владычества в Финляндии, то это утверждение достаточно нелепо. Что бы ни говорить о внешней политике современной Финляндии, все же сумма суверенности этой страны больше, чем на стадии российской провинции. Если же речь идет об автономии швед-

ского периода, то и тут утверждение Штейна вздорно. Вообще фраза до предела неуклюжа как по мысли своей, так и по выражению оной.

С не менее неуклюжей "грацией" затронул Э.Штейн и "еврейский вопрос" в Эстонии. Желая говорить об эстонцах "только приятное", он написал следующее: "Если сослаться на воинствующую "Энциклопедия Джудаика" (изд. 1971 г.), то в ней говорится, что поляки, украинцы, латыши и литовцы во время второй мировой войны убивали евреев. В статье "Эстония" (стр. 916-918) об эстонцах этого не сказано".

Тут не знаешь, чему больше удивиться: бестактности этой аргументации или ее примитивности! Во-первых, разумеется, среди эстонцев были и есть свои антисемиты, а злодеяния по отношению к евреям совершались и на эстонской территории. Во-вторых, можно привести примеры помощи евреям со стороны тех же, упомянутых Штейном в столь отрицательном контексте, поляков, латышей, украинцев и литовцев. Пусть г-н Штейн прочтет хотя бы книги известного литовского прозаика, еврея по национальности, И.Мераса, в произведениях которого с большой художественной силой звучит соответствующая тема. Да и вообще частные примеры не есть общие доказательства. С ними надо обращаться достаточно осторожно, тем более затрагивая столь деликатный сюжет, как национальные взаимоотношения.

Казалось бы, список "благоглупостей" нашего автора можно и заключить. Для одной статьи их хватает с избытком. Но все-таки мы не можем не привести самого "потрясающего" утверждения г-на Штейна, который, желая во что бы то ни стало "хвалить" эстонцев, делает это так, что вряд ли им уютно от таких похвал. Вот особо претенциозное и особенно нелепое умозаключение Э.Штейна об эстонской нации.

"Народ, — пишет он, — который, подобно евреям, пережил...свое аутодафе, должен был изменить тактику, физически и морально сохранить себя, спасти то, что определяет нацию, — спасти свою культуру. В этих новых баталиях за национальное самосохранение эсты одерживают *одну замечательную победу за другой* (подчеркнуто нами — А.Д.). Укажем на такой немаловажный факт, что за последние годы ни один из значительных представителей эстонской культуры не разделил судеб Синявского и Даниэля, Галанскова и Григоренко, Амальрика и Буковского. Эстонское искусство, находясь в общем главлитовском фарватере, благодаря почти *единому фронту эстонских коммунистов и их противников* (?! — подчеркнуто нами — А.Д.) совершает настоящие цензурные чудеса" (стр. 229-230).

"Чудеса" совершает мысль Штейна. Оказывается, отсутствие в Эстонии активных диссидентов (как, скажем, в Литве и Латвии) — это "замечательная победа эстов"! А что это за таинственный "единый фронт эстонских коммунистов и их противников"? Вот что значит писать о том, чего не знаешь и не понимаешь! Если поверить Штейну, то эстонцы выглядят ныне нацией каких-то "самосохраняющихся" трусов. К счастью, факты легко побивают г-на Штейна.

Мы знаем, что в Эстонии есть активные диссиденты и подлинные

борцы против коммунистического режима. Сошлемся на свидетельства прессы. Газета "Русская Мысль" в статье Н.Борисова "КГБ бьет по демократам" (8 июля 1976 г.) сообщала о политическом процессе в Таллине над пятью представителями Эстонского Демократического движения. Не вяжется подобная информация с идиллической картиной нарисованного Штейном "единого фронта" коммунистов и диссидентов в Эстонии. Да и редакция самого "Континента", видимо спохватившись, опубликовала в девятом номере журнала статью Аделаиды Ламберг "Эстонские диссиденты — за независимость", которая дает правдивую интерпретацию данной проблемы и которая должна, вероятно, скрасить гнетущее впечатление от "эстонской" статьи г-на Штейна. Повторим еще раз, что статья его не украшает ни журнал, ни, разумеется, напечатавшегося в нем г-на Штейна.

Совсем на ином уровне должен идти разговор о статье Александра Янова "Комплекс Грозного (Иваниана)". Эта статья во многих отношениях примечательна, а кое в чем и замечательна даже. Автор ее несравнимо выше Штейна и по эрудиции, и по уму. Стилистически его статья написана местами в не менее блестящей манере, чем работы почитаемого Яновым В.О.Ключевского. Уже одно это не может не привлечь сочувственного внимания читателя. Однако позиция и аргументация А.Янова все-таки вызывает на спор и спор довольно серьезный.

Основной тезис его очерка — это попытка доказать наличие в русской истории проходящего через нее "комплекса Грозного", т.е. присутствие в русском политическом сознании жажды деспотизма в его самом уродливом проявлении — от Ивана Грозного до Сталина. Автор, тем не менее, настроен оптимистично. Несмотря на признание такого страшного комплекса, А.Янов не считает его фатально неизбежным и неустранимым. Спасительной альтернативой, подсказанной ходом все той же истории, является для него теория и практика Абсолютизма, должного привести в конце концов к торжеству Демократии (сам же "комплекс Грозного" оказывается, по Янову, Автократией, ведущей свое происхождение от царя Ивана Четвертого, тогда как отцом Абсолютизма был Иван Третий). Осуждение государственной деятельности Ивана Грозного, пересмотр под этим углом зрения многих историографических положений в диапазоне от Кавелина и Ключевского до советских историков типа Зимина и Грекова, доказательство *неизбежности* авторитарного пути для русской истории — вот основной пафос статьи Александра Янова. В чем-то он перекликается с пафосом полемики Романа Гуля против Аркадия Белинкова несколько лет назад (см. статью Р.Гуля "Об инсинуации и русофобии" плюс его историческую справку "Идея свободы — в русском народе" — Роман Гуль. Одвуконь. Нью-Йорк, 1973, стр. 219-245); в чем-то Янов идет от прекрасного эссе Г. Померанца "Нравственный облик исторической личности" (см.: Г. Померанц. Неопубликованное. Без места и года изд., стр. 207-225). Заметим тут же, что А.Янов пишет гораздо более "плотно" (с исторической точки зрения) и доказательно, чем Роман Гуль, и столь же философи-

чески, хотя и не столь глубоко, как Григорий Померанц.

Строго говоря, очерк А.Янова – это политический памфлет, загримированный под историческую статью. Сказав это, мы ничего не осуждаем, а просто констатируем факт. Более того, мы думаем, что подобного рода произведения бывают очень полезны и нужны. При одном условии, конечно, а именно: мера соотношения политической "заданности" памфлета с его историческим "обрамлением" должна быть весьма гармоничной. Нельзя переходить тот рубеж, когда политический смысл оборачивается агиткой, а историческая мотивировка оказывается фальсификацией. Нельзя, проецируя современность на прошлое или – наоборот – прошлое на современность, модернизировать историю так, чтобы она, утратив критерии научности, превращалась в некую разновидность юридической элоквенции. Увы, этого избежать А.Янову не удалось, и – думается нам – он к этому даже не особенно стремился.

По профессии Александр Янов философ, а не историк, и его изложение грешит просчетами, характерными для тех случаев, когда философы берутся за разработку *конкретных* исторических сюжетов. В русской традиции таких примеров множество: в нас всех сидит некий бес абстрагирования. Подавай нам законченность формул и схем: если пишется "философическое письмо" в стиле Чаадаева, то это уже историософия, родившаяся до появления историографии; уж если мы, в духе Бакунина и Белинского, пламенно пережевали и пережили Гегеля, то считаем, что истина открылась нам в последней инстанции и на предельной высоте разума – чего там спускаться теперь в низину конкретной жизни! Ну, а уж если хлебнули мы Маркса, решив, что нашли ключи к разгадке всего социально значимого, то стоит ли после этого возвращаться к ничтожному индивидуализму?! Так или не так, с этими или другими модификациями, но абстрагированная выпренность духа искушает нас ой как нередко! И тут очень легко упомянутую нами в начале нашей статьи "жажду концептуальности" утолить еще одним глотком формул, претендующих на всеобъемность и всеосознанность: другими словами, не историософию вывести из истории, а, напротив, историю с самого начала заковать в историософическую броню.

Основной тезис статьи Александра Янова обладает той степенью доказательности, какую имеет любая произвольно-субъективная конструкция на nive исторического рассуждения. "Комплекс Ивана Грозного" в русской истории можно обнаружить с таким же успехом, как, например, "комплексы" Владимира Мономаха, Ивана Калиты, Петра Великого или, скажем, комплексы Нечаева, Ленина, "вождизма" и утопизма. Написать об этом можно достаточно интересно, и смелые параллели построить, и поиграть эрудицией. Только будет ли это историей? У Александра Янова с его комплексом "Иванианы" история в такой степени принесена в жертву философски-публицистическому началу, что она, определяя *стиль* его письма, превратилась фактически в простую *стилистику*.

"...Ключевыми фигурами русского прошлого – и русского будущее-

го – представляются мне отец русского Абсолютизма Иван Третий и отец русской Автократии – Грозный, – пишет А.Янов. – ...Разница между ними кажется мне основополагающей." ("Континент", №9, стр.318). Усомнившись несколько насчет "русского будущего" с проекцией на него фигур Ивана Третьего и Грозного, мы охотно согласимся с тем, что исторический очерк, построенный на параллели между этими личностями, конкретный анализ плюсов и минусов их политической деятельности, был бы весьма полезен. И, действительно, сравнив фигуру Грозного с его воистину выдающимся и гораздо более симпатичным предшественником Иваном Третьим, мы смогли бы приобщиться к интереснейшим моментам русской истории, пережив и прочувствовав дух далекой эпохи; смогли бы выправить те или иные вывихи в нашем историческом мышлении, которое – для людей, живущих в середине и второй половине двадцатого века – засорено осколками, разбитого в основном, но отнюдь не "вдребезги", культа Ивана Грозного, сложившегося в советской историографии сталинского времени. В этом смысле характеристика Ивана Третьего как подлинно великого зачинателя российской государственности, лишенного к тому же черт жестокого деспота, была бы отличным и весьма желательным противовесом упомянутым "не разбитым вдребезги осколком" культа Грозного.

Само собой, исторический очерк о двух "контрастирующих" монархах должен базироваться не только на психологической характеристике этих людей, но и на интерпретации документальных источников периода ХУ-ХУІ вв., на социальной анализе и фактологической достоверности. Это, право же, полезней абстрактных историософических рассуждений, которые ведут за собой конкретную историю, как некую "служанку богословия". Увы, Александр Янов избрал именно этот способ построения своей статьи.

Большинство его тезисов рассыпается или, во всяком случае, серьезно деформируется в процессе проверки той самой конкретной историей, которую он использует чисто подсобным образом. Вот соответствующие примеры: "Мое утверждение, – пишет он, – сводится к следующему: в середине ХУ века – на волне антитатарской освободительной революции – Россия *сумела* создать европейскую абсолютистскую систему" (№9, стр.317). Здесь мимоходом оброненное "модернистское" словечко "революция", примененное к длительному и сложному процессу освобождения России, который носил скорее характер *эволюции* (хотя и имел в общем некий высший "революционный смысл", что отнюдь не адекватно строгому пониманию термина "революция"), так вот, это упомянутое, как бы между прочим, словцо должно сыграть роль терминологического камуфляжа, пригодного для дальнейшей модернизации истории. В самом деле, наше сознание невольно фиксирует: ага, была некая "революция", значит, в последующем, нас уже не удивит особенно, что, согласно рассуждениям Янова, Грозный произвел "автократическую контрреволюцию", что Абсолютизм, в сущности, всего лишь "*переходная* форма" к "Демократии" (Там же, стр.317), что "сто-

летие 1462-1564 гг." заложило в "историческую память" России "пылкую и неистощимую жажду свободы, совершенно неизвестную народам, изначально выросшим в Деспотиях", что литовские перебежчики в Москву шестнадцатого столетия изображены Яновым как вполне современные "политэмигранты", а Иван Грозный подан в качестве очень знакомого нам тоталитаристского диктатора. И почему-то не решил Александр Янов сам себя перепроверить, спросив, например: а все-таки была ли антитатарская *революция* в XV веке, если серьезно относиться к термину "революция", а не растягивать его беспредельно для философической игры слов и понятий? Не подумал он и о том, что как-то неловко говорить о "заложенной" в пятнадцатом-шестнадцатом столетиях в России "жажде свободы" с тем пафосом, который мог бы казаться уместным разве что в отношении Радищева или декабристов, но уж никак не в связи с самодержавным "Третьим Римом". Не остановился он и перед явными натяжками в интерпретации исторических фактов.

Вот, скажем, начинает А.Янов ревизовать тезис о существовании для России пятнадцатого-шестнадцатого веков опасности, исходившей от Литвы и татар, и бодро декларирует: "Не было литовского молота и татарской наковальни – соседи Москвы были исторически обречены и практически бессильны" (№9, стр.323). "Не Литва наступает на Москву, – говорит он, – а Москва на Литву и – после ряда блестящих побед – отнимает у нее 70 волостей и 19 городов" (Там же). Все это звучит очень красиво, но как это вяжется с конкретной историей? Попробуем разобраться.

Бесспорно, что Литва – в исторической перспективе – шла к упадку, тогда как Московское царство утверждало себя в качестве новой силы. Но это была тенденция, которая не воплощалась прямолинейно в конкретных перипетиях московско-литовской, а затем и московско-польсколитовской борьбы в XV-XVI веках. Позволим себе такое сравнение: любой школьник знает, что разгром Непобедимой Армады в 1588 году означал – в перспективе – упадок Испании в её борьбе с Англией. Но именно в перспективе только. Изучая историю уже не на *школьном уровне*, каждый легко убедится, что отнюдь не сразу после 1588 года англичане взяли верх над испанцами, что англо-испанская борьба за гегемонию шла еще долго, вполне серьезно и не с обязательными тактическими успехами для англичан. То же самое было и в московско-литовском конфликте. Приведа цифры о 70 волостях, захваченных Иваном Третьим, Янов имеет в виду итоги войны 1500-1503 годов. Но вот, скажем, в царствование Василия Третьего, во время очередной войны между соперниками, "вначале московское войско было разбито гетманом князем К.Острожским под Оршею" (А.Белопольский. СССР на фоне прошлого России. Вашингтон, 1973, стр.106). Да и не вяжется утверждение Янова об отсутствии для Московского царства опасности со стороны его "ослабевших", мол, западных соседей с приведенным им же (см. №9, стр.325) примером попытки Новгорода отдаться под власть Литвы в XV веке, как и с хорошо известными собы-

тиями, уже в семнадцатом столетии, когда польсколитовское государство едва не возоблададо окончательно в борьбе с Москвой в период "смутного времени". Историческая обреченность того или иного государства в перспективе совсем не отменяет в истории конкретной его экспансии и возможности достижения им тактических – порою весьма крупных – успехов. Поэтому тезис Янова об отсутствии литовской угрозы для Москвы в силу перспективной обреченности Литвы не выдерживает серьезной критики. Нужен же он автору лишь для построения силлогизма: историки говорят, что Москва столкнулась с внешней опасностью, а в результате нужно было создать внутри московского государства сильную, может быть, деспотическую власть. Однако раз доказано (по Янову), что внешней опасности не было, значит, не было оснований для формирования деспотической власти в Москве. Силлогизм сей формально правилен, но и ошибаться можно по законам логики. В истории же, как известно, одной логикой не возьмешь!

Пусть нас поймут правильно! Мы отнюдь не доказываем "необходимости деспотизма". Более того, общий пафос историософских рассуждений Янова нам симпатичен. И потому особенно жалко, что он портит многие свои мысли неловкой аргументацией.

В этой же связи следует сказать и о странных оценках Яновым таких конкретных фактов, как случаи беженства из Литвы в Москву. А.Янов склонен видеть в этом чуть ли не доказательство политической свободы, бытовавшей в Москве Ивана Третьего, а затем разрушенной Иваном Четвертым, когда поток беглецов направился скорее в другую сторону: из Москвы в Литву. "Князя Воротынские, Вяземские, Одовские, Бельские, Перемышльские, Новосильские, Глинские, Мезецкие, имя им легион – это все удачливые беглецы из Литвы в Москву, – пишет Янов. И далее: "Москва принципиально и с большим либеральным пафосом настаивала на праве личного политического выбора." (Там же, стр. 320-321).

Прочтешь такое и невольно подумаешь: эх, перенести бы Ивана Третьего в современную Москву! Глядишь, он и диссидентам бы советским помог и границы открыл бы! Может, и впрямь будущее России зависит от спасительной прививки Абсолютизма к древу государственности XX века?

Увы, достаточно правильно понять психологию беженцев средневековья типа князей Глинских и Бельских, чтобы усомниться в трактовке Янова. Совсем не борцами за политическую свободу были они и не в Москве ее искали. Более того, они просто не мыслили такими модернизированными категориями. Поводом для их перехода под власть московских царей была их религиозная вражда как православных по отношению к усилившимся в Литве католикам плюс политические амбиции в борьбе за власть. И в сущности не "политэмигрантами", как это представляется А.Янову, они являлись, а всего лишь "воспользовались существовавшим тогда правом перехода к другому великому князю". (А. Белопольский. Указ. соч., стр. 105). Нельзя к тому же сказать, что мно-

гие из этих беженцев обрели счастье в московском "благословенном отечестве" (выражение А.Янова!). Судьба князя Михаила Глинского хорошо известна: умер он в тюрьме, наказанный за попытку бежать из Московской Руси. У других князей-перебежчиков Василий Третий отобрал их уделы, дав новые земли – похуже, причем дал он их "не как вотчины, а как поместья на кормление за службу. Они должны были стать боярами, как и потомки других князей. Некоторые из них ушли обратно в Западную Русь (т.е. в Литву – А.Д.)". – См.: А.Белопольский. Указ. соч., стр.107. Заметим, что все это было до "автократического" Ивана Грозного и его опричнины.

Мы вполне сознательно стараемся "побить" доводы А.Янова цитатами из работы "конкретно мыслящего" историка-профессионала, каковым является А.Белопольский. К слову сказать, он отнюдь не выступает голым фактографом; в его книге есть и своя концепция, и любопытные параллели, и обобщения. Не со всеми из них соглашаешься, но, во всяком случае, автор строит свои доводы на ниве истории как таковой, стараясь давать ее (вспомним правило знаменитого Леопольда Ранке!) "как она была в действительности". У Янова же чувствуется внутренний холодок пренебрежения к историографии: дескать, что вы там, историки, копаетесь в архивной пыли? Достаточно воспарить к высотам политической теории, выдвинуть пару обобщенных тезисов, пофилософствовать этак вне времени и пространства, подкрепить эффектные афоризмы подтянутыми на случай фактами и все проблемы решены что называется с ходу! Конечно, А.Янов так не говорит прямо, но в статье его присутствует подобный настрой мысли как внутренняя психологическая подоснова. (Впрочем, раз он обмолвился, воскликнув: "зачем нам углубляться в... дремучие историографические дебри?" – "Континент", №10, стр. 275.) При всем этом он не прочь иногда столкнуть историков между собой: показалось ему, что М.Погодин, например, выдвигал самостоятельную гипотезу насчет характера царствования Ивана Грозного, противопоставляя ее характеристике Карамзина, и Янов охотно развивает то, что было у Погодина, в сущности, риторическим оборотом (мысль об отсутствии двух периодов в царствовании Ивана Грозного).

Собственно, для того, чтобы вскрыть все натяжки, допущенные А.Яновым, в его историко-философской аргументации, пришлось бы писать паралельную статью очень большого объема. Это не наша цель. Попробуем просто сгруппировать несколько основных моментов, которые вызывают нас на полемику с его утверждениями и пренебречь многими частностями.

"Работая" на ниве противопоставления Ивана Третьего и Грозного, Янов развивает совершенно неверную мысль, что централизация Московской Руси была завершена уже в XV веке, что, говоря его же словами, "после Ивана Третьего это была уже полностью решенная задача" (№10, стр. 287). Эта мысль настолько противоречит историческим фактам, что А.Янов тут же спохватывается и говорит о нерешенности в XVI веке другой задачи, а именно "интеграции нового государства" (Там же).

Подводит А.Янова его априорная симпатия к Ивану Третьему и столь же изначальная антипатия к Ивану Грозному. Но из факта бóльшей симпатичности Ивана Третьего в сравнении с его внуком не вытекает органично яновская аргументация. Ибо совершенно очевидно, что укрепление централизации страны, имевшее место в XVI веке (или "интеграция", как называет это Янов) есть *реальное* воплощение в жизни централизаторских начал, отличное от формального лишь момента провозглашения единой власти, единого государства и т.п. История знает немало подтверждений этому. В XIX веке, например, Франкфуртский парламент в Германии мог рассматриваться как символ грядущего единства и централизации страны, однако *реально* централизовал Германию Бисмарк. Кому-то, может быть, иные депутаты Франкфуртского парламента кажутся симпатичней, чем "железный канцлер", но было бы странным на этом основании отвергать централизаторский характер его деятельности, ссылаясь на символику декларативных спичей тех, кто провозглашал *нереализованное* единство Германии до Бисмарка. Возвращаясь к русским сюжетам, необходимо подчеркнуть, что Иван Третий был бесспорно великим правителем, заложившим централизованную Русь, но в период царствования Ивана Грозного процесс централизации был продолжен и реально воплощен. Личность Грозного ужасна, действия его как тирана не могут не возмущать наше сознание, а катастрофа в Ливонской войне заслуженно венчает серию его военно-политических провалов. И все же проигрыш войны Россией был военной неудачей уже вполне *централизованного* государства, причем централизованного настолько, что, например, в семнадцатом веке, после смутного времени, перед Россией не встала задача какой-нибудь новой "реконквисты" или "неоцентрализации." Достаточно было упорядочить механизм наследственной монархии, и страна как единое целое вернулась под власть московских царей.

А.Янов откровенно проецирует на Грозном тень Сталина. Полемически это неплохо, но история тут сильно хромает. Происходит это потому, что Янов не довольствуется естественной вообще-то параллелью между Сталиным и Грозным, а хочет произвести некую "историографическую ревизию" для своих постулатов. Для подобной же "ревизии" его историческая методология и аргументация слабоваты.

Порою А.Янов ломится в открытые двери. Его негодование вызывает, например, тот факт, что фигура Ивана Грозного привлекла к себе столько внимания со стороны историков, публицистов и литераторов и тем самым заслонила личность Ивана Третьего. Но спрашивается, что тут удивительного? Иван Грозный – это характер, достойный шекспировского пера именно в силу своей сложности и неоднозначности. Янов же пытается не то что обесцветить, а скорей *одноцветить* его как личность, изображая Ивана IУ злодеем и малодаровитым человеком на протяжении всего периода его царствования. Он выписывает его портрет в исключительно темных тонах. Вспоминая известную реплику Пушкина о шекспировской и мольеровской методе изображения характеров ("У Мольера скупой скуп – и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен."), можно сказать, что Янов описывает шекспи-

ровский характер Ивана Грозного мольеровским пером. Что касается Ивана Третьего, то его Янов сравнивает с английским королем Генрихом У11. Признаться, это была довольно пресная личность, хотя и, возможно, более добропорядочная, чем, например, Ричард Третий. Однако именно по причине зловещей колоритности последнего ему больше повезло по части внимания историков и писателей к его персоне, чем добродетельно-скучноватому Генриху У11. То же самое можно сказать и об Иване Третьем в сравнении с Грозным.

А.Янов стремится убедить читателя своей статьи в том, что царствование Ивана IУ с точки зрения характеристики личности царя не знало никаких "двух периодов" (имея в виду устоявшееся представление о периодах "Избранной Рады" и опричнины, что совмещалось с образом "светлого" и "черного" ликов Ивана Грозного). Сделать это ему очень нелегко, т.к. признание заслуг "Избранной Рады" составляет важный элемент в самой основе его рассуждения насчет Абсолютизма и Автократии. Значит, для него единственный выход – это отрицать какую-либо роль Ивана IУ в деятельности "Избранной Рады", признав за ним лишь одну историческую "заслугу" – отрицательную, конечно, а именно – создание Опричнины и "автократическое перерождение" правительственного режима в Москве. Видимо, Янов полагает, что при оценке личности Ивана Грозного возможны лишь два подхода: либо безудержная апологетика, либо полное отрицание. Он "обличает" Ивана Грозного с таким жаром, как будто до сих пор еще в исторической науке главенствующее место принадлежит сталински организованному культу этого царя. Однако из текста самой статьи Янова видно, что даже советская историография вынуждена сейчас отказаться от былой апологетики Грозного. Казалось бы, А.Янов с его бесспорным талантом полемиста и философа должен был заметить возможность, так сказать, "третьей линии" в оценке Ивана Грозного, не впадающей ни в культ, ни в абсолютное отрицание государственных качеств царя – линии беспристрастного анализа фактов во всей их совокупности с признанием того, что хотя Иван Грозный и заслуживает морального осуждения как личность, и что хотя ни по итогам своего царствования, ни по общему направлению деятельности он не поднялся до уровня Ивана Третьего, все же период его правления содействовал утверждению Московского государства как великой державы. В этом заключался жестокий, бесчеловечный, ограниченный узкого-сударственными рамками, но все же прогресс.

Сказавши это слово, мы попадем в одну из наиболее уязвимых точек теории Александра Янова. Ибо для него понятие "прогресса" романтически сопряжено лишь с такими категориями, как свобода личности, плюрализм, духовная раскованность, гуманизм. Согласимся, что это очень благородная интерпретация, но она, к сожалению, не может считаться вполне научной. Мы знаем немало явлений в истории, которые не могут быть однозначно истолкованы, как бы нам этого ни хотелось порой. Само понятие цивилизации не носит на себе знака абсолютного плюса или минуса. С прогрессом дело обстоит еще сложнее. Никакие "доводы серд-

ца" не могут перебороть жестокого реализма того, что происходит в жизни. Добро и зло перемешаны между собой в столь причудливых сочетаниях, что одной черно-белой гаммой их не исчерпать. Будь Иван Грозный просто частным лицом – это, возможно, явилось бы лишь случаем клинической патологии, но государственный деятель с таким характером долгие рассматриваться прежде всего как политик и только потом как человек. Всего успешнее это могут сделать историки-профессионалы. Однако А.Янов недолго любит историков. Не случайно, поспорив немного с Кавелиным, он заявил: "...проблема Грозного-царя стремительно перерастала из эмпирической и эмоциональной в проблему методологическую. Спор о нем на глазах переставал быть историографическим *истановился философским* (подчеркнуто нами – А.Д.) – ("Континент", №9, стр. 331). Вот ведь как! Воистину, не слишком высокое представление у А. Янова о задачах историков. Дескать, пусть там они копаются во всяких "эмпирических" и "эмоциональных" проблемах, а все остальное – что по-выше рангом – не их удел. Как будто история в качестве науки не имеет методологии, и сие лишь достояние философов! Странное, очень странное представление... И просчеты Янова в сфере истории во многом объяснимы именно таким ходом его мысли.

А вслед, как по цепочке, тянутся производные промахи. Полемизирует, к примеру, А.Янов с Е.А. Беловым насчет концепции последнего о "партии дьяков" и думает, что уничтожает эту концепцию репликой в том духе, что программа "партии дьяков" не имела, мол, "позитивных элементов, сводясь к отрицательной цели – не допустить олигархии" (Там же, стр.340-341). Предположим, что так, ну и чем же все-таки это не программа? Апология боярства у Янова полемически заострена до предела: власть бояр представляется ему "социальным контролем над управлением" (Там же, стр.336). Право же, это все равно, что обычай раздачи милости нищим сравнить с системой Вэлфар. Запутавшись в собственных противоречиях, Янов как опытный полемист делает ловкий ход, так сказать, "обнажая прием" своей "лаборатории мысли" и тем самым пытаясь заранее отвести упреки возможных оппонентов. Он признает, что в полемике с Тойнби утверждает то же самое, что отрицает в своей полемике с Ключевским. "Тут самое время поймать меня за руку," – говорит он ("Континент", №10, стр.273). Увы, – скажем мы, – не только тут. И в других местах тоже. И не спасают А.Янова ни его полемические маневры, ни сложные рассуждения на тему преимущества боярской земщины над поместной системой. Читатель ясно видит все конструкции напряженной, вымученной и претенциозной гипотезы А.Янова. Слишком уж насилует она конкретные факты, равно как и ставшие, может быть, несколько тривиальными, но все же правильные, представления историков-профессионалов.

Пытаясь всем смыслом и пафосом своей статьи утвердить оптимистичную мысль о том, что Россия отнюдь не обречена фатально жить с традицией рабства и произвола, А.Янов ходом своей аргументации невольно подсказывает прямо противоположное представление. И, ко-

нечно, Ключевский судит гораздо доказательней, когда рассматривает опричнину Грозного и самого царя-тирана как *предельные случаи* деспотизма и своего рода аномалии в историческом развитии страны. Янов выступает против понимания Ключевским опричнины в качестве "частного эпизода русской истории". Мы – вслед за Ключевским – склонны думать, что хотя азиатский деспотизм, на котором была "заквашена" практически почти вся история России, и мог породить такие жуткие явления, как опричнина или сталинщина, они все-таки являются, даже на этом фоне, исключительными, выходящими за пределы *даже этой* нормы, эпизодами. Мы не склонны, подобно Янову, так уж решительно валить в одну кучу Ивана Грозного и Петра Первого. В отличие от него мы думаем, что предпосылки оптимизма коренятся не в подстановке на место "Автократии" кумира "Абсолютизма", а в понимании русской истории как такого исторического процесса, где несмотря на преобладание деспотических тенденций над духом свободы, этот дух все же развился *вопреки* им (и не в рамках лишь какой-то формы сословного мышления). Нельзя, выделив из истории одну из ее составных линий, утверждать, что она только и является основой надежды. От прошлого во всей его совокупности не уйти и будущее не построить без учета этого прошлого в полном его объеме. Гипотеза А.Янова насчет "комплекса Иванианы" сильна в той части, где она показывает, чего бы мы в русской судьбе *не хотели* видеть, и очень слаба там, где она пытается утвердить то, что *нам нужно* в этой судьбе.

Заключая наш разговор о статье А.Янова, мы не можем не коснуться и такого обстоятельства. В предисловии к статье "Комплекс Грозного" А.Пятигорский утверждает: "В яновской историографии гораздо больше живости и оптимизма, чем в универсальной истории Тойнби, и нет у него той тяжелой, мрачной неотвратимости, которой отмечена концепция Шпенглера" ("Континент", №9, стр.314). Это сопоставление А.Пятигорского немножко...как бы сказать помягче?...неуместно. Добросовестный читатель, даже если он, изучив статью Янова и нашу полемику с ним, согласится не с нами, а с Яновым, должен будет в то же время признать, что трудно сравнивать исторический уровень письма Тойнби и Шпенглера с тем, чего пока достиг Александр Янов. (Оговоримся пушей объективности ради: со слов А.Пятигорского нам известно, что статья Янова лишь часть из написанной им книги, которую мы не читали. Охотно предполагаем поэтому, что, может быть, *на уровне книги* автором ее достигнут и более высокий уровень исторического качества. Но это, разумеется, только наше предположение).

Что же касается журнала "Континент" в связи с его исторической частью, то, как видим, после десяти номеров особых оснований для читательской удовлетворенности в этом плане нет. Однако, поскольку сама история не только отнимает надежду, но часто и дарует ее, склонимся к этому *обнадеживающему* выводу. Подождем...



Настоящая статья была уже набрана, когда автор получил возможность прочитать в 5-ом номере "Голоса Зарубежья" (Мюнхен) статью Анатолия Михайловского "Не "Иваниана", а "Яновиана" (стр. 16-22). Совпадения в критических оценках по адресу А.Янова, которые легко обнаружит читатель, пожелавший сравнить статьи А.Михайловского и А.Дружинина, являются отнюдь не каким-то заимствованием, а лишь результатом разбора многих антиисторических тезисов А.Янова с позиции историка. В этом случае совпадающие моменты не только не удивительны, но вполне закономерны.

С другой стороны, автор статьи "История на страницах "Континента" хочет подчеркнуть, что отсюда не вытекает солидарность его с пафосом и смыслом многих утверждений А.Михайловского, тем более, что последний в другой своей статье в том же номере "Голоса Зарубежья" ("О "русском империализме" – стр. 28-31) выступил открытым защитником великорусского шовинизма, допустив при этом такие искажения истории, каких все-таки не делал А.Янов. Исторические ошибки (случай А.Янова) – беда его; историческая фальсификация (случай А.Михайловского) – тяжелая вина. Последнее гораздо хуже.

Андрей ДРУЖИНИН.

О "ЦВЕТЕНИИ" РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

1.

Можно говорить о молодом "цветении" культуры в России в начале двадцатого века, после 1904–1905 гг. и Первой Мировой войны. Это не идеализация указанной эпохи задним числом. Тогда, в те самые годы начала 20-го столетия, многие люди – особенно молодые – это чувствовали и жили какой-то повышенной, радостно-творческой жизнью, ощущали себя приподнятыми ее волнами или мечтали бодро и жизнерадостно о такой жизни, начинающейся для них, не протестующей только (как это было перед тем довольно распространено, особенно в радикальных кругах), но жизни уже *теперь* творческой и конструктивной. Это стояло в связи с огромными сдвигами в области народного хозяйства, с начавшимся раскрепощением широких кругов крестьянства от стеснительных, подавляющих экономическую творческую инициативу, рамок сельской общины. И вообще происходил какой-то мирный – и вместе с тем необычайно динамический – подъем (чтобы не сказать "взрыв") народной энергии – не разрушительной, а именно *созидательной* в различных областях жизни духа.

Это в сильнейшей степени захватило и многих представителей молодежи из культурного слоя России. Я сам – будучи юношей в тот период – был не только захвачен этим бодрым динамическим потоком, но до известной степени мог уже тогда наблюдать его *со стороны*. Это происходило от того, что я тогда "одной ногой стоял" в России, живя главным образом в Москве, а *другой ногой* – за границей, т.к. мой отец был Российским дипломатом, служившим в этот период в Германии и Скандинавских странах, и наш родительский дом был поэтому временно за границей (куда мы, дети, часто ездили на vacation). А из-за границы и в сравнении с "за-границей", процесс подъема духовных и культурных сил России особенно бросался в глаза. Да не будут эти слова поняты в смысле мнимо-патриотического самохвальства, некой "квасно"-патриотической самоумиленности. Я просто был свидетелем (при всей своей сравнительной молодости) очень большого культурного движения, которое в эти годы совершалось в России. Меня поразило, когда после окончания Московского Университета я около двух лет занимался еще в Германских Университетах (в Мюнхене и Берлине), насколько духовная (особенно философская и религиозно-философская) жизнь была тогда более мощным и захватывающим ключом в Москве – вокруг Московского Университета, да и в отдельных самостоятельных кружках и центрах среди русской молодежи.

2.

Характерными для этого подъема русской творческой жизни, жажды совместной работы на общее благо, являются некоторые данные в письменном докладе министров Столыпина и Кривошеина императору Николаю Второму об их инспекционной поездке в Сибирь – на места нового гигантского и добровольного переселения крестьян на плодородные территории, предоставленные им государством. Доклад этот будет когда-нибудь оценен (уже и теперь у ряда историков этой эпохи он привлек заслуженное внимание) как одно из интереснейших свидетельств об огромной творческой работе, проделанной в эту эпоху русским народом (от ряда высших его слоев до широчайших по своим размерам низших слоев народа).

Весьма характерны, между прочим, слова в начале совместного доклада Столыпина–Кривошеина (цитирую по памяти) о сотнях протягиваемых им навстречу бодрых и энергичных рук для помощи в этой творческой работе. Так, в Уфе встретили они 12 юношей, только что окончивших Казанскую семинарию, и направляющихся в Сибирь для того, чтобы быть там поставлены в священники на местах нового крестьянского расселения. Они были полны жажды плодотворного служения. Вот этот дух *бодрости*, жажды конструктивной работы был характерен для широких кругов тогдашней России, особенно для молодежи. Дух этот горел в ряде моих сверстников или молодых приятелей, что были несколькими годами моложе меня и с которыми я дружил в те последние годы перед Первой Мировой войной. Их имена мне дороги, я горячо чту их память. Несколько кратких характеристик отдельных представителей этого молодого поколения, которые были мне близко знакомы, я приведу в конце этого очерка. Здесь назову только несколько имен: Ася Бобринский, Борис Милорадович, Валериан Ершов, Миша Лопухин (который и тогда уже поражал сверстников своей огромной горячей духовной настроенностью), Георгий Осоргин, Сережа Мансуров и другие.

3.

Одним из главных центров умственного и духовного кипения была Москва. Конечно, и Петербург (но с точки зрения духовного и особенно религиозного направления Москва, возможно, даже в большей еще степени). И молодое поколение, и духовные руководители его в лице, например, братьев Трубецких, С.Н. Булгакова, П.И. Новгородцева, Л.М. Лопатина, С.Л. Франка, Е.Г. Брауна, И.В. Попова, О.Т. Флоренского и многих, многих других обращались к великим памятникам Красоты и духовной жизни прошлого, памятникам духовных исканий человечества. Тут в первую очередь пронесаются такие образы как Данте, Паскаль, Августин, Платон и платоническая струя у Отцов Церкви и раннее христианство в своей удивительной простоте; сконденсированное воздействие античной красоты и религиозных исканий древней Индии; религиозная напряженность западных Средних

Веков и христианского Востока.

Необычайно много выходило изданий, касающихся тем искусства, мистики, религиозной философии или воспроизводящие часто (но, конечно, не всегда) в первоклассных переводах великие творения мировой литературы и религиозной мысли. Здесь следует с благодарностью упомянуть такие издательства, как "Орфей", "Мусагет" и на высоком художественном и научном уровне стоявшие, издательства Сабашниковых. Достаточно вспомнить такие их издания, как "Жизнь Будды Асваюни" (санскритская поэма приблизительно 1-го века нашей эры) в превосходном литературно-изысканном стихотворном переводе К. Бальмонта и два разных перевода другой, еще более знаменитой индусской религиозной поэмы "Бхагавагита" ("Песнь возвышенного") той же приблизительно эпохи (1–2 века до или после начала нашей эры), но уже мистического содержания, связанная с индуистской религией Вишну. Далее, замечательные (это слово хочется здесь несколько раз повторить с восклицанием и благодарностью) высокохудожественные и необычайно притом близкие к подлиннику переводы шедевров древнегреческой литературы: трагедии Софокла, Эсхила, ряд трагедий Еврипида (переводы проф. О. Зелинского), греческая лирика, переводы средневековых мистиков христианского Запада, "Цветочки" Франциска Ассизского и ряд книг о Франциске; "Исповедь" Августина и учение христианского Востока о духовной жизни; Яков Беме и переиздание сочинений Ивана Киреевского и книг Бердяева о Хомякове, книг Гершензона о ранних славянофилах, книга Е. Трубецкого о Владимире Соловьеве – все это уже в другом замечательном издательстве "Путь". Уже в 1900 году было издано полное собрание сочинений Хомякова в восьми томах (его сыном Дмитрием), а в 1909 году – первое полное собрание сочинений Владимира Соловьева.

Это была новая "романтика" (и старая, особенно немецкая романтика конца 18-го века и начала 19-го, как-то приблизилась), новый платонизм 20-го века (одним из главных источников пробуждения его были замечательные лекции Сергея Трубецкого в Московском Университете); усиленная духовная жажда, духовное "томление", охватившее немалое количество молодежи, но часто и мода на "духовные лакомства" (довольно опасная вещь!), но далеко не только мода – зачастую здесь были какие-то ростки духовных переживаний.

И поскольку со всех сторон обступала нас, молодежь, мировая история, то вместе с ней пробуждался в сердцах интерес к истории русской. Памятники старины, русская археология, древнерусская архитектура стали привлекать все большее внимание. Появляется целый ряд монографий – о Ростове Великом, о Суздале, об Угличе и т.д. Открытие подлинного лица русской иконы, ее изумительно сияющих красок, ее духовного облика, ее духовной и художественной значительности явилось не только художественно-археологическим открытием, но и фактом большого духовного и воспитательного значения, как на это указывает Кн. Е.И. Трубецкой в своих двух блестящих лекциях 1915 и 1916 годов.

А старые русские, особенно северные города с их церквями и церковными сокровищами! Подмосковные и другие старинные усадьбы с их старинными портретами, акварелями, гравюрами и библиотечными сокровищами, и русский ампир Александра Первого, и итальянско-русский барокко 18-го века – как это все вдруг приблизилось, вдохновило молодых ученых! Все это нашло отражение и в замечательных художественных журналах, таких как "Столица и Усадьба", "Старые Годы", "Мир Искусства", "Икона", "Аполлон", "Гриф" со статьями, посвященными искусству и Западу и Востоку. Это было новое, более любовное и внимательное, и вместе с тем серьезно-научное изучение и старой мебели, и старинного фарфора (русского и иностранного производства), и русских великих мастеров портрета конца 18-го и первой трети 19-го века, и усиленного восторженного изучения безграничных художественных богатств Запада. Одна только Москва обогатилась в этот период – первые годы 20-го столетия – такими собраниями, как Шуйкинская галерея французских импрессионистов, собрание картин Сиенских мастеров 14-го века, составленное русским дипломатом Голенищевым, первоклассная коллекция египетских древностей.

Две последние коллекции вошли в экспозицию открытого в те же годы (благодаря стараниям профессора Цветаева, директора Румянцевского Музея, и талантливого архитектора Р. Клейна) нового "Музея Изящных Искусств имени Императора Александра Третьего". Возникновение этого замечательного музея с копиями великих произведений всемирной архитектуры и ваяния или их фрагментов в натуральную величину, размещение его в величественном здании, украшенном белыми мраморными колоннами, и воспроизводящим собой древнеафинский "Храм Тезея", было фактом огромной художественно-воспитательной ценности для населения.

Помню принадлежавшее музею замечательное воспроизведение "Итальянского Дворика" – внутреннего двора флорентийского "palazzo del Podesta", как раз напротив Храма Христа Спасителя (разрушенного большевиками уже в ранние годы их владычества). В большевистскую эпоху этот прекрасный музей, основанный при Николае Втором за несколько лет до Первой Мировой войны и пощаженный новыми властями, сыграл немалую роль в сохранении крупинок Красоты в душах многих придавленных, задержанных и измученных новой властью жителей Москвы. В таком воздействии русских музеев (как, например, Третьяковской Галереи, Эрмитажа и других) – их великая *моральная заслуга* перед русским народом, особенно в годы нынешнего лихолетья, небывалого доселе, более того – свирепо проведенного, духовного и политического рабства.

Создавались и новые художественные центры – музеи частные и общественные – и очаги художественного творчества (например, знаменитое собрание икон Остроухова или Московский Кустарный музей, или Мамонтовский художественно-кустарный центр в Абрамцево под

Москвой или сходный Тенишевский центр на юге). Не говорю уже об изумительном подъеме музыкальной жизни, особенно в Москве и Петербурге, о расцвете русского театра – драматического, оперного, балетного.

Театральная и концертная жизнь продолжает, конечно, интенсивно существовать и в сегодняшних главных культурных центрах Советской России, но уже не в тех условиях духовной свободы, в которых она проявлялась в России *досоветской*. Об этом ярко свидетельствуют кампании систематического преследования или попыток духовного закрепощения творчества великих мастеров русской культуры в советское время. Вспомним лишь об удушении советским режимом великой религиозной живописи Нестерова (который вынужден был перейти всецело на писание портретов) или о преследованиях Растроповича, или о судьбе замученных в лагерях ученых и философов...

4.

Университеты России начала двадцатого века (особенно, пожалуй, Московский Университет), будучи естественными центрами объединения молодежи, были одновременно и центрами в *борьбе за права духа*. Здесь сильны мои личные воспоминания (что касается Московского Университета), но это личное – если употребить славянофильский термин – было и "соборным".

Помню одно из первых идейных столкновений, которого я был свидетелем. Это было еще в начале моего пребывания на первом курсе историко-филологического факультета Московского Университета, в конце 1906 года. На заседании семинара приват-доцента П. Сакулина по русской литературе начала девятнадцатого века происходило обсуждение одного из первых по времени рефератов этого семинара. Докладчиком был юноша, приблизительно мой сверстник, большой, как и я, поклонник романтизма и особенно самого *духа* романтики. Этот дух "романтического томления" был в его глазах чертой, проникающей всю историю человечества, но в разные времена принимавший разные формы. Этот "дух томления" и высшей Божественной Действительности он усматривал уже в словах Псалмопевца: "Как лань жаждет потоков воды, так душа моя жаждет Тебя, о Боже". И, конечно, в учении Платона об искании душою Красоты Божественной, и в средневековой мистике, и в творчестве Данте, как позднее в некоторых стихотворениях Шиллера и в "томлении" Гетевского Фауста, как и в лирике и философии немецкого романтизма, и в поэзии Лермонтова, Шелли и А.К. Толстого. Реферат был при этом главным образом посвящен талантливому русскому поэту-романтику, младшему современнику Пушкина – Дмитрию Веневитинову (1805–1827), умершему двадцати одного года от роду, но успевшему поразить своих друзей и весь русский литературный мир того времени яркостью таланта и силой духовного горения.

Помню оживленные прения, которые последовали за прочтением реферата. Главным оппонентом был человек, на вид уже немолодой,

но возраста неопределенного. Нам, юношам, он казался даже старообразным, хотя и был в студенческой расстегнутой куртке. Он казался мне типичным представителем и выразителем тогдашних революционно-интеллигентских настроений. Он слегка ехидно улыбался, насмешливо (как мне показалось) были прищурены и его подслеповатые глаза за поблескивающими стеклами очков в золотой оправе. Космы неприглаженных желтых волос свисали на воротник рубашки. Он с ехидной торжествующей стремительностью напал на юного докладчика, доказывая, что весь "романтизм" и так называемые "романтические тона" в одах Шиллера есть не что иное, как результат *разочарованности*, вследствие неудавшейся французской якобинской революции.

Молодой докладчик весь вспыхнул и взволнованно процитировал знаменитые слова одной из од Шиллера, вопрошая, какое это имеет отношение к французской и вообще какой бы то ни было революции:

Жаждою единою объяты,
От монгола – вверх – вплоть до Сократа,
И все выше, выше, без конца –
Всё спешим мы в восхожденьи этом
К тому Морю Вечности и Света,
Где нас ждут объятия Отца. *

Из обманутого политического расчета *такие* стихи не вырастают – таков был, повидимому, смысл этой цитаты.

Вот эта внутренняя убежденность в ценности духовного мира начинала звучать в молодом движении. В значительной степени действовали здесь и семена, брошенные в среду русской университетской молодежи лекциями и писаниями большого педагога и человека пылающего духа Кн. Сергея Николаевича Трубецкого (умершего в 1916 г.). Платоник и христианин, С.Н. Трубецкой своим духовным воздействием на молодежь навсегда вошел в историю русской религиозной мысли и жизни.

Недаром, названное его именем, образовалось в стенах Московского Университета сразу же после его неожиданной кончины "Общество Памяти кн. С.Н. Трубецкого". В него входило около трехсот студентов и около пятнадцати профессоров и приват-доцентов (в том числе Е.Н. Трубецкой, С.А. Котляревский, С.Н. Булгаков). Они устраивали собрания с докладами "миросозерцательного", преимущественно религиозно-философского и историко-религиозного характера. И здесь ярко выступала на первый план борьба за права духа, против "все-сокрушающего", воинствующего, атеистического материализма.

*) Задним числом, вспоминая этот эпизод, я попробовал перевести стихами, но только *приблизительно* эти слова Шиллера.

Характерно, что этот воинствующий материализм, как ни старался, вовсе не оказывался "все-сокрушающим".

Он был представлен трафаретными вызубренными "шпаргалками" своих пропагандистов, которые соединяли знание зазубренных ими формул с весьма скудными познаниями в области исторических фактов, философии и истории культуры и религии. Они просто не знали, что отвечать, когда им указывали на ряд исторических данных, не согласных с их теорией, т.к. все знание их проистекало из двух-трех кратких, тенденциозно подтасованных брошюрок, неточность и несерьезность которых легко было показать. Я помню вечера горячих и страстных споров и дискуссий, особенно на тему о происхождении христианства. Чувствовались новые веяния среди молодежи, признание ценности и важности духовного начала жизни, соединенных с гораздо более серьезным и критическим изучением фактов истории.

Но не только борьба за права духа против устаревших уже оков нигилистически-материалистического мирозерцания характеризовали эту молодежь: ее притягивали также и памятники художественной красоты и горения духовного. Поэзия Данте, средневековая культура и мистика, античный мир и раннее христианство, Платон, Плотин, эпоха Возрождения, Микель Анджело и платонизирующая мысль Ренессанса, испанская культура и драма, Гетевский "Фауст" и немецкие романтики, Паскаль и Достоевский, духовность мира, согласно Лейбницу и Лопатину, русский фольклор и сравнительная этнография – вот что вдохновляло целый ряд представителей этой молодежи и давало материал для горячих дискуссий, подчас весьма интересных, как, например, о взаимоотношениях между Средними Веками и Эпохой Возрождения) в университетских семинарах (практических занятиях). Тут готовились данные для создания нового умственного и духовного облика молодежи.

(Продолжение в следующем номере)



ВЛАДИМИР КАЗАКОВ

З У Д Е С Н И К

*Мироздание начинается с
четверга*

А. КРУЧЕННЫХ

Одна знакомая спросила меня об Алексее Крученых: "Почему никто не знает его?"

А теперяки под заводом сидят
И не знают:
Вся затучная свеха
Мне отдана!!!

Вот что сказал по этому поводу сам Крученых. Теперяки сидят и не знают.

Крученых пишет, пьет вино, любит женщин, играет в карты, в кармане у него крапленая колода.

Ночь застает его возле внутреннего луча.

Божество создало в отдельности Велемира Хлебникова и Алексея Крученых, чтобы не соединить их в одном лице.

Они знакомятся. Хлебников пишет из Петербурга Н.В. Николаевой: "... я имею удовольствие видеть каждый день Крученых".

Добывая из воздуха то стихи, то жесты, то несколько ниток звезд, играя ночь напролет, Крученых...

Его секунды так сверкающе-грозны! Он разрезает поток времени, как вставшая поперек острая глыба.

То вдруг обидится, как ребенок.

Ночь, пустыня, запинаящийся свет звезд. Хлебников писал о нем:

Вы очаровательный писатель,
Бурлюка отрицательный двойник!

Отрицательный двойник самого Велемира.

Они в разных концах России. Божество, создавшее их, ранит себя, стихи сочатся двумя потоками, смешиваясь с раздавленным стеклом секунд.

Звезды умирают, чтобы, наконец, научить не бояться смерти.

Страшен только первый гудок крови,
Мы потом ее смакуем как терпкое вино!

Это Крученых.

С подоконников, со звезд – отовсюду льется свет ночи.

А-а-а!.. жадно есть начну живых
Законы и пределы мне ли?!

Это Крученых – а кто же еще?

Я видел его беззубым, старым, в выцветшей тюбетейке, великим. Вино превратилось в уксус, он разогревал его на огне, пил и говорил: "Велемир любил запах муравьиного спирта".

Он сказал мне о моих стихах: "Я пишу такие же, но рву их".

Когда он вдыхал воздух, воздух замирал на мгновение.

Он написал мне на подаренной книге: "Держитесь прозы!"

Завтра же эти стены вновь станут каменными и неживыми.

Он мне рассказывал о своих выступлениях в "Стойле Пегаса" у Сергея Есенина: "Обычно чтецы-поэты подкупали официантов, чтобы те не гремели посудой во время их чтения. Я же никого не подкупал, я читал так, что никакой посуды и никакой сволочи слышно не было!"

Он осторожно коснулся своей старой груди (81 год!) и сказал: "Я лучше всех в Москве читаю стихи!"

Зудесник!

Были времена, когда оба создания Божества сходились для совместной работы, были соавторами.

Игра в аду и труд в раю –
Хорошеуки первые уроки.
Помнишь, мы вместе
Грызли, как мыши,
Непрозрачное время –
Сим победиши!

(В. Хлебников "Алеше Крученых").

Многим недоступен Крученых: теперякам и нетеперякам, поэтам и непэтам. Но главное, что его поэзию любили Хлебников, Маяковский, Пастернак, Хармс и Введенский.

Главное, что его поэзию люблю я.

У поэзии Крученых вкус свежей, только что зарезанной вечности. Он заболел, умер. Когда он лежал, умирающий, белые больничные занавески на окнах казались ему листами чистой бумаги.

Он промолвил, указывая взглядом на своих соседей по больничной палате: "Я здесь со всеми сроднился..."

О, эти слова умирающего Крученых! Какое молчание наступило за ними!

В одной из ночных времябоен, то есть, в подворотне, я столкнулся со странной фигурой. Женский голос спросил:

– Что это, час или минута?

Мне стало так странно, словно я оглох или, наоборот, впервые увидел увидел свет. Я вымолвил:

– Теперь это уже ни то, ни другое... А что, это Мясницкая?

– Да. Вот дом, где жил Алексей Елисеевич Крученых.

– Откуда вы про него знаете? Простите меня, я удивился, чтобы не окаменеть.

– Я была с ним знакома. Он часто приглашал меня к себе. Мы сидели рядом на его сундучке. Он ладонью гладил мне голову.

Это была Н. После она исчезла, а я исчез еще раньше.

Моя первая встреча с Алексеем Крученых произошла в июле 1966 года.

Его девизом было: выжить во что бы то ни стало!

в лицо плюют карболкою напрасно –
как будто пухну от ядопоя
и пистолета выстрел
застенчиво гаснет!..

И победил.

... мне же смерти нет
и нет убоя!

Делает усилие, чтобы вдохнуть в себя всю стену воздуха разом.
Ночная стена.

Больно мне, больно
Опереться горлом
На турецкую фисташку!

Каменный угол неба, отшлифованный локтями и подоконниками.
В своей каморке, набитой и заваленной книгами, Крученных бесшумно
сопровождал свою тень – грозный поэт.

Свет звезд доставался ему даром. Он любил получать даром.

Над землей будун
Кувыркаль
Хохочьюк хохочущ
XXIU века
Я смею!

Ольга Розанова любила его.

Москва, 1971 г.



ГЕННАДИЙ ПАНИН

ВСТРЕЧА С АХМАТОВОЙ

В феврале 1923 года я оказался в Петрограде и получил назначение заведывать клубом Военно-технической школы красного воздушного флота, что помещалась на Ждановской набережной Петербургской Стороны. Мне посчастливилось узнать, что Анна Ахматова в Петрограде, что она временно живет в квартире отсутствующего художника Судейкина, на набережной Фонтанки (в 1964 году Лев Озеров* в очерке "У Анны Ахматовой", помещенном в "Литературной России", так писал об этой квартире поэтессы:

"...Это Фонтанный дом – один из самых старых в Питере, а дубы во дворе этого дома старше самого Питера. Многое видела узкие окна этого дома. Здесь тридцать пять лет прожила Ахматова, здесь прошли лучшие ее годы, и под лучшими ее стихами проставлено: та-кой-то год, Фонтанный дом..."

Сама Ахматова вспоминает это же свое жилище в "Поэме без героя".

*) Озеров, Лев Адольфович (р. в 1914 г.) – поэт, переводчик, критик.

Так под кровлей *Фонтанного Дома*,
Где вечерняя бродит истома,
С фонарем и связкой ключей, —
Я аюкала с дальним эхом,
Неуместным смущая смехом
Пыробудную сонь вещей;

.....

Я раздобыл ее адрес. И однажды днем запущенная лестница многоквартирного петроградского дома привела меня к заветной двери. На звонок открыла старая женщина. Узнав, к кому я, она указала — где следовало висеть моей красноармейской шинели и куда я должен был положить свою "буденовку", затем ввела в просторную, со вкусом убранную комнату. Обращали на себя внимание многочисленные старинные иконы, украшавшие одну из стен. Вошла Ахматова, — не узнать ее было нельзя: я видел ее изображения несчетное число раз, знаменитую ее "челку" забыть было невозможно. Встретила она меня приветливо. Я пробыл у нее больше часа. Разговор раньше всего коснулся, естественно, гибели близкого ей человека (рана была свежа). Ахматова поведала, что расстрел Николая Гумилева явился для нее неожиданностью: влиятельные друзья до последней минуты заверяли ее, что несчастье будет предотвращено.

Узнав, что я только что из Крыма, ряд лет отрезанного от Петрограда гражданской войной, Ахматова стала меня расспрашивать о литературной жизни в Крыму за последние пять лет, о застрявших в Крыму поэтах и писателях. Имена Максимилиана Волошина, Георгия Золотухина, Константина Тренева, Тихона Чурилина для нее не были лишь одними звуками. Я поделился с ней тем, что знал. Она со вниманием меня слушала. В это время в комнату вошел худенький мальчик — сын Ахматовой и Гумилева, что-то спросил у матери, и сейчас же ушел.

Я попросил Ахматову прочесть несколько стихотворений. Не заставляя себя уговаривать, она достала тетрадку в клеенчатой обложке, такими тетрадками обыкновенно пользуются школьники, исписанную характерным женским почерком, прочла несколько стихотворений. На прощанье она подарила мне незадолго перед этим вышедший сборник ее стихов "У самого моря". Написала на нем чернильным карандашом несколько слов, мне на память. Маленькая деталь: разглядывая тетрадь с ее стихами, я обратил внимание, что они написаны исключительно чернильным карандашом. Спросил — разве она не пользуется пером. Ахматова, улыбнувшись, ответила: она во всех случаях предпочитает карандаш, даже ее издатели получают рукописи в карандаше.

Вторично, в последний раз, я видел Анну Ахматову в Петрограде же, в том же году, 16 июня на "Вечере поэтов", где выступала и она. Но на этот раз я сидел в публике.

Мне выпало счастье провести час в беседе с той, чьи стихи всег-

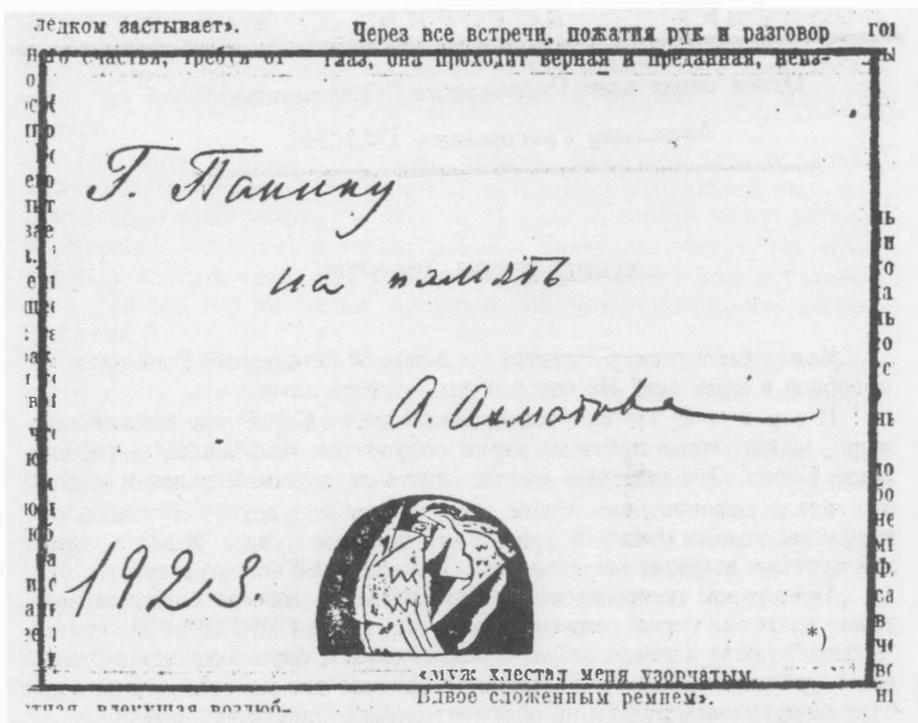
да радовали меня, чьи строки близки сердцу и сегодня. Этот час для меня драгоценен, и я благодарю судьбу, мне его подарившую.

* * *

"Ваш акrostих Ахматовой я ей (при случае) перешлю. Я с ней иногда немножко переписываюсь, но об этом прошу Вас другим не говорить."

(Из письма от 1 марта 1965 г. эстонского поэта проф. Алексиса Раннита). *

*) Речь идет о моем триолете-акrostихе "АХМАТОВА" ("Авроры ярче дар неожиданный...") – Г.П.



*) Автограф-надпись на сборнике Анны Ахматовой "У самого моря", подаренном мне поэтессой в феврале 1923 года, в Петрограде, при посещении ее в доме на Фонтанке. (Из архива автора – Г.П.).





ПОЛИТИКА

ИСТОРИЯ

КУЛЬТУРА

Отдел ведет член Редколлегии "Современника"

Александр Григорьевич ГИДОНИ

КОНЦЛАГЕРЯ СМЕРТИ.

Может быть, автор гонится за дешевой сенсацией? Возможно ли подобное в наши дни? Но вот факты – судите сами.

Первый: На Юге европейской части СССР, на Каспийском море, можно легко найти на карте полуостров Мангышлак на заливе Кара Богаз. Это мертвые места: пустыня, соляной залив и уходящие вдаль солончаковые степи, где ничего не растет. Но здесь обнаружены залежи урана. А уран – это военные нужды. И вот в мертвой пустыне выросли мертвые зоны концлагерей вокруг шахт.

Директором промышленного комплекса по добыче и обогащению урана является герой социалистического труда ГРИГОРЬЯН. Это он "хозяин" тысяч и тысяч рабов – заключенных, спускающихся ежедневно в урановые шахты без защитной одежды или работающих на очистке смертельной руды и на обогатительных кривинатах урана.

Свидетель В., побывавший в этом районе не как заключенный, а в роли вольнонаемного инженера, вспоминает, что однажды в его присутствии было предложено Григорьяну попытаться посадить в этом районе деревья и цветы, но в ответ прозвучало: "Для меня лучшее украшение места – это вышки и запретные зоны лагерей".

А из городов Астрахани и Гурьева специальные тюремные баржи везут и везут в эти лагеря все новые партии заключенных: продолжительность жизни для работающих под землей не превышает года.

Лагерь принудительного труда заключенных на урановых разработках не единичное явление: группа таких лагерей есть в районе города Желтые Воды на Украине. Десятки таких лагерей можно увидеть в Казахстане около города Аксу.

А в центре СССР, в Вологодской области, близ города Череповца, есть три лагеря, куда отправляют также и заключенных, приговоренных к смерти: радиация урана там настолько высока, что более 6–7 месяцев редко кто выживает. Зачем тратить пули? Разумное, прагматичное решение: до смерти ты еще поработаешь на благо коммунизма. В этих лагерях находится постоянно около 9000 заключенных.

В т о р о й ф а к т. Посмотрим, что делают в лагерях для политзаключенных неподалеку от Москвы – в Дубровлаге, в Мордовии. Есть там концлагерь № 10 спецстрогого режима. Это, по сути дела, не лагерь, а тюрьма, т.к. заключенные там находятся в камерах и в этом же тюремном помещении работают на фабрике, где шлифуют стекла.

Обработка граней и шлифовка ведется на карборундовых дисках, механизмами, и потому воздух всегда насыщен стеклянной пылью. А вентиляцию там сделать – забыли. И пыль – десять часов работы ежедневно! – оседает в легких рабов – политзаключенных; а потом они переходят в соседние, жилые камеры, и дышат там остальные 14 часов все той же пылью, проникающей во все помещения лагеря-тюрьмы.

Надо отдать должное выдумке садистов из КГБ: опять не надо ни пуль, ни виселиц – умрут сами, силикоз (окаменение легких) в этом концлагере гарантирован всем.

Т р е т и й ф а к т. СССР – атомная держава. При активной помощи пока еще свободных стран Запада там построена мощная военная промышленность. Среди оружия, нацеленного на Запад – атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами, которые строят и на Балтийском море на верфях Колпино, и на Черном море в городе Жданове, и во Владивостоке на Тихом океане. И базы этих военных подводных лодок разбросаны по всем побережьям СССР – от Заполярья (остров Врангеля) до курортных побережий Черноморья.

Эти смертоносные гиганты бороздят моря вокруг свободных стран Запада, а в СССР приходят на отдых, ремонт и чистку дюз атомных двигателей. Кто же исполняет эту страшную работу, кто рискует жизнью? Конечно же, заключенные – испытанно-безотказная рабочая сила.

Вот адреса лагерей, где заключенные чистят смертоносные дюзы атомных подлодок: Бухта Ракушка, южнее г. Владивостока – два

лагеря; пос. Тарья на Камчатке – один лагерь; гор. Северодвинск на Северном море – два лагеря обслуживают ремонтную базу атомных подводных лодок; в Эстонии – до 1939 г. независимом государстве, а сейчас колонии СССР – в бухте Палдиски лагерь занят опять-таки на очистке дюз атомных подводных лодок. Это далеко неполный список ремонтных баз атомного подводного флота СССР, где беззащитные рабы посылаются на медленную смерть от облучения.

Будет ли конец длящемуся преступлению?

Опять боимся вмешиваться во "внутренние дела" СССР?

А.ШИФРИН

Executive Director of Research Center for C/camps
in the USSR

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА

На недавно состоявшемся конгрессе итальянских историков, ведущий идеолог ВСХСОН Е. Вагин прочитал доклад "Историческая преемственность в советской оппозиции". ("Голос Зарубежья", №5, 1977 г.), доклад интересный, проливающий свет на историю идеологии социал-христианского движения и знающий с социал-христианской теорией государства.

Прекрасны принципы, на которых г. Вагин намеревается построить новое государство на развалинах коммунизма. Подобающее место отводится церкви, семье, не забыта и экономика, основанная на принципах частной собственности. Все прекрасно, но... "партийная организация власти неприемлема с точки зрения социал-христианства".

Стены здания спроектированы замечательно, не забыты башни и купола, но идея фундамента "неприемлема с точки зрения архитектора".

Кто же и как будет представлять народ в этом "беспартийном" государстве? Не подлежит сомнению, что в будущей России ее граждане пожелают "свое суждение иметь", суждение, не всегда совпадающее с принципами г. Вагина. Но, если нет партий, объединяющих одинаково мыслящих граждан, и нет форума, где эти партии могут выносить свои идеи на публичное обсуждение, т.е. парламента, то идея такого "беспартийного" государства так же неприемлема, как и идея "бесклассового" общества.

Принцип бесклассового общества является весьма отдаленным идеалом. Попытки провести этот идеал в жизнь или вообще не давали никаких результатов, или, как в СССР, вели к созданию такой сложной системы каст и классов, что, по сравнению с ней, социальная и общественная дифференциация Индии является примером простоты и стройности.

Такой же неразрешимой задачей является и беспартийное государ-

ство, гарантирующее своим гражданам свободу мысли, печати, верования и владения.

В современном мире беспартийное государство это или диктатура, или олигархия. Такого ли рода идеал государства мерещится социал-христианам?

Г. Вагин говорит: "Исключительно ценной до сих пор остается идея Верховного Собора. Верховный Собор представляет собой воплощение духовного авторитета народа. Он должен состоять на одну треть из лиц высшей иерархии Церкви и на две трети из выдающихся представителей нации, выбираемых пожизненно. Не имея административных функций и законодательной инициативы, Верховный Собор располагает правом вето, которое он может наложить на любой закон или действие, которые не соответствуют основным принципам социал-христианского строя, чтобы предупредить злоупотребление политической властью.

Эти основные положения социал-христианской доктрины впоследствии детализировались и конкретизировались в Программе. Она стала возможной благодаря глубокому изучению целого ряда христианских мыслителей".

Я не философ, а юрист, меня более интересует практическое применение политической программы в жизни государства, чем ее философская мотивация. Итак, посмотрим, во что выльется применение теории беспартийного государства на практике.

Без сомнения, если социал-христиане намерены провести в жизнь свою программу в будущей России, они должны создать на ее территории свою организацию. Неважно, какое название сохранит или выберет эта организация – союз, партия, братство, но она должна быть создана именно для достижения одной цели – создания беспартийного государства.

Очевидно, ее конечной целью должно быть полное сосредоточение власти в руках ВСХСОН, иначе проведение программы становится невыполнимым. Но не следует забывать, что любая организация, взявшая власть в государстве, силой сложившихся обстоятельств становится политической партией. Таким образом, идея беспартийного государства, пропагируемая ВСХСОН, автоматически гибнет в день пришествия к власти этой организации и заменяется идеей однопартийного государства.

За монополией власти ВСХСОН наблюдает Собор, "налагающий вето на любой закон или действие, которые не соответствуют основным принципам социал-христианского строя". Рекомендую обратить внимание на термин "действие", под понятие которого подпадает не только нечто более значительное, вроде созыва собрания к тому времени подпольных демократов или монархистов, но и простое чтение их литературы, как не соответствующей основным принципам социал-христианского строя.

Для борьбы с политическими организациями и сохранения принципа беспартийного, а на самом деле однопартийного государства, ВСХСОН должен создать особую организацию. Конечно, не Чрезвычайную Комиссию, но почему не создать Обыкновенную Комиссию?

На такие смешные и в то же время грустные мысли наводит теория г. Вагина о беспартийном государстве.

Можно предположить, что, когда составлялась программа ВСХСОН, ее идеологи имели лишь смутное представление о том, как существуют и действуют демократии на Западе, но в настоящее время, если не всем им, то, во всяком случае, г. Вагину дана полная возможность на практике изучить и демократию, и неразлучный с ней принцип парламентаризма. Изучить и внести в свою программу.

ЛЕВ ФАБРИЦИУС

ПО СЛЕДАМ ГАЗЕТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

РЕПЛИКА

Браво!.. Искренние поздравления Елене Клепиковой и Владимиру Соловьеву в связи с их великолепным ответом (11 ноября сего года) многочисленным и недоброжелательным критикам в ходе дискуссии на страницах газеты "Новое Русское Слово". На стороне Е.Клепиковой и В.Соловьева – культура и логика, здравый смысл и объективность, истинный (и потому критический) патриотизм. На стороне их оппонентов: демагогия и верхоглядство, элементарное – порой – невежество и высокомерный шовинизм. В такой поединке, несмотря на число демагогов, побеждает качество аргументации, а не количество ярлыков, которые кем-то наклеиваются на не угодных кому-то авторов.

Абсолютно правы Е.Клепикова и В.Соловьев, когда клеймят, говоря их словами, "многочисленную армию неосталинской сволочи, которая под лозунгами великодержавного национал-шовинизма... возрождает сейчас в России самые страшные ее времена."

Одна оговорка: может быть, не совсем удачно Е.Клепикова и В.Соловьев окрестили этих неосталинских шовинистов "*Русской*" партией. (Получается, по логике, что все другие, возникающие в России общественно-политические группировки – *не русские*). Однако общий смысл их утверждений, их пафос, можно только приветствовать.

Еще раз – браво!

А. Г.

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Читая страницы пожелтевших газет, смотря на события пятидесятилетней давности, так сказать, "сквозь призму времени", приходишь к мысли, что проблема гибели Савинкова "затуманена", не увязана с глубокими конспиративными интригами при дележе ленинского наследства, с директивами Зиновьевского Коминтерна по развертыванию террористических акций в соседних с СССР странах и подготовки восстаний, как например, в Болгарии в 1923 и 1925 гг. (в частности, взрывом в столичном городе Болгарии Софии, 16-го апреля 1925г.).

Обращают на себя внимание следующие даты.

Б.В. Савинков был арестован в г. Минске 16-го августа 1924 г. Уже 21-го августа того же года ему было вручено "Обвинительное Заключение".

27-го августа 1924 г. в 11 часов утра начался суд трибунала Военной Коллегии Верховного Суда СССР.

29-го августа 1924 г. вынесен приговор с присуждением к смертной казни, но с ходатайством перед Президиумом ВЦИК о смягчении приговора, и ВЦИК заменяет расстрел на 10-летний срок заключения.

Какая внутривнутриполитическая обстановка была в то время в Советской России?

1. На одиннадцатом съезде партии, в марте 1922 г. Ленин в последний раз делал политический доклад, а на первом пленуме, по предложению Зиновьева, Сталин был избран Генеральным секретарем Советского Союза, при "прохладном" согласии Ленина.

3. 25 мая 1922 года с Лениным случился первый удар, и он оказался не у дел до октября 1922 г. В этот промежуток времени партией и страной управляла "тройка": Каменев, Зиновьев и Сталин.

4. Возвратясь к работе в октябре 1922 г., Ленин нашел чрезмерно разросшееся влияние партийной бюрократии в ЦК, особенно в возглавляемом Сталиным Секретариате ЦК, и в Оргбюро ЦК, во главе которого стоял Молотов.

Чтобы ослабить раздутую роль бюрократии в ЦК, Ленин предложил создать комиссию по проверке аппарата ЦК и – второе – расширить состав ЦК с 27 членов до 40 человек. В течение октября и ноября он чувствовал себя вполне работоспособным: 20-го октября выступил на пленуме Московского совета и 3-го ноября сделал доклад на Четвертом конгрессе Коминтерна. Но с 16-го декабря здоровье его опять ухудшилось. Он почувствовал начало конца, и 23–26-го декабря продиктовал свое первое письмо для двенадцатого съезда с предложением расширить число членов

ЦК до 40 человек. 24–25-го декабря продиктовал второе письмо-завещание, дающее оценку лидерам партии, а 4–5-го января 1923 г. сделал приписку к завещанию о замене Сталина на посту Генсека другим лицом. Предвидя конец Ленина, Сталин решил, что с ним можно не особенно считаться. Он стал грубить жене Ленина – Крупской, отказался выдать на просмотр Ленину материалы по грузинскому вопросу, а в марте, накануне двенадцатого съезда так обругал Крупскую, что она в слезах рассказала об этом Ленину. Ленин продиктовал письмо Сталину, что он порывает с ним личные отношения. После такого волнения с ним случился третий удар, он лишился речи и был частично парализован.

Двенадцатый съезд компартии проходил 17–25-го апреля 1923 года уже без участия Ленина. Письмо-завещание на съезде оглашено не было. Оно, по указанию Ленина, должно было быть вскрыто после его смерти. Но все предложения Ленина съездом были приняты.

В течение последних десяти месяцев умирания Ленина "тройка" активизировала свою работу. Зиновьев и Каменев были заняты вопросом удаления Троцкого, а Сталин – назначением своих сторонников на возглавление партийных органов в областях. Его помощники в Секретариате ЦК (Товстуха, Мехлис) занялись анализом выборных бюллетеней, определяя, кто из делегатов съезда голосовал против Сталина, а также составляя списки ораторов, выступавших против сталинского руководства на предсъездовских партийных конференциях всех уровней.

Но этой стороной деятельности Сталина Зиновьев и Каменев не считали нужным интересоваться. Они были заняты вопросами высшей политики: Зиновьев занимал пост Председателя Коминтерна, а Каменев председательствовал в Совнаркоме и в Политбюро. Через два года сталинское большинство выгонит их не только из ЦК, но и из партии.

1924 год был насыщен большими событиями в политической жизни компартии и страны.

21-го января умер В.И. Ленин – основатель большевистской партии в России и Третьего коммунистического интернационала.

Возглавлять руководство официально стала "тройка" – Г. Зиновьев, Л. Каменев, И. Сталин. Все они ненавидели Л. Троцкого, которого, наряду с Лениным, страна и партия признавали вождем. В июне месяце, выступая на курсах уездных секретарей парткомов, Сталин сделал большую политическую ошибку, которая едва не стоила ему потери поста Генерального Секретаря. Он заявил слушателям, что "диктатура пролетариата" заменяется "диктатурой партии" и, кроме того, обвинил Зиновьева и Каменева в разных ошибках. Зиновьев реагировал остро: он экстренно созвал "руководящих партийных работников" в составе Политбюро и 25-ти членов ЦК. Совещание осудило сталинские тезисы, в результате чего Сталин заявил об отставке со своего поста Генсека. Но отставка его не была принята.

Троцкий написал книгу "1917 год. Уроки Октября", в которой указывал, что Зиновьев и Каменев были против Октябрьского выступления и, следовательно, в вожди не годятся. Зиновьев и Каменев требовали исключить Троцкого из партии, но не собрали большинства в ЦК.

Произошло восстание в Грузии.

На пятом конгрессе Коминтерна Зиновьев выдвинул болгарина Коларова, противника Троцкого, в генеральные Секретари исполкома Коминтерна.

16-го августа арестован злейший враг большевиков – Борис Викторович Савинков.

С осени 1924 г. принято решение (см. "Континент" №11, стр. 326) организовать грандиозный террористический акт для уничтожения всей правящей верхушки Болгарии вместе с царем Борисом.

Какое значение имела внутривластная борьба в коммунистической партии СССР в судьбе арестованного Савинкова? – Р е ш а ю щ е е. Арест в 1924 году не только не повлек его немедленного расстрела, но был воспринят в партийных кругах и Политбюро с большим удовлетворением, как знак одержанной ими огромной победы исторического значения.

Удалось из "ничего", из иллюзорных врагов, приготовить такую хитрую приманку ("Трест" и "Партия либеральных демократов"), что на нее клюнули и монархисты, о которых не слышно было в течение четырех лет гражданской войны, и посидевшие от полувекового "хождения в народ" народники, и отсидевшие в разных стационарных и пересыльных тюрьмах, как в Империи, так и в Совдепии, социалисты-революционеры (эсеры).

Верховодившая в 1924-ом году "тройка" Зиновьев–Каменев–Сталин с явным превосходством Зиновьева, санкционировала устройство небывалого суда, демонстрировавшего "таинство признания" великого грешника Савинкова Бориса Викторовича.

По форме суд представлял собой диалог: с одной стороны Военная коллегия Верховного Суда в составе Ульриха, Камерона и Кошнерюка задавала вопросы, а Б.В. Савинков произносил длинные, волнующие монологи. Аудитория слушателей состояла из партийной элиты и членов Коминтерна. В числе слушателей в зале находились: Л. Каменев, исполняющий обязанности Председателя Совнаркома, нарком юстиции Курский, Председатель Верховного Суда Красиков, члены исполкома Коминтерна Коларов, Бела Кун, из ОГПУ – заместитель Дзержинского, Вячеслав Менжинский и другие.

Савинков говорил спокойно, красиво, убедительно и вызывал, казалось, полное доверие слушателей. По существу, он признал, что:

а). он, Савинков, не перебежчик, а военнопленный;

б). он считает себя побежденным и признает советскую власть, как "власть рабочих и крестьян";

в). он признает свою вину в полном объеме и пощады не просит.

Единственное, что он просит – это считать его также революционером, отдавшим всю свою молодость делу защиты трудового народа и ни-

когда не искавшего для себя привелегий.

Однако, между легендой, рассказанной ОГПУ – как был пойман Борис Савинков, и тем, что сказано Савинковым на процессе, нет полного соответствия. Савинков напирал на свое "раздумье", что он-де, совершил ошибку: рабочие и крестьяне пошли за большевиками, а не за ним и его партией эсеров, и что теперь он убедился в этом.

По официальной версии, ни на какое "раздумье" Савинкова никто в ОГПУ не рассчитывал. Просто, наряду с уже созданным чекистами для заманивания монархистов провокационного плана "Трест", был в 1923-ем году создан параллельный план по поимке самого Савинкова под названием "Синдикат". Идея создания "Синдиката" принадлежала заместителю начальника ОГПУ В. Менжинскому; составителем плана был руководитель контрразведки Артур Артузов.

План Артузова был принят, но Менжинский внес свои дополнения с указанием о необходимости учесть "личные человеческие особенности" Савинкова. Он наставлял:

– Савинков честолюбив, честолюбив чудовишно. На этом нужно играть. Внушите ему, что без его приезда у новой организации ничего не получится, признайте его вдохновителем и вождем. Только не перегните палку – Савинков очень умен, и на грубую лесть не поддастся. Далее – он прирожденный конспиратор и заговорщик, поэтому не подавайте ему все на блюдечке, пусть какие-то идеи исходят от него.

У него огромный опыт, он прекрасно знает, что в конспирации не бывает все как по маслу – предусмотрите и отдельные неудачи. После каждой советуйтесь с ним, внушите, что все нити организации уже у него в руках, для разворота дела не хватает только его личного прибытия в Москву. И последнее – Савинков предельно осторожен и подозрителен...

И игра началась...

Со стороны чекистов в ней приняли участие следующие "товарищи": Артузов Артур Христианович – в роли главы партии "Либеральных демократов", под именем Твердова Никиты Никитовича.

Пузицкий Сергей Васильевич – в роли члена ЦК партии ЛБ (либеральных демократов), профессора артиллерийской академии Новицкого.

Федоров Андрей Павлович – в роли члена ЦК партии ЛД, уполномоченного для ведения переговоров с Б.В. Савинковым об объединении ЛД с организацией "Народный союз защиты Родины и Свободы" (НСЗРиСв.) под фамилией Мухина А.П.

Пиляр Роман Александрович – в роли члена ЦК ЛД.

Демиденко – в роли члена ЦК ЛД.

Пудов – в роли члена ЦК ЛД.

Сыроежкин Григорий Сергеевич, курьер ОГПУ по особым заданиям.

Крикман Ян Петрович – в роли "савинковца", советского пограничника, ведавшего переправой курьеров через польско-советскую границу, действовал под именем Батова Ивана Петровича.

Со стороны организации "Народный союз защиты Родины и Свободы" (НСЗРиСв.) – организации Савинкова – были вовлечены следующие лица:

Савинков Борис Викторович, долженствовавший возглавить объединенный ЦК "Либеральных демократов" и "Народного союза защиты Родины и Свободы."

Зекунов Михаил Дмитриевич – резидент в Москве от организации НСЗРиСв.

Шешеня Леонид Данилович – бывший адъютант Савинкова и посланец от НСЗРиСв. из Польши для активизации резидентов в СССР.

Фомичев Иван Терентьевич – посланец в Москву для проверки деятельности Шешени и Зекунова и ознакомления с организацией "Либеральных демократов".

Павловский Сергей Эдуардович – полковник, начальник военного отдела НСЗРиСв., друг и телохранитель Савинкова, Чрезвычайный ревизор для установления реальности "Либеральных демократов".

Философов Дмитрий Владимирович – редактор газеты в Варшаве.

Шевченко Е.С. – член ЦК НСЗРиСв.

Дикгоф-Деренталь Любовь Ефимовна – интимный друг Б.В.Савинкова.

Дикгоф-Деренталь Александр Аркадьевич – муж Любви Ефимовны и ближайший советник Савинкова.

Однако, исходные позиции в этой конспиративной игре были далеко неравными: ОГПУ имело полные разведывательные данные о структуре, деятельности, местожительстве, связях организации Савинкова, в то время, как противная сторона ничем подобным не располагала. Посылаемые же эмиссары (разведчики) и прежде осевшие в городах резиденты попадали в руки чекистов, использовались в интересах большевиков или расстреливались без огласки.

Об этой стороне трагедии Савинкова мало что было известно широкой публике, и только 43 года спустя после смерти самого Савинкова, в 1968 году, в Москве вышла книга Василия Ардаматского "Возмездие", где автор подробно описал все перепетии, связанные с заманиванием Савинкова на территорию СССР и арестом его в Минске 16-го августа 1924-го года.

Теперь стало известно, что Зекунов М.Д. – резидент в Москве от организации НСЗРиСв., стал активным сотрудником чекистов в операции "Синдикат". Он три раза через "окно" в границе проходил в Польшу и возвращался обратно в Москву, не вызвав никакого подозрения ни в польской, ни в савинковской контрразведках. Он при этом снабдил польскую разведку "ценным секретным материалом", сфабрикованном в ОГПУ.

Также стал активно сотрудничать с чекистами и бывший адъютант Савинкова – Шешеня Л.Д., пойманный сразу после перехода польско-советской границы, к востоку от г. Луненца. Спасая себя от расстрела, он сообщил пароли явочных квартир в Москве – Зекунова, а в Смоленске – штаб-капитана Герасимова.

Шешеня под диктовку чекистов изготовлял и отправлял в Варшаву доклады о своей успешной деятельности в качестве руководителя московской группы НСЗРиСв. и о своем знакомстве с "профессором артиллерийской академии Новицким".

Отлично был подготовлен и разыгран спектакль с переговорами "члена ЦК Либеральных демократов", чекиста Андрея Павловича Федорова (под псевдонимом – Мухин) с одной стороны, и членов ЦК НСЗРиСв. Философова Д.В. и Шевченко Е.С. в Варшаве) и самого Савинкова Б.В. (в Париже) – с другой.

Легенда о существовании разветвленной и влиятельной организации "Либеральных демократов" была хорошо отрепетирована Мухиным под режиссерством самих руководителей ОГПУ – Дзержинского и Менжинского. Легенда в исполнении Федорова-Мухина понравилась Савинкову настолько, что он позабыл о "мире самодельных иллюзий" и о "привычке видеть Россию такой, какой нам хочется" – его собственные выражения, не раз употреблявшиеся им для "отрезвления" собеседников.

Он также позабыл, что идея "либеральной демократии" не соответствует его политическому кредо: опоры на крестьянское движение, как реальной общественной силы. И хотя при всестороннем обдумывании новой авантюры набежали тени сомнения (...откуда вдруг появилась организация, о которой никогда ничего не было слышно? Почему в репрессиях, проводимых чекистами, не упоминались жертвы – либеральные демократы?...) – иллюзии очаровывают Савинкова, и он решает для проверки на месте (в СССР) послать своего надежного эмиссара – полковника Сергея Эдуардовича Павловского. Проверке подлежали два закрепившихся резидента-савинковца: Зекунов Михаил Дмитриевич и Шешеня Леонид Данилович.

Здесь необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство.

С 1924 года, как во время процесса Савинкова, так и после него, в советской печати никаких сведений о Зекунове, Шешене и Павловском не появлялось. Об их роли стало известно лишь в 1968 году после выхода в свет уже упомянутой книги В.Ардаматского "Возмездие" и из книги, изданной в 1969 году в Москве – "Менжинский" (авторы – Т.Гладков и М.Смирнов). Но не исключено, что действия, разворачивающиеся в книгах вокруг этих имен, во многом – плод авторской фантазии. К тому же, еще более настораживает то обстоятельство, что некоторые факты, описываемые автором, мягко выражаясь, не в ладах с географией.

Так, например, Шешеня, адъютант Савинкова, по утверждению Ардаматского, был схвачен советскими пограничниками сразу, как только перешел польско-советскую границу в районе города Луненца, который на карте Белоруссии обозначен на юге республики (восточнее города Пинска и западнее железнодорожной станции Житковичи). Пойман он был пограничником Суворовым Александром со товарищем. Лихой кавалерист, полковник Павловский брал границу напролом, зарубив Суворова Александра, и затем вместе со своим спутником Аркадием Ивановым за двое суток, с

привалом на отдых, добрались до города Велижа, расположенного на самом севере Белоруссии (в 28 километрах от границы Белоруссии, в Смоленской области).

Пересечь всю Белоруссию с юга на север на лошадях за двое суток...? Такая скорость неправдоподобна. Очевидно, автор, не посмотрев на карту, для "вящей убедительности" внес в легенду действительный исторический факт – Велижское восстание, происшедшее осенью 1918 года и зародившее в Велижском районе очаг партизанской антикоммунистической борьбы, длившейся пять лет, до 1923 года.

Но и ныне живущие современники и участники этой борьбы не могут назвать имени полковника С.Э. Павловского, хотя хорошо помнят ее историю и имена действительных руководителей: братья Нилёнки, Громобой, Оберон, братья Жигаловы, Томила, Чуркин, Быстров, Ордын, Волков. Более того, если по объявленной амнистии, в 1923 году из леса в организованном порядке, с оружием явились все антикоммунистические партизаны, находившиеся под командой Томилы и Быстрова (Нилёнки, Громобой, Оберон, Жигалов, Ордын, Чуркин к тому времени погибли), то Димитрий Иванович Волков, командир одного отряда, вместе со своим другом Сорокой отказались явиться и, после этого, в течение пяти лет скрывались в этом районе. Только в 1929 году они добровольно явились в штаб Западного военного округа (были арестованы, судимы трибуналом и расстреляны). Если бы С.Э. Павловский в самом деле бывал в этих местах, то командира отряда Д.И. Волкова, оперировавшего в этом районе с 1918 г., он бы знал, а мифическому "Даниле Ивановичу" нетрудно было бы разыскать и свести Павловского с Волковым, от которого Павловский мог бы получить действительную информацию о внутривнутриполитической ситуации того времени, а не "лезть на рожон". Значит, в Велиже Павловского никогда не было.

Далее, попав в лапы к чекистам и зная точно от своего следователя Пиляра, что ему пощады не будет, храбрый полковник Павловский (он это доказал своею смертью на Лубянке) играет с чекистами в "кошки-мышки" – и все на пользу чекистов. На инсценированном заседании Объединенного центра "Либеральных демократов" и "Московской группы СЗРиСв." у Павловского была возможность сделать внушительный знак Фомичеву (специально для этого посланному Савинковым), что все это – ПРОВОКАЦИЯ! Но сценарий, разыгранный на этом объединенном заседании, не внушает доверия читателю.

В книге Ардаматского говорится: "После закрытия заседания он (Фомичев – Г.Г.) быстро подошел к Павловскому, они обнялись и расцеловались. Пиляр понимал, что если он будет настойчиво держаться возле Павловского, Фомичев может что-то заподозрить, и отошел в сторону. Но Павловский сам приблизился к Пиляру, прося его не оставлять наедине с Фомичевым" (?!). "Фомичев снова отвел Павловского к окну и там, заглядывая ему в глаза, заговорил что-то шепотом. И вдруг Павловский резко от

него отвернулся и громко сказал: "Я не знал, Иван Терентьевич, что Вы настолько бестактны! Здесь играть в секреты неприлично. Здесь – наши соратники. Я буду вынужден доложить о вашей бестактности Борису Викторовичу. С этими словами Павловский вышел из комнаты в переднюю, где его ожидал Пиляр." Невероятно!...

..Но оставим пока критику версии о хитроумной ловушке, в которую заманили непревзойденного конспиратора и мастера индивидуального террора Б.В. Савинкова, будущим историкам, которые будут иметь возможность изучать архивные материалы ЧК-ОГПУ.

Перейдем к анализу известных фактов и их связи между собой.

В 1924 году созревали две противоречивые концепции о судьбе революции в СССР. Первая концепция – форсирование мировой революции в соседних с СССР странах (с надеждой на германский пролетариат). Россия же считалась громадным плацдармом для подготовки и организации мятежей и восстаний в соседних с СССР странах путем активизации Коминтерна, возглавляемого в то время Григорием Зиновьевым. В рамках этой концепции находилось место для использования всех незаурядных способностей Бориса Викторовича Савинкова.

Эта концепция и продиктовала директиву Военной коллегии Верховного Суда ходатайствовать перед ВЦИК о смягчении наказания и предвосхитила постановление (Указ) о замене смертной казни Савинкову десятилетним тюремным заключением.

В тюрьме ему были созданы привилегированные условия: хорошее питание, отдельная камера с ковром, необходимые санитарно-гигиенические удобства, продолжительные прогулки в тюремном дворе и даже, в сопровождении чекистов – прогулки по Москве. К нему допускались иностранные корреспонденты. Доставляли литературу по его желанию. Его письма шли за границу. Распукался слух о его освобождении и предоставлении работы на высоком посту.

Савинков, по-видимому, не оставался в долгу и делился с чекистами своим конспиративно-террористическим опытом. Нельзя объяснить случайностью тот факт, что уже в сентябре 1924 года Исполком Коминтерна дал указание члену Исполкома болгарину Василию Коларову взять реванш за провал коммунистического восстания в 1923 году, подготовив грандиозную акцию – уничтожение сразу всех носителей власти в Болгарии: Монарха, членов правительства, генералов армии и высших чинов полиции, чтобы сразу захватить власть. В этом головокружительном террористическом размахе чувствуется фантастический почерк автора "Коня Бледного".

Петр Семерджиев, бывший член Болгарской компартии, один из освобожденных по дутому "делу" Тройчо Костова, инсценированного выучениками Андрея Вышинского, подробно описал ("Континент" № 11) весь организационный путь подготовки этой дьявольской тризны. По проекту наме-

чалось убить царя Бориса, а когда гроб с его телом выставят в соборе Святой Недели в столице Болгарии – Софии, то на панихиде, безусловно, будет присутствовать вся правящая элита. Во время Богослужения предполагалось взорвать заранее заложенную бомбу огромной взрывной силы.

Подготовка проходила в следующем порядке. Василь Коларов получил директиву от Исполкома Коминтерна. Он передал ее руководителю Заграничного Бюро БКП (Болгарская компартия) Георгию Димитрову, который находился в Вене (Австрия). Димитров передал директиву в ЦК БКП. Решение о проведении этой акции было принято Центральным Комитетом во главе с политическим секретарем Иваном Маневым и оргсекретарем Станко Димитриевым-Марекком. Исполнение возложено на военный отдел во главе с Костей Янковым. Технические детали осуществлял М. Фридман.

Однако, хотя в этом вопросе заданные директивы продолжали действовать, общая политическая обстановка в мире изменилась. Во внешней политике чувствовалась стабилизация положения на Западе: США, Англия и Франция договорились об общей политике в отношении Германии, во внутренней политике вопрос о судьбах социализма приобрел первостепенное значение.

Позиция Г.Е. Зиновьева в руководстве РКП стала ослабевать, престиж его, как лидера, падал, его теоретические концепции подвергались сомнению. Предложение Зиновьева о создании в Ленинграде дискуссионного журнала, наравне с московским "Большевиком", январским пленумом 1925 г. было отклонено. Его первоначальный проект тезисов "О задачах Коминтерна и РКП" в связи с расширенным пленумом ИККИ (Исполкома Коминтерна) был переработан комиссией Политбюро: пункт о том, что "победа социализма может быть достигнута только в международном масштабе", был вычеркнут, и вместо него записано: "Победа социализма возможна в одной, отдельно взятой стране".

Четырнадцатая партконференция, состоявшаяся 27–29-го апреля 1925 года, обсуждая вопрос "о судьбе социализма", не только подтвердила этот тезис, но и записала: "Смело и решительно строить социализм уже сейчас".

Что представляла собой вторая концепция?

Ее защищал И.В. Сталин, а заключалась она в создании на территории России базы для производства арсенала средств войны для поступательного хода Мировой революции, путем индустриализации страны и под туманной формулировкой: "Построение социализма в одной, отдельно взятой стране".

С точки зрения этой концепции для использования Савинкова не оставалось места. В недрах коммунистической партии рос и набирал силу конспиратор более высокого класса и возможностей – Иосиф Сталин. Он легально, используя свое положение Генерального Секретаря партии, с по-

мощью беспринципных аппаратчиков-партийцев, при ротозействе Политбюро и знаменитых коммунистических краснобаев: Троцкого, Зиновьева, Бухарина, проведет в высшие партийные и государственные посты тщательно подобранных своих сторонников, покончит с "внутрипартийной демократией", а своих противников не только заставит замолчать, но сделает их всех – умников – "козлами отпущения" за неудачи и преступления, связанные с экспериментом "строительства социализма в одной стране".

Ни при каких обстоятельствах Борис Савинков не нужен был Иосифу Сталину – он просто его боялся, опасаясь: что может появиться в голове мастера индивидуального террора?!

Пока шла словесная война между сторонниками этих двух концепций, в ОГПУ просто не знали, что делать со знаменитым узником? Сам Савинков лелеял иллюзорную надежду, что его освободят. За границу был даже пущен слух, что его назначат "заведующим иностранным отделом ОГПУ". Отношение чинов ОГПУ к нему продолжало быть по-прежнему хорошим. С ним в камере разрешили жить Любови Ефимовне Деренталь – до освобождения. Он вел переписку со своими друзьями, членами ЦК НСЗРиСв. в Варшаве и со своей сестрой В.В. Мягковой, жившей в Праге. Даже советовал им капитулировать, прекратить политическую борьбу, возвратиться на родину, в Россию.

Его друзья были изумлены, делая всякие предположения и догадки, но в конце концов, вынуждены были остановиться, терзаемые болью, на слове ...и з м е н а . На одно письмо Савинкова Д.В. Философов ответил даже ругательством: "Вы для меня *мертвый* лев, а с *живой собакой* я не хочу иметь никакого дела".

Но время шло, а его не освобождали. Он написал письмо Дзержинскому: "Когда меня арестовали, я был уверен, что могут быть только два исхода. Первый, почти несомненный – меня поставят к стенке, или, поверив, дадут работу... Так и был поставлен вопрос в (моих) беседах с гр.гр. Менжинским, Артузовым и Пиляром: либо расстреляйте, либо дайте возможность работать. Я был против вас, теперь я с вами... Я ждал помилования в Ноябре, потом в Январе, потом в Феврале, потом в Апреле. ...Если Вы верите мне, освободите меня и дайте работу, все равно какую, пусть самую подчиненную".

Но к этому времени внутриполитическая ситуация меняется. Из правящей "тройки" Политбюро двое – Г. Зиновьев и Л. Каменев – выбывают. Они образуют "новую оппозицию". Главным и правомочным остается один Сталин – Генеральный Секретарь РКП(б). Свое собственное направление он так и называет – "генеральной линией партии".

Эта генеральная линия закрепляется большинством в Политбюро (Сталин, Бухарин, Рыков, Калинин, Томский, Рудзутак, Молотов) и на Пленумах ЦК людьми, апробированными секретариатом Сталина и Молотова. ОГПУ, подчиняясь Политбюро, теперь получает новое ответственное зада-

ние: следить и пресекать все происки оппозиции, "нарушающей единство и монолитность партии".

Дзержинский получает двойную нагрузку: к возглавлению ОГПУ прибавляется руководство Высшим Советом Народного Хозяйства (ВСНХ). Ему теперь не до Савинкова. Он загружен работой до отказа, и через год, на июльском, 1926-го года пленуме ЦК, умирает от приступа грудной жабы. Его место в ОГПУ занимает Менжинский, ревностно помогающий Сталину скомпрометировать и разгромить оппозицию, сплотившуюся в "Зиновьевско-Троцкий блок".

16-го апреля 1925 года произошел, подготовленный коммунистами, взрыв в Софийском соборе Святой Недели, который, кроме многочисленных невинных жертв, не принес никаких запроецированных результатов. Предполагалось убить царя, но это не удалось. Тогда вместо него на улице столицы был убит известный и почитаемый генерал Константин Георгиев. Гроб с его телом был выставлен в соборе для отпевания, и во время панихиды адская машина сработала. Было убито 128 и ранено 323 человека. Но обезглавить власть Болгарии не удалось: уцелел Монарх и правительство, возглавляемое профессором Цанковым. Власти ответили сокрушительным разгромом Болгарской компартии: было убито около двух тысяч коммунистов. "Конь Бледный" растоптал и тех, кто поднял меч.

Савинков, конечно, понимает, что для него уготованы черные дни. С юношеских лет он привык играть со смертью. Тогда ему везло. Кроме превосходной способности маскироваться, дара мгновенной сообразительности, при нем всегда был револьвер, из которого он "при минимальной возможности попадал в туза". Он умел приказывать своим людям, и они шли на смерть. Его самонадеянности и честолюбию нанесена незаживающая рана: какого-то Андрея Павловича Мухина он не раскусил! Те вопросы, которые он ему задавал, теперь казались ему банальными – "Как вы смотрите на Ницше?" – "А какая ваша настоящая фамилия?" – "Какая ваша должность?" Чепуха! Разве это проверочные вопросы?! Ведь он сам ходил под всевозможными фамилиями и в разных "должностях". Был даже англичанином, ни слова не знавшим по-английски. А Ницше вообще тут не при чем. Нет, по-видимому, "всякому овощу свое время". Для этого времени он... не тот "овощ". А раз так, то нужно кончать и показать миру, что Борис Викторович Савинков умер героически...

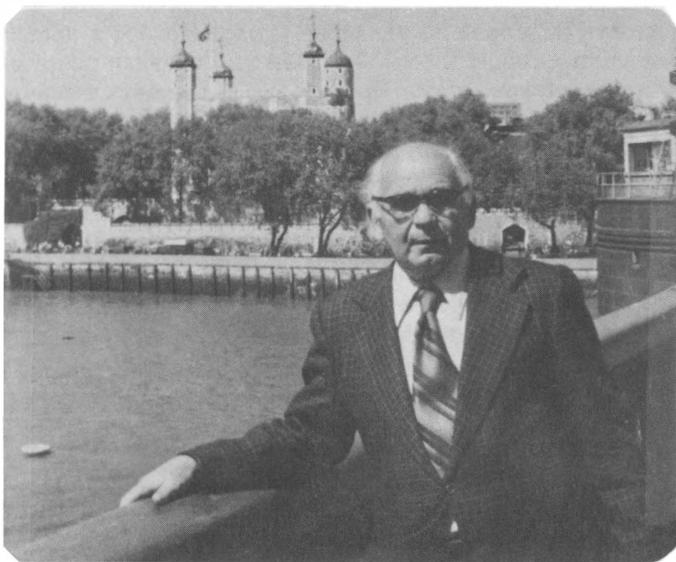
Б.В. Свинков покончил с собой 7-го мая 1925 года. На свое письмо Дзержинскому он не получил ответа, и не был вызван для объяснений ни одним из его заместителей. Но все же кто-то из работников ОГПУ дал понять ему, что на помилование шансов не имеется. Да и самому Савинкову из газет "Известия" и "Правда" было понятно, что теряют почву под ногами люди из ленинского окружения: популярный лидер Л.Б. Троцкий, опекающие ленинское наследство Г.Е. Зиновьев и Л.Д. Каменев, а с ним – врагом – считается тем более не будут. И он при первой же предоставившейся ему возможности, покончил со своей бурной жизнью – выбросился из окна пятого этажа здания ОГПУ на Лубянке.

По поручению редакции "Современника" член Редколлегии Александр Гидони встретился и беседовал с украинским писателем Уласом Самчуком и белорусским писателем Кастусем Акулой. Интервью с этими представителями братских славянских литератур мы воспроизводим в настоящем номере журнала.



БЕСЕДА С УКРАИНСКИМ ПИСАТЕЛЕМ

УЛАСОМ САМЧУКОМ



В о п р о с . Ваше имя, дорогой г-н Самчук, пользуется широкой известностью, как имя большого и весьма разностороннего писателя. Имея в виду эту Вашу разносторонность, позвольте узнать, какой литературный жанр является Вашим любимым и почему?

О т в е т . Разрешите, Александр Григорьевич, сделать маленькое уточнение Вашего вопроса: писателю украинского языка на положении эмигранта на широкую известность рассчитывать не приходится. Несколько миллионов эмигрантов, — тут внешних, там внутренних —

вот и вся ширина.

А мой любимый жанр? Пожалуй, это будет самая обыкновенная художественная проза, предпочтительно роман широких тем и широких полотен, с известным для нас, изгоев, желанием "сказать то, чего нельзя сказать там". Но мне приходилось иметь дело и с иными жанрами: репортаж, эссе, мемуары, вплоть до публицистики и журналистики.

В о п р о с . С точки зрения писательской техники считаете ли Вы себя новатором или традиционалистом? И связанный с этим вопрос : как сопрягается с Вашим творчеством традиция украинской классической литературы?

О т в е т . Избегаю ярлыков... Для меня "новаторство" может заключаться во внутренних процессах мышления и желании "по-новому" увидеть жизненные явления... Но техника их выражения... Главное, это должно быть художеством... Пусть даже "традиционным".

А традиция украинской классической литературы? Это большой вопрос, и он требует комментариев. Выращенная на запретном древе познания добра и зла, это продукт произведений любителей, предназначенный, за небольшими исключениями, для "простого народа", а тем самым и "простого" понимания многих жизненных истин вне быта села. Мы ее (нашу литературу) любим, превозносим иногда до культа (Шевченко), но при конфронтации с мировыми эталонами этого искусства, она часто выглядит маленькой, нищей, искалеченной. И нам теперь, после революции, пришлось начинать почти сначала, выработать наш статус, чтобы избавиться от последствий известного Валуевского "нет, не было и быть не может". Стиль, проблемы, мировоззрение, а, главное – расширение и углубление фундамента самого литературного процесса, как полноценной функции национальной культуры в русле мировых закономерностей – вот задача.

Мы принялись за это дело с лихорадочной энергией, особенно в двадцатых годах, по обе стороны так называемого Рижского кордона, как в Киеве, так и во Львове. И если бы не известный Сталинский погром, который уничтожил нам почти весь цвет литературы, мы бы сегодня могли, пожалуй, чувствовать себя на планете, как дома.

Но теперь там (в подсоветской Украине) вновь господствуют злокачественный примитив, ложь и плакат, сознательно и планомерно сводя литературу до стадии отмирания. Каждая новая вспышка талантности (например, группа талантливых поэтов шестидесятых годов) немедленно ликвидируется средствами, которым мог бы позавидовать и сам Валуев.

Как "сопрягаться" с такой традицией? Мое участие в этом мире кошмара, казней египетских и избиения младенцев исключительно наблюдательное. Ни одна из моих книг (общее их число – шестнадцать) не была написана в границах этого мира. Не Киев, не Харьков, даже

не Львов, а – Прага, Берлин, Париж... Теперь Торонто в Канаде. Да, это не самый лучший выбор для писателя, но меньшее из зол, и в таких условиях хотя бы можно работать. А по сравнению с солдатской казармой Кас Арала времен Николая Первого или с многочисленными островами знаменитого архипелага ГУЛАГ времени серпа и молота, это, пожалуй, даже комфортабельное изгнание.

Возможно, что в этом отношении я больше всего сопрягаюсь с традицией моей классической литературы, которую мы, живущие теперь, любим до религиозного напряжения за ее распятие, погребение и ее воскресение из мертвых. Если бы не голенище солдатского сапога, за которым Шевченко скрывал свои "Три літа", нас бы, чего доброго, убедил Пушкин "слиться в русском море"... А так мы все-таки марионетка УССР с подголоском в ООН в Нью-Йорке... С надеждой на времена лучшие...

В о п р о с . Мы знаем, что в Ваших произведениях, решая чисто художественные задачи, Вы в то же время всегда откликаетесь на актуальные политические вопросы нашей бурной эпохи. Как Вы считаете, способствует ли политическая заостренность Вашего творчества его художественной значимости. Или, может быть, при этом что-то теряется?

О т в е т . По-моему, художественные задачи решаются на почве содержания. А содержание – это жизнь. Жизнь нашей, как Вы правильно сказали, бурной эпохи – политика. Планета перестраивается, и это – политика. Самая невинная оперетка "Наталка Полтавка" Котляревского – политика, ибо ее не раз воспрещали политические власти из-за политических мотивов. Моя задача – не уклоняться от требований эпохи, а быть ее отражением.

А "художественность", по-моему, зависит от степени таланта художника. "Мертвые души" Гоголя, "Бесы" Достоевского, "Война и мир" Толстого – политика, но кто скажет, что это не *художественные* произведения? Однако, иной раз может изменить чувство меры. Советская литература (всех ее языков) надоела потому, что там переборщили по части меда и патоки. Ее заклепали пропагандой. Если 60 лет клепать одну и ту же косу – что от нее останется? Возможно, что и у меня чувство меры, в смысле тенденции, немного похрамывает – грешен. Но такие уж времена!

В о п р о с . Какое из ваших произведений Вам всего ближе и дороже? Вопрос немного кощунственный, ибо писателю дороги ВСЕ его произведения. И однако, какое-то из них, возможно, оказывается, так сказать, н а и д о р о ж а й ш и м . Не так ли?

О т в е т . С точки зрения, так сказать, анатомии моего творчества, главное в нем – это трилогия "Волынь", как основание и исток, из

которого вытекает другая трилогия – "Ост" ("Восток"), пока только две книги. "Вольнь" ("Куда течет та речка" – "Война и Революция" – "Отец и Сын") – мое верую и исповедую, философия и мораль моего существа; а "Ост" ("Морозов хутор" – "Темнота" и находящаяся в работе книга "Бегство из себя") – это желание понять многое в жизни непонятого нашего Востока, над пониманием чего бьются многие писатели (с Солженицыным включительно).

Отмечу, что доволен книгой "На земле твердой" (канадская тематика), рад выходу двух книг мемуаров "На коне белом" и "На коне вороном"... книге об украинской Америке "Следами первых"... И эти, и остальные книги – любимые и менее любимые, но всегда дорогие – появлялись "на свет Божий" в исключительно трудных условиях. Оттого многое в них помечено шрамами, требует усовершенствования, но это не уменьшает их, так сказать, общей цены. А, может быть, наоборот... Ее увеличивает.

В о п р о с . Мы говорили о Ваших связях с украинской литературной традицией. А кого из русских писателей Вы особенно цените ?

О т в е т . Пушкина, очевидно... Но, говоря о прозе классической, приходится повторять паки и паки: традиционная "троица" – Гоголь, Достоевский, Толстой, разумеется, Лев. Самые могущественные представители русской мысли и русской художественности, три кита, на которых покоится она в мире.

Хорошо помнятся Гончаров, Тургенев, Чехов, Горький, Бунин... До конца тридцатых годов мы знали русскую литературу на пять с плюсом, границу этому положил знаменитый "социалистический реализм". Только немногое, очень немногое является в нем счастливым исключением, ибо все остальное – это слякотная атмосфера надрывной лжи и упрямого самообмана. Как по содержанию, так и по форме.

В о п р о с . Мы знаем Вас как неизменного борца против всех видов деспотии и тоталитаризма, борца за идеалы свободы и справедливости. В этом году, как известно, образцовый советский тоталитарный режим отмечает 60-летний юбилей. Как Вы полагаете, есть ли надежда увидеть этот режим погребенным ранее, чем через следующие 60 лет ?

О т в е т . Это вопрос... Но в сфере оракульства я довольно неуклюж. Вы ж знаете, что "умом Россию не понять". В климатических градациях земного шара она лежит в климате сердца, а сердце – самый непредвидимый фактор человеческого действия. Ни режим России царской, ни теперешний ЦК не были и не есть гарантированы от нарастающих гроз. Их патент безопасности – полиция с ее "молчать не рассуждать". А что будет завтра – никто сказать не в силах. Может, завтра взорвется весь ЦК при содействии одного Валентина

Мороза (потому-то его держат в строгой изоляции), но эта слякоть может просуществовать, как и дом Романовых (свят, свят, свят!), триста лет... Пока не появится новый Распутин, новые Ленин-Троцкий, ЧеКа, Сталин.

Единственная надежда, что современные темпы развития, даже в России, мчат не на тройках, а на турбо-дзетах; их стремление направлено к... свободе. Да, к свободе личности и свободе народов. Это истина, это неотвратимость. Так хочет Ее Величество наша Эпоха. Эпоха ядерной силы, всеведущего компьютера, Объединенных Наций, вторжения в космические пространства вселенной. В этом сочетании предпосылок вся планета стала маленькой и никакие берлинские стены не сохранят стены Кремля в их изоляции от нашествия Свободы. Этот их враг у ворот! День и ночь штурмует он эти стены с атмосферы, стратосферы, ионосферы, с Луны, с Марса, а, главное, с душ и сердец миллионов алчущих и жаждущих свободы. Господин Великий Компьютер выбивает к о н е ц ГУЛАГа. Будем терпеливы. Это придет, несомненно. Через сколько лет? Не знаю.

В о п р о с. Как Вы относитесь к стремлению журнала "Современник" содействовать дружеским контактам русских и других славянских литераторов на основе абсолютного равенства и принципиального отказа от любой формы великодержавного шовинизма?

О т в е т. Если бы "Современнику" удалось найти настоящую форму для такого стремления и удержаться на высоте такого содействия, это было бы мужественным достижением русской политической мысли, ибо до сих пор все, что печаталось на русском языке, хотя и говорило о самых благородных намерениях, думало и действовало категориями шовинизма.

Нужны контакты, необходимо сотрудничество. Это аксиома. Вопрос только в искренности намерений. Мы должны понимать и знать наши проблемы не только с точки зрения *Я*, но и с точки зрения *Он*, сумма-суммарум – *Мы*. Вопросы, нас терзающие, в большинстве случаев, поразительно ясны и азбучно элементарны, но сам их создатель – человек далеко не так ясен. Вспоминаются колоритные дядя Меньяй и дядя Митяй из "Мертвых душ" Гоголя – как они разводили сцепившиеся коляски. Вместо того, чтобы развести сцепившиеся колеса, они занялись лошадьми, нахлестывая и понукая их так долго, пока не зачали животных.

Многим кажется невероятным такое уродство мышления, но скажите на милость, разве нужно убить миллионы, чтобы решить вопрос языка Киева, вспахать землю тракторами или вселить в Кремле правительство гангстеров? К чему империя, если самые яростные имперцы должны жить в Сан-Франциско, а их оппоненты – охранять империю? Зачем одна шестая поверхности земного шара, когда ее обыва-

тель доволен однокомнатным клоповником Москвы? Что это за такой "союз", когда гражданин Украины боится говорить вслух на родном языке на улицах своей столицы? Разве это не бессмертные дяди Мень и Митяй? С их решением вопросов?

Да, господа. Нам есть, о чем думать и о чем говорить. И если "Современнику" удастся хоть краешком коснуться этих вопросов, он откроет в Торонто новую эпоху. От души этого желаю.

ВСТРЕЧА С БЕЛОРУССКИМ ПИСАТЕЛЕМ
КАСТУСЕМ АКУЛОЙ .



Вопрос. Расскажите о Вашей писательской деятельности. Какое место в Вашем творчестве занимает национальная традиция?

О т в е т. Отвечая на ваш вопрос, нужно сначала сказать о современной белорусской литературе, тем более, что в так называемой "суверенной" БССР правда об истории белорусского народа, и особенно о его литературе, переключена на марксистский лад.

В 1862 г. великий сын белорусского народа, революционер Кастусь Калиновский издал первый номер газеты "Мужичья Правда" на белорусском языке. В том же, а также в следующем году, появились (напечатанные латинским шрифтом) семь номеров газеты, призывавшие белорусский народ к вооруженной борьбе за свою свободу. По вполне понятным причинам, газета издавалась нелегально. С нее фактически начался новый период в развитии белорусского языка, который официально был запрещен для печати вплоть до 1906 года, когда в Вильно появилась газета "Наша Доля". Разрешение на белорусскую печать открыло двери для новой белорусской литературы (ранее ее выдающиеся произведения сохранялись лишь в устном пересказе). На страницах газеты "Наша Нива", пришедшей на смену "Нашей Доле" (которая была запрещена после ее шестого номера), выросли такие гиганты новой белорусской литературы, как Янко Купала, Якуб Колас, Максим Богданович и другие. Таким образом, газета содействовала в первую очередь культурному возрождению белорусского народа, которое завершилось в ходе политической борьбы за независимость провозглашением Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года.

В годы длительной неволи, когда белорусский язык, бывший государственным языком Великого Княжества Литовского, был изгнан оккупантами из школ, храмов, государственных учреждений, он любовно сохранялся под крышами крестьянских хат. Белорусские литераторы, борющиеся за то, чтобы белорусы могли "людьми называться" (как о том хорошо сказано в стихотворении Купалы "А кто там идет"), понимали, что необходимо дать белорусскому языку достойное место в общественной жизни. Не случайно героями поэм, стихов, повестей, романов становится наиболее типичный носитель этого языка – белорусский крестьянин, часто средний интеллигент (преимущественно учитель). Почти каждый видный белорусский литератор начинал с обработки чрезвычайно богатого фольклора.

Не следует забывать, что столь плодотворное в культурном творчестве девятнадцатое столетие, когда в среде других народов выросли и творили титаны мысли, у белорусского народа, в силу исторических причин, было отобрано и кануло в небытие. Кое-кто из белорусских литераторов вынужден был творить на чужих языках; многие таланты, лишённые свободы творчества, погибли навсегда. К сожалению, после короткого "нашеневского" (от названия газеты "Наша Нива") периода возрождения в Белоруссии восторжествовала антинародная, а после национального разгрома 20-ых годов – *антибелорусская* большевистская власть, которая обязала творить "национальную по форме, социалистическую по содержанию" культуру. Тем

самым рост нашей литературы был прерван в самом начале. Неудивительно, что духовный пророк народа Янко Купала, не будучи в состоянии вынести нового московско-большевистского насилия, в 1933 году, в тюрьме, пытался покончить с собой, сделав хакакири (ложкой распорол живот). Лишь ценой больших усилий он был спасен. Однако в 1942 году, в Москве, он трагически погиб (согласно одной версии, был убит, согласно другой – покончил самоубийством).

В своем походе против белорусской национальной культуры московские оккупанты моей родины ликвидировали (главным образом высылкой в ГУЛаг) сотни самых лучших белорусских поэтов и прозаиков. А те, что остались, либо писали на заказ, либо пребывали в т.н. "внутренней эмиграции". Можно было бы перечислить имена многих людей большого творческого размаха, которые способны были создать литературные шедевры. Назовем хотя бы трех – на мой взгляд, самых выдающихся – критика и писателя Адама Бабарыку, поэта и прозаика Владимира Дубовка и писателя Козьму Черного. Первый из них умер где-то в ссылке; второй большую часть жизни провел тоже в ссылке и был позднее реабилитирован, а Козьма Черный написал около восьми томов в стиле казенного соцреализма. Между тем, он мог бы, по мнению многих критиков, – будь у него свобода творчества – стать белорусским Бальзаком.

А что случилось с белорусским языком, официальным в БССР? Из него сделали казенный московский жаргон, силой внедрив не свойственные нашему языку синтаксические формы, обороты, выкидывая часто все коренное, подлинно белорусское. Таким образом, сблизили его с русским языком, видимо, для того, чтобы в будущем легче растворить его в нем окончательно.

Послевоенная советская белорусская литература наплодила множество казенных произведений о "простом человеке, строителе коммунизма", ну и, разумеется, о пресловутой "Великой Отечественной войне". В то же время партийная цензура, способствуя общей политике руссификации, не дает хода книгам, которые воплотили бы подлинного белорусского национального героя.

Белорусские писатели в эмиграции (в том числе и я) пишут, разумеется, не на бэсэсэровском московском жаргоне, а на языке Богушевича, Ядвигаина, Богдановича, великого Купалы. Правда, этот язык еще не имел достаточно времени, чтобы утвердить себя вполне; часто нам из-за отсутствия толковых словарей приходится сталкиваться с дополнительными проблемами.

Я, в частности, как мне кажется, стараюсь продолжать традиции белорусской национальной литературы, стремясь показать белоруса таким, каким он был и есть, изобразить традиционный белорусский быт. Героями моих произведений в основном являются люди, на которых основывалось наше возрождение: прежде всего это крестьяне или выходцы из села – т.н. трудовая интеллигенция.

Работая постоянно в сфере журналистики, я в то же время смог написать кое-что и в жанре художественного творчества. Первая и объемно большая книга "Боевые дороги" вышла в 1962 году. Она в основном посвящена белорусским войсковым формированиям времен Второй Мировой войны. Я написал две книги трилогии "Гараватки"; они вышли в свет, встретили позитивную критику в свободном мире и негативную (пересыпанную стандартной большевистски-дубинной руганью) – на оккупированной родине. Две книги трилогии "Гараватки" посвящены моим героям в период польской и советской оккупации, третья относится к периоду войны.

В 1968 году вышла моя повесть на английском языке "Завтра – это вчера". Она встретила дружественный прием канадской критики.

В о п р о с. Да, нам известно, что Вы пишете на английском языке. Что Вы можете сказать о роли этого языка в Вашем творчестве? Является ли это случайным эпизодом или здесь нечто большее, чем просто биографический момент?

Если можно сказать о человеке, что у него два родных языка, так у меня, помимо белорусского, другой родной язык – это английский. Родной дом я покинул, имея неполных девятнадцать лет, и уже спустя два года, в силу обстоятельств, столкнулся с необходимостью изучать английский язык. Признаюсь, я очень любил язык Шекспира и Байрона: он открыл мне огромный, до того мало известный мир.

Проба творческой работы на английском языке была вызвана двумя причинами. О моей родине на этом языке написано ничтожно мало. Некоторые авторы, исходя из предвзятых соображений, дали неверную картину нашего народа. Я пытался исправить эту ситуацию.

Излишне говорить о тяжести художественного творчества на чужом языке. Для меня моя попытка представляла большое испытание, и критика признала, что моя проба была удачной. Я вообще часто пишу для английской прессы. Так что, как видите, в английском языке я имею некоторую практику.

В о п р о с. Кого из современных белорусских писателей (и литераторов вообще) в эмиграции и на родине Вы особенно высоко цените?

В эмиграции у нас был (он умер два года назад) чрезвычайно талантливый писатель Юрий Висбич (Стукалич). Его знали и в русских кругах, т.к. он регулярно писал в "Новое Русское Слово". Это был человек высокого интеллекта и больших творческих масштабов. Я имел с ним близкий контакт. Советчики избрали его мишенью номер один для своих атак (точнее сказать, он был мишенью номер два, поскольку еще ббльшим нападкам подвергался всегда доктор

Станислав Станкевич, нынешний редактор нью-йоркской газеты "Беларус").

Среди виднейших поэтов белорусской эмиграции – Олесь Соловей, живущий в Австралии. Его по характеру поэзии я бы сравнил с Максимом Богдановичем.

На оккупированной родине, несмотря на все партийные шлагбаумы, цензуру и "соцреализм", есть выдающиеся писатели. Среди них надо назвать плодовитого Василя Быкова, чьи произведения известны и за пределами Белоруссии. Хорошим мастером огромного творческого диапазона является Владимир Короткевич. Он к тому же и талантливый поэт. В его произведениях пробивается, словно чистая родниковая вода, национальный характер героев, беспредельная любовь к угнетенному народу. Тематика его книг охватывает в основном великие исторические эпизоды прошлого Белоруссии. Похоже, что именно поэтому он натолкнулся на препятствия со стороны официальной цензуры. Его, как мне кажется, крупнейший замысел: создать художественное полотно с изображением восстания против Москвы под руководством Кастуся Калиновского в 1862-64 гг. – увенчался лишь частичным успехом, поскольку читательский рынок получил две книги его романа "Колосья под серпом твоим". А в интервью, которое он некогда дал белорусскому критику и исследователю Адаму Мальдзису, Владимир Короткевич сказал, что планировал и, кажется, написал четыре книги объемом свыше двух тысяч печатных страниц. Видимо, цензура помешала их публикации, а в них, кажется, даны кульминационные моменты избранного Короткевичем сюжета.

Я люблю выдающегося лирика в прозе Янку Брыля. Из поэтов, проявивших себя после войны, самым видным, на мой взгляд, является Нил Гилевич. Он стремится воспрепятствовать уничтожению корней белорусского быта и культуры.

В о п р о с. Наиболее банальный, но и воистину неизбежный вопрос: Ваши дальнейшие творческие планы?

Полагаю, что больше года займет у меня окончание третьей книги романа "Гараватки". Если Бог не лишит сил, думаю затем разработать один сюжет на английском языке. Мне хочется изобразить людей двух миров: нашего – эмигрантского, и здешнего – канадского. Герой из этого – канадского мира, живя в условиях свободы, к сожалению, и теперь еще понимает жизнь хуже нас. Хотелось бы также взяться за воспоминания: написать о встречах с выдающимися и интересными людьми, каких довелось повстречать, высказать какие-то мысли о жизни вообще.

В о п р о с. Что Вы можете пожелать нашему журналу?

Хочу выразить свое удовлетворение тем, что "Современник", который я с интересом перечитываю, обогатился новыми выдающимися силами, расширил тематику, диапазон охвата различных проблем. Весьма важно, что журнал старается дружески относиться к другим поработанным Москвой народам, рассматривая их как собратьев, с которыми совместно надо работать во имя более плодотворного будущего. Надеюсь, что в этом направлении Вашему журналу удастся сделать много полезного и желаю редакции и сотрудникам всяческих успехов.

Одновременно хочу передать свое белорусское приветствие читателям "Современника". Думаю, что они захотят с открытым сердцем выслушать нас, белорусов.

А в хорошо начатом творческом коллективе "Современника" деле хочу сказать наше традиционное: Бог в помощь!



В.ИНГУЛ

ИВЫ.

Я видел плакучие ивы,
Растущие в парке. Они
Как будто бы были счастливы,
Касаясь ветвями земли.

Но ветер качал их порою,
И листья их были всегда
Издраны щебнем, землю,
А снилась им, бедным, вода.

Я видел другие. Склоняясь
Над тихой, прохладной рекой,
Они были тоже, казалось,
Довольны своею судьбой.

Но в зиму, в холодную вьюгу,
В воде настигал их мороз.
И часто их исподволь, глухо,
Тоска доводила до слез.

Плакучие ивы мечтали
О парках сухих в летний зной,
Где б ветры свободно качали
Их ветви над милой землей.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Редакция "Современника" получила письма Н. Тетенова и А. Скуратова и решила воспроизвести их в отделе "Форум". Мы считаем, что во многом авторы этих писем правы, хотя мы отнюдь не солидаризируемся со всеми их утверждениями, равно как с некоторыми их полемическими приемами.

Так, например, весьма сомнительна в самой основе своей апология г-на Тетенова в адрес "простого и доброго русского мужика" в качестве спасителя всех и вся в мире. Еще А.К. Толстой устами своего "Потока-богатыря" доказал, что, как говорится, "есть мужик и мужик", а посему "обобщенное видение" г-на Тетенова в данном случае – вряд ли можно считать хорошей политической позицией.

И другое. Мы согласны с авторами писем, что существует в настоящее время спекуляция на т.н. "еврейской теме", однако, высказываться по этому вопросу следовало бы, на наш взгляд, не в столь развязной форме. В частности, никак не назовешь удачным полемический прием раскрытия тех или иных псевдонимов и соответствующие "вариации" в связи с этим. И. Эренбург в своих мемуарах приводит слова Сталина о том, что "раскрытие литературных псевдонимов недопустимо – это пахнет антисемитизмом..." (Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. М., 1966, стр. 456). Сознаемся, что немного курьезно нам, в эмиграции, осуждая антисемитизм, ссылаться... на Сталина, но – увы! – чего только не случается в эмиграции?

С учетом всего сказанного мы воспроизводим письма Н. Тетенова и А. Скуратова полностью, ничего не изменяя в их тексте.

А. ГИДОНИ

В ЧЕМ СПАСЕНИЕ РОССИИ?

Стечением обстоятельств я оказался в центре одной принципиальной полемики, которая, помимо неприятностей, выявила полное равнодушие русской читающей публики к шельмованию невинных людей, в частности, И.Глазунова, А.Скуратова и меня. Мнение редакции "Нового Русского Слова" от 8 января 1977 г. действительно подействовало на меня удручающе, подобно тому, как это было однажды в СССР во время моего ареста и унижительной процедуры обыска...

По нет худа без добра, и оскорбительные пассажи Якова Моисеевича – редактора ИРСлова – лишь ускорили мое духовное становление. Теперь, после двух лет жизни в эмиграции, я заново переосмыслил свое отношение к Западу и иначе смотрю на возможные перемены в Советском Союзе.

"Наиболее свободный человек, – писал Белинский, – есть в то же время и наиболее подчиненный человек." Люди на Западе, при многих внешних преимуществах с народами России, представляют собой общества без возвышенных идеалов, без напряженной нравственной борьбы, над которыми доминируют своеволие, моральная распушенность и болезненная тяга к стяжательству. Защита прав человека Западом и движение диссидентов в СССР далеки от подлинных чаяний трудового народа, потому что за ширмой борьбы с коммунизмом скрываются цели поддержки антирусских настроений и межнационального раскола.

Кремлевские "вожди" хорошо знают положение на Западе и боятся не его физической мощи и мирового общественного мнения, а притаившегося рядом лютого врага – своего народа. Что же касается проклятий, посылаемых отсюда в СССР злобствующими крикунами, то это общеизвестная храбрость зайцев, не имеющих ни малейшего понятия о чувстве меры и не доросших до личной жертвенности. Поэтому мои симпатии на стороне грубого, невежественного, но и в то же время простого и доброго русского мужика, несущего на своих плечах грехи минувших поколений и "социалистического эксперимента". Этот мужик пережил татарское иго, спас евреев и мир от "белокурой бестии" и скоро переживет "коммунистических мудрецов". Выход из тупика и спасение России лежит на путях возврата к национальным и религиозным истокам, питавшим русскую культуру на протяжении столетий. Противникам подобного воззрения, т.е. марксистам "с человеческим лицом" и всякого рода "иванам, не помнящим родства", то я надеюсь, что в будущей России им будет предоставлена полная свобода проводить свои классические эксперименты за ее пределами.

Не могу обойти молчанием и своего отношения к советским евреям – столь запретной темы как в СССР, так и на Западе. Как только мы с семьей пересекли границу, мы повсюду слышим различные вариации на тему: каким чудовищным преследованиям подвергались евреи в СССР. Мое личное мнение о том, что мне не приходилось наблюдать дискриминации евреев, не может быть исчерпывающим и объективным, но зато исторические факты говорят сами за себя. Небезызвестно, что накануне октябрьского переворота евреи в России были самыми образованными людьми, ревностно исповедующими марксизм. Революция для них была наградой за "черту оседлости", где самые высокие должности в стране оказались в руках евреев. Но – все течет... и безмятежное веселье евреев (что посеешь – то пожнешь!) по тем же законам диалектического материализма сменилось на тягостное похмелье. В конечном итоге, около

десяти лет назад, начался массовый исход евреев из СССР – их собственного детища – под водительством нового Моисея. Уходя в новое рассеяние, евреи даже через чекистские кордоны ухитряются провозить целые сокровища: старинные русские иконы, золотые вещи и американские доллары.

На мой взгляд, это и есть та самоочевидная истина о роли и последствиях евреев в большевистской революции, которую до сих пор упорно замалчивают.

Но тем не менее, я искренне сочувствую тем евреям, кто считает Россию своей родиной, воспитан русской культурой и разделяет ответственность за последствия, содеянные нашими безумевшими отцами, решившими построить рай на земле без Бога.

"... мы живы!" – доносится до нас голос пробуждающейся России. "После всех страшных атак, после всех страшных бомбардировок... Мы живы! Но нам нужна помощь. Чем можете, тем и помогите, не оставайтесь равнодушными. Равнодушие в наши дни – это гибель не только нас..." (О. Дм. Дудко).

Поистине, это голос святой Руси, возрождающейся из руин! И как тут не вспомнить Гоголя, сказавшего, что "я не знаю выше подвига, как подать руку человеку, изнемогающему духом."

Не окажемся ли мы теми, кто вместо руки подаст камень?

Николай ТЕТЕНОВ.

1 июня 1977 года.
Нью-Йорк, С Ш А

САМИЗДАТ В АМЕРИКЕ

Итак, балаган "Нового Русского Слова" во главе со своим антрепренером Яковом Цвибаком (артистический псевдоним – "Андрей Седых") продолжает представления!

На этот раз любителям острых ощущений и канибальских блюд вместо недоступного с некоторых пор (см. решение Гамбургского суда) Ильи Глазунова бросается на растерзание беззащитная жертва – эмигрант Николай Тетенев, "решившийся лично" принести антрепренеру отрицательную рецензию на его спектакль.

Уже само слово "решился" (а именно оно употреблено в заявлении редакции "Н.Р.С." от 8 января 1977 г.) повергает в дрожь. Можно подумать, будто человек вошел в клетку со львом, или принес в редакцию "Правды" статью против Юрия Жукова.

Публике не объявляют, что за криминальные "документы" принес Тетенев в редакцию "Нового Русского Слова", говорится лишь, что они

"явно сфабрикованы в КГБ" и выражается недоумение, почему "недавно приехавший из СССР Тетенев сразу не разобрался в их гебистском происхождении.

Откроем тайну сверхосторожной редакции. "Документы", полученные почтенным органом печати по почте и лично от Тетенева, есть не что иное, как две статьи (одна из них – А. Скуратова, другая – открытое письмо г-ну Седых), известные в Москве под общим названием "Пена третьей волны". Эти же статьи были посланы г-ну Седых и самим Ильей Глазуновым с требованием опубликовать их в качестве ответа на клеветнический выпад "Нового Русского Слова", опубликовавшего в июле 1976 г. письмо 9-ти "видных писателей и художников эмигрантов", которые объявили успех Глазунова результатом его сотрудничества с КГБ. Печатать эти статьи г-ну Седых, конечно, не хочется, но, к счастью, всегда под рукой дежурный отвод: "сфабриковано в КГБ!".

Наученное горьким опытом издательства "Шварц", "Новое Русское Слово" действует теперь осторожно. На истинное содержание статей в газете нет и намека, не обнародована фамилия автора. Казалось бы, следовало поступить совсем наоборот: буде обнаружился еще один "агент КГБ", так надо же изболтать его, негодяя, назвать фамилию, раскрыть перед публикой на конкретном примере "методы КГБ". Но, сделав, увы, великое множество умолчаний, "Н.Р.С." во всеуслышание... показало Тетеневу на дверь: "Само собой разумеется, тем самым исключаются все дальнейшие выступления Тетенева на страницах "Нового Русского Слова". Разумеете, языцы, каково инакомыслие в вотчине г-на Седых!

Как по нотам выступила "возмущенная общественность". Только в "Новом Русском Слове" (недаром оно "новое"!) передовиков производства и доярок заменили передовой интеллигент Есенин-Вольпин и литовский националист, в русских делах осведомленный не гораздо, С. Кудирка. Эти господа единогласно решили лишить Тетенева президентского кресла в Комитете помощи советским соотечественникам за "абсурдные выпады против видных (откуда и в какой телескоп – А.С.) деятелей советского правозащитного движения". И опять читатели должны поверить на слово: возможность составить свое мнение публике почему-то не предоставлена.

Но Николай Тетенев прошел хорошую жизненную школу, его так просто не возьмешь! Вместо того, чтобы слезно каяться на коленях, упрямый русский парировал привычные выпады привычным способом – с его легкой руки начал свои леты **С а м и з д а т в А м е р и к е**. Машинописные копии "Пены третьей волны" быстро разошлись по русским эмигрантским кругам.

"Что может быть более необычным, – иронически спрашивает Тетенев, – как начать издавать Самиздат в свободной стране?" Но мы безо всякой иронии подумываем, не придется ли нам здесь, на русской земле, создать комитет в защиту Николая Тетенева?

"Цвибак" по-русски значит "сухарь". Но не может же так быть, чтобы вся Америка сидела на одних сухарях! Едят же там где-нибудь и настоящий хлеб! Мы в это верим. Верим в здравый смысл и читателей "Нового Русского Слова".

Кампания по объявлению агентами КГБ всех, кто осмеливается о чем бы то ни было мыслить "иначе", нежели наиболее голосистые наши диссиденты, явно набирает силу в русской эмиграционной прессе, причем навешиваются эти ярлыки с такой же легкостью и такой же "обоснованностью", как клеймо "враг народа" в памятные 30-е годы. Люди, недавно убывшие из СССР, не отряхнули с ног своих специфический прах, приволокли его с собой на Запад, наследили, развели грязь, демагогию, пускают в ход те же методы, которые применялись "там": шельмование, лишение слова и средств к существованию, а дальше того и гляди, заведут где-нибудь мини-лагерь и будут сажать туда своих "несогласных" соотечественников. Вопрос только, как отнесется сам Запад к подобной практике.

"Англичане, я слышал, сумасшедшие люди. Они не разрешают порядочным людям сжигать ведьм", – сетовал один индус-фанатик у Киплинга. Мы со своей стороны лишь на то и уповаем, что "не разрешают". Или теперь свобода дошла уже до того, что опять можно?

А. СКУРАТОВ.

СССР, Москва
май, 1977 г.



В связи с публикацией в №32 "Современника" статьи Андрея Дружинина "Утопия или потенция?" редакция получает отклики и письма. Два из них (одно – принадлежащее перу автора, подписавшегося инициалами В.И. и другое – за подписью С.Мюге) мы помещаем в "Форуме". Одновременно мы публикуем ответ на эти письма Андрея Дружинина.



С.МЮГЕ

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ.

Статья Андрея Дружинина "Утопия или потенция" "привязана" к двадцатилетию Венгерской революции. Посвящена же она в основном движению инакомыслящих в Советском Союзе, на которое, в общем-то автор смотрит как на утопию. Правда, на поставленный в подзаголовке вопрос: "Возможна ли антикоммунистическая революция в СССР?" он отвечает положительно, но разбирая причины, которые, по его мнению, могут привести к революции, добавляет: "...эти причины лежат вне поля деятельности подпольных организаций... Лежат они в стороне и от витийствующих либералов-эволюционистов, надеющихся на постепенную "демократизацию" строя, который организически не может воспринять демократию". А Дружинин сводит оппозиционное движение к двум направлениям: конца 50-х годов – радикально-революционные группы, возглавляемые определенными "лидерами" (автор не раз употребляет этот термин), выступающие под флагом модернизированного марксизма, и движение 60-70-х годов либерально-эволюционистского толка, утерявшее вместе с "марксистской" оболочкой и саму идею революции.

Мне кажется, что статья Дружинина может у западного читателя создать неполное, а, возможно, и искаженное мнение о советских "инакомыслящих". (Я беру это слово в кавычки, т.к. не берусь устанавливать, кто мыслит правильно, а кто — "инако").

Само "инакомыслие" возникло не в результате XX съезда КПСС и не на фоне "венгерских событий", а гораздо раньше. Еще в 1950 г. я собрал стихи и песни антисоветского содержания в литмонтаж, который при чтении занимал около двух часов. Значит, уже в то время существовали люди, подававшие голос против советского режима! А там были и такие слова:

...Сквозь грозы сверкнуло нам солнце свободы,
Но Ленин к Сибири нам путь осветил.
Нас сделал всех Сталин "врагами народа"
И большую часть в лагерях погноил.
Проклятье отечеству с тюрьмами крепкими,
Где треть народа безвинно сидит.
В горло народное лапами цепкими
Впился кровавый тифлисский бандит...

А вот встреча 1954 года. Один из присутствующих экспромтом сказал тост:

В этот праздник такой новогодний
Я напьюсь, как последний скот.
Я ужасно доволен сегодня,
Только жалко мне Старый год.
Старый год, славный год, черт возьми его!
Черный год для проклятых грузин.
Будем пить до зеленого змия
За конец остальных образин.
До утра будет горькая пьянка,
Хватит водки и винегрета.
Не страшны нам ни Кремль, ни Лубянка,
Наплевать нам на все запреты!
Провожая ушедший год,
Мы дружнее содвинем бокалы,
Чтоб еще лет на тридцать вперед
Дважды б в год по вождю поддыхало!

(Примечание: Как пояснил автор экспромта, под "проклятыми грузинами" он понимал только двух представителей этой национальности — Сталина и Берия).

За столом сидело человек двадцать пять. Но никто не донес. Может быть, поэтому история эта осталась неизвестной. Ведь гласности подобная оппозиция предается после ее разгрома!

У читателя статьи А. Дружинина создается впечатление, что все "диссиденты" (беру опять в кавычки!) обязательно ставят перед собой какую-то определенную цель. А это неверно. Чаще всего человек пишет неортодоксальные стихи, выступает на собраниях или на Красной площади, подписывает протесты против нарушения властями ими же установленных законов, импульсивно, не задумываясь о последствиях. Неверно делать упор и на организованность этих людей. Единственно, что их обобщает, — это индивидуальность, нежелание втиснуться в прокрустово ложе официальной идеологии. Среди подписантов иного протеста могут быть и атеисты и верующие, коммунисты (считающие, что власти дискредитируют само учение Маркса-Ленина) и ярые антикоммунисты, почвенники-русофилы и сепаратисты и т.д.

И тем не менее, эти эмоциональные выступления, крики о помощи, услышанные за рубежом, почти что неожиданно повлияли на политику советских идеологов. Во всяком случае, их обеспокоили.

Автору этих строк довелось в декабре 1970 года слышать, что говорилось в Харьковском обкоме партии на проходившей там идеологической конференции. На ней представитель ЦК КПСС отмечал, что настало время менять методы идеологической борьбы. Если раньше можно было замалчивать теневые стороны советской действительности, то теперь, когда чуть ли не треть населения слушает и пересказывает иностранные радиопередачи, не говорить об этом уже нельзя. Надо давать им интерпретацию в духе марксистской идеологии. По мнению докладчика, наибольший вред для советских радиослушателей представляют "Материалы Самиздата" и обзоры иностранных корреспондентов о демократическом движении в СССР. Кстати, докладчик назвал и путь, как можно повлиять на заграничные радиостанции. — Пишите, — говорил он, — им письма! Просите больше джазовой музыки, религиозных передач, богослужений. Пускай занимают время на менее вредные передачи.

Если то, что говорил этот лектор соответствует действительности, то приходится признать, что демократическое движение влияет на правосознание граждан СССР.

А. Дружинин противопоставляет революционную борьбу в СССР демократическому движению, движению за права человека, но в конечном счете приходит к выводу, что революция совершится независимо от того и от другого. Может быть, это и так. Но вот вопрос: какая получится революция, по какому образцу — европейскому или американскому? Принципиально они отличаются тем, что европейские (и азиатские) революции ставили своей целью убрать существующую "плохую" власть и освободить место для новой — "хорошей" в светлой надежде на то, что новая власть удовлетворит все чаянья народа. Американская революция была направлена на уничтожение старых законов и на установление новых, гарантирующих свободу гражданам.

Опыт показал, что новые – "хорошие" – правители: Робеспьер, Ленин, Сталин, Мао, создавали режим гораздо более диктаторский, чем их предшественники, а новые законы ограничивают власть любого потенциального диктатора и приводят к истинной демократии.

Однако революция второго рода может произойти только в стране с высоким правосознанием своих граждан. Поэтому не исключена возможность, что отвергаемое Дружининым демократическое движение в СССР сыграет в будущем не меньшую роль, чем те события, "которые могут привести к революции и гражданской войне в Советском Союзе".



В.И.

ОБ ОДНОЙ УТОПИИ.

В чем она? – В возможности антикоммунистической революции в СССР, которую проповедует А.Дружинин. Его статья посвящена двадцатилетию Венгерской революции (лучше было бы назвать – Венгерского восстания) и отсюда – размышления автора насчет потенциции антикоммунистической революции в СССР в будущем. Да еще и – в "близком будущем".

Прежде всего, если уж говорить о Венгерской революции, то тут всякие сравнения ситуаций в Венгрии 20 лет тому назад и современной – в СССР, не выдерживают никакой критики просто потому, что времени для утверждения коммунистического владычества в Венгрии отпущено было историей не так уж много, всего каких-нибудь 12 лет, в то время как в СССР мы имеем целых 60. За эти 12 лет венгерское население еще не забыло довоенных лет, вполне благополучных в сравнении с годами нищеты и террора под советской оккупацией. Отсюда – взрывная потенция в стране 1956 года.

К тому же национальный характер, психология венгров не та, что присуща русскому народу. Венгры, хотя по своему происхождению не европейский народ, но вековое соседство с западными народами приобщило их к западноевропейской культуре. Процесс эволюции политической власти и общества в целом проходил более нормальным порядком, чем у нас в России. Несостоятельность аналогии двух различных "потенций" – прошлой венгерской и современной советской, самоочевидна и распространяться на эту тему не стоит.

Нужно прямо сказать: разговоры о революции в СССР являются больше, чем наивной утопией. Это называется усытлением Свободного мира в его противостоянии коммунистической тирании. Вместо истины ему преподносится миф, утопия: нечего, мол, волноваться вам, мужи Запада; Россия сама сбросит революцией, и даже в "ближком будущем", деспотический строй; вулкан может взорваться даже раньше, чем вы ожидаете, и — логический вывод! — ваши миллиарды, бросаемые на вооружение, окажутся ни к чему.

Как не вспомнить тут о другом трубадуре революции, видном диссиденте (теперь — на Западе) — Д.Панине. Нужно сказать, что ни его идея "всенародной революции", ни идея революционной потенции А.Дружинина, ничего нового в советологические изыскания прошлого и настоящего времени не вносят, разве только то, что Панин делает упор на необходимости предварительной духовной революции в народе как предпосылки революции как таковой, с применением насилия. Но тот и другой имеют базой своих размышлений о революции лишенную хотя бы простого анализа веру в возможность вообще успешного бунта, революции, переворота в Москве (именно в Москве, т.к. успешные революции никогда не начинаются в провинции). Известна поговорка: вера горами движет. Может быть, наши диссиденты-революционеры и впрямь верят этому, но такую гору, как большевизм (коммунизм тут ни при чем!) одной верой не сдвнешь. Большевистскую гору придется срезать более усовершенствованными средствами, чем это делали американцы в минувшую войну с нацизмом. Свободный мир не начнет войну — она ему будет навязана действительным поджигателем войны — Кремлем. Время для антикоммунистической революции в СССР безнадежно упущено. Россия оказалась бессильной противостоять новой татарщине, преодолеть ее, и не Россию приходится спасать сейчас, а все человечество в целом.

Конечно, и работа на революцию не должна считаться напрасной: в какой-то мере она расшатывает гору. Но для окончательного крушения ее нужны будут другие средства. К слову: наивно думать, как это делает Дружинин, что революция — нужно понимать: всенародная и успешная — может произойти в СССР в результате государственного переворота, или военного поражения, или каких-нибудь сдвигов наверху. Редко бывает такое в истории, разве что при поражении французов у Седана, когда возникла Парижская Коммуна, да и та очень быстро закончилась резней генерала Галифэ. Часто в таких ситуациях возникает не революция, а новая диктатура, что очень возможно в СССР.

Дружинин считает, что существуют предпосылки для восстаний "на Украине (?!), в Литве и Эстонии, в кавказских республиках и др." Однако от предпосылок революции до ее реализации — дистанция огромного размера. Это особенно относится к сегодняшней Украине, где пришлого населения, пожалуй, больше, чем коренных украинцев и где даже до революции 1917 года никаких заметных национальных

движений не существовало. А если и был национальный "рух", так он в основном был направлен не против "москалей", а против большевизации юга страны, чему живым свидетелем и участником событий в те годы был сам пишущий эти строки. Об отдельных современных иллюминациях типа Плюща, Мороза, нестойкого – увы! – Дзюбы и др. говорить не приходится.

И еще об одном странном рассуждении Дружинина, когда он, перечислив "наиболее вероятные контуры тех событий, которые могут привести к революции", следом заявляет: "... все эти причины лежат вне поля деятельности подпольных организаций"... Иными словами, получается как бы приглашение: бросьте заниматься подпольем, революция произойдет и без него. Пусть читатель, более или менее знакомый с историей социальных движений в мире, где подполье всегда играло первенствующую роль, сам судит об этом, по меньшей мере – странном "приглашении" Дружинина. Единственно неутопичным в его статье, дельным положением его, вслед за Бровцыным, надо отметить такие строки: "И здесь следует подчеркнуть, что неудачный для советского режима исход войны (например, с Китаем – В.И.), будучи катастрофой для него, отнюдь не должен считаться катастрофой для России, даже – прибавлю я – для территории урезанной России.

Словом, подождем другого Амальрика, который предскажет, к какому году нужно ожидать революционного взрыва в Москве. Думается, что дата взрыва будет им отнесена за 2000-й год. Но тогда я напишу книгу – "Просуществует ли Свободный мир до 2000 года?".

* * *

ОТВЕТ АНДРЕЯ ДРУЖИНИНА

Два письма, являющиеся откликом на мою статью "Утопия или потенция?" содержат некоторые совпадающие между собой мысли, но по уровню мысли, если можно так выразиться, они далеко не равноценны.

В целом с тем, что, например, пишет С. Мюге, я могу вполне согласиться, тем более, что и он по сути соглашается с моей позицией. Расхождения между им и мною лежат не столько в том, что содержится в моей статье, сколько в том, что стоит за ней, в тех ассоциациях, которые она вызывает. Естественно поэтому, что здесь меня довольно легко "уличить" в неполноте изложений и анализа. На такой упрек могу ответить прутковским: "никто не обнимет необъятного".

С. Мюге в своем письме приводит интересные факты и данные. Они безусловно полезны как лишний штрих в характеристике оппозиционных настроений в СССР. Однако выводы его порой грешат излиш-

неи категоричностью. Он, например, возражает против тезиса, что толчок антисоветскому революционному брожению в стране был дан событиями после смерти Сталина и XX съезда КПСС, приводя свидетельства о наличии антисоветских настроений еще до этого. Абсолютно ничего не имея против таких свидетельств, как и против цитированных автором письма стихов (хотя некоторым из этих стихов можно пожелать более высокого качества!), я в то же время настаиваю на разнице в понимании того, что является общественным симптомом, фактором политической жизни, и тем, что может быть определено как исключительный случай, индивидуальный казус. Сошлюсь на параллельный пример. Известный диссидент Александр Воронель в книге "Трепет забот иудейских" пишет, что "45-52 годы были не годами рабского молчания, а годами весьма интенсивной деятельности... подпольных кружков" (Цит. по тексту рецензии в "Континенте", №12, стр. 420). И все-таки для периода сталинщины "подпольные кружки" (реальные, а не выдуманные чекистами) были исключением. Иное дело – период хрущевский: здесь мы можем говорить о подлинной тенденции, линии развития революционно-оппозиционной идеологии в отношении советского режима.

С. Мюге абсолютно прав, когда предостерегает в своем письме от опасностей, которые таит в себе революционное мышление как таковое. Интересным и верным в принципе является его противопоставление революций американского и европейско-азиатского типа. Все это справедливо и, право же, сам автор статьи "Утопия или потенция" об этом знает. Хочется только сказать, что его целью в упомянутой статье был анализ возможностей революции, а не вопроса о желательности ее. Эта проблема, равно как и обсуждение перспектив и опасностей того или иного постреволюционного развития, может быть поводом для статьи совершенно самостоятельного характера.

Несколько смущает меня способ "оправдания" пассивности и дезорганизованности диссидентов, к которому прибегает С.Мюге. Ведь именно потому, что я в своей статье исхожу из факта слабости диссидентов как *организованной силы*, я и не могу, к сожалению, считать диссидентское движение фактором, способным чувствительно поколебать советский режим. Был бы только рад, если б я ошибся, будучи в этом плане скептиком.

Гораздо более резкого возражения заслуживают, на мой взгляд, многие тезисы, развиваемые г-ном В.И. в его полемическом письме. Прежде всего поражает политическая легковесность некоторых его мыслей. Даже с терминологией он не в ладах. В самом деле, ну почему венгерскую *революцию* 1956 года надо "осторожненько" называть "восстанием"? Всякая терминология в конце концов условна, но спекулировать на этом может только малоосведомленный человек. Если г-н В.И. не понимает разницы между венгерскими событиями 1956 года, которые были революцией в классическом смысле этого слова, и, допустим, *восстанием* в Познани того же года, то лучше бы г-ну В.И. писать письма не о проблемах политического

свойства, а сосредоточиться на чем-то... субъективно-лирическом, что ли...

Забавна и его боязнь политических аналогий. Разница между венгерской и российской историей бесспорна и дополнительно объяснять ее – напрасный труд. Но г-н В.И., видимо, не понимает сути вопроса, когда сопоставляются потенциальные возможности революционного взрыва в условиях однотипного по характеру тоталитарного строя, созданного коммунистами как в СССР, так и в поработанных восточноевропейских странах. Суть здесь не в том, что венгры, мол, "ближе к Западу", а русские – ближе к "татарщине", как полагает г-н В.И. Это фактор, которым нельзя вполне пренебрегать, но это фактор частного свойства на фоне того главного, что я в своей статье пытался выяснить, а именно: возможна ли в условиях тоталитаризма советского образца революционная ситуация как потенция и революционный взрыв как ее результат? Венгерский пример здесь классичен, поскольку мы можем сослаться на него как на нечто исторически данное. Говоря о возможности антикоммунистической революции в СССР, мы поневоле вступаем в сферу гипотез, однако отсюда никак нельзя делать тот безнадежный вывод в стиле г-на В.И., что, мол, "время для антикоммунистической революции в СССР безнадежно упущено".

Совершенно наивной является и боязнь г-на В.И., что вера в возможность антикоммунистической революции в СССР "усыпляет" Запад. Прежде всего, "усыпить Запад" свыше того полусонного состояния, в котором он пребывает в отношении коммунистической угрозы, довольно трудно. А во-вторых, попробуем вывернуть наизнанку аргументацию г-на В.И.! Ведь, глядишь, если Запад, по его рецепту, намертво уверует в незыблемость советского статус кво, то это всего более и будет содействовать "детантским" настроениям, тенденции во что бы то ни стало "договориться" с коммунистами. Напротив, понимание возможности краха советского строя, его внутренней непрочности, несмотря на военную мощь и агрессивность, способно подсказать Западу более позитивные альтернативы в его политике по отношению к СССР.

Замечу кстати, что проведенное в письме г-на В.И. сближение моей точки зрения с позицией Д.Панина является весьма лестным для меня. "Философия активизма" и бескомпромиссный антикоммунизм Панина представляются мне безусловно более вдохновляющими моментами, чем нытьё иных диссидентов, стремящихся "гуманизировать" советский строй, не уничтожая его, и "принципиально" отвергающих революционное "насилие" в большей степени, чем самый бесчеловечный и насильственный в истории тоталитаризм.

Я не буду останавливаться детально на диком сумбуре в суждениях г-на В.И., когда он усматривает "диалектически тонкую" разницу между большевизмом и коммунизмом; на его довольно беспомощных исторических примерах (как и на апелляциях его к личным воспоминаниям о жизни на Украине). Здесь он демонстрирует

воистину "легкость в мыслях необыкновенную": сначала, например, говорит, что революции не может произойти из государственного переворота, а двумя строками ниже признает, что такое в истории бывает (хоть и "редко", по его словам). И самое забавное! Усомнившись в возможности даже государственного и военного переворотов вызвать революцию в СССР, он бросает в мой адрес упрек, будто бы я выступаю против подпольного и диссидентского движения, поскольку я усомнился в том, что *это движение одно, само по себе*, может сокрушить советский строй. Уж позвольте заверить Вас, г-н В.И., что если я выступаю за государственный переворот или национальную революцию, то я *уже тем самым* стою за подпольное и диссидентское движение. Другое дело – что можно сказать о степени реальности и о шансах на успех того или иного фактора политической борьбы.

И, наконец, последнее. Г-н В.И. склонен видеть по существу единственное достоинство моей статьи "Утопия или потенция?" в том, что я сочувственно привел цитату из Б.Бровцына о желательности военного поражения СССР. Я в самом деле, считаю, что такая перспектива была бы предпочтительней, чем консервация советского режима еще, скажем, на 60 лет. Печалит меня лишь то, что я сослался в этой связи на г-на Бровцына, который в своих статьях, помещенных позднее в газете "Новое Русское Слово", зарекомендовал себя таким оголтелым шовинистом великодержавного свойства, бредя о "Российской Федеративной Империи", что я не хочу быть с ним, как говорят в таких случаях, "даже в репертуарном соседстве". Г-н В.И. в этом пункте стоит на более приемлемой позиции, что несколько примиряет меня с ним. К сожалению, это не может снять других упреков, которых он, на мой взгляд, заслуживает своей беспорядочной и логически плохо мотивированной полемикой.



... Х Р О Н И К А ...



6 ноября сего года в Оттаве состоялась многолюдная демонстрация представителей поработанных народов, протестовавших против кровавых преступлений советского коммунистического режима и против нарушений прав человека в СССР. Демонстранты провели митинг перед зданием Федерального Парламента, а затем прошли к зданию советского посольства в Оттаве. Колонна демонстрантов несла многочисленные плакаты и транспаранты с лозунгами протеста.



В Русском Доме г.Торонто состоялось эмигрантское собрание в День скорби и непримиримости (6 ноября сего года), в котором принял участие известный общественный деятель, писатель и философ ДИМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПАНИН.

Встреча с ним была примечательным событием: прекрасный оратор, Д.М.Панин со знанием дела говорил о положении в СССР, о возможных путях крушения советского режима. Главное внимание он уделил тому, как и чем можем помочь мы, русские эмигранты, своей родине. Поскольку, – напомнил он, – мы "не в изгнании – в послании", мы представляем силу, о которой думают, на которую надеются там, в России. И настоящий эмигрант (не обыватель) – это человек, который постоянно думает о России и хочет помочь ей освободиться от гнета. Такие возможности есть. В первую очередь, по мысли Панина, следует уделить особое внимание организации, материальной поддержке и участию в радиопередачах на Советский Союз. В них должны быть правдивые данные о жизни на Западе, информация о возможностях перемен в России. Нельзя бояться, в отличие от некоторых западных правительств, прямого противостояния советскому режиму.

Выступление Д.М.Панина вызвало много вопросов, на которые оратор дал весьма интересные ответы. К сожалению, уровень отдельных, заданных ему вопросов, досадно не соответствовал уровню мысли и эрудиции выдающегося докладчика.



★ ★ ★ О К Т Я Б Р Я Т И Н А ★ ★ ★

★ ★ ★ ОКТЯБРЯТСКАЯ РАСПРОДАЖА. ★ ★ ★

Продается лицензия модели социализма на снос. Очень подходит для Франции и Италии. Гарантируем прочность минимум 60 лет. Все материалы для железного занавеса, с учетом амортизации по себестоимости.

★

Одновременно, в связи с уходом на пенсию, Советская власть продает уникальные памятники эпохи на вывоз. Как то: Лубянку, Лефортово, Кресты, Владимирскую тюрьму строгого режима и т.п.

★

Для стран, стремящихся к социализму, имеются на выбор опытные палачи, теломеханики, вертухаи, большие и малые начальники. По особой цене – психиатры (способные сделать "психа" из любого здорового человека).

★

Проводится срочная инвентаризация всех пересылок на снос и продажу с аукциона. Предоставляется случай приобрести ценнейшие исторические реликвии. Следите за сообщениями в газете "Райский Гулаг", под рубрикой: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек."

★

В связи с отъездом должителей из Архипелага ГУЛаг (Воркута, Карелия, Караганда, Якутия, Тайшет, Потьма, Колыма) на родину, создается заманчивая конъюнктура для большого бизнеса и инвестиции капиталов, имея в виду проблемы беженцев из Родезии и Южно-Африканской Республики.

★

Вниманию бизнесменов и вообще "акул западного капитализма"! Участвуйте в конкурсе "Кто даст больше?" Жертвуйте миллионы и миллиарды для Советской власти пенсионного возраста! Почетный приз – "веревка, на которой мы вас повесим".

Г.Галин

★ ★ ★

МОГУЧИЙ ПРЕДОКТЯБРЬСКИЙ РУБЛЬ

Меня – канадца белорусского происхождения, просто-напросто восхитила статья "Сколько стоит рубль" в кагебистском листке ("Голос Родины", 30.6.77). Прежде всего я узнал, что 1 рубль – это 0,987412 грамма чистого золота и что он – это "Его Величество советский Рубль" "не изменялся с 1961 года".

Увы! Где уж равняться с ним нашему доллару! Он – наш жалкий доллар – сколько раз уже падал в цене с 1961 года! Слава Богу, что он хоть немного на ногах еще держится! А этот могучий Рубль – словно марксистско-ленинско-сталинско-хрущевско-брежневская наука – абсолютно тверд, как скала, и непоколебим.

Допустим, вы – счастливый советский гражданин – хотите иметь золото. Спешите вы в банк, и там мгновенно, как на блюдечке, целых 0,987412 грамма золота просто вкладывают в вашу пролетарскую руку. Вы кладете ваше золото в карман и идете в вашу просто дармовую коммунальную квартиру, насвистывая новый советский гимн. Ну, а если золота (собственно, на кой черт оно вам, счастливому советскому гражданину!) не требуется, то Боже мой! – чего вы только ни купите на один Рубль!

Возьмем пример. После того, как приголубили Фиделя на его "Острове свободы" (как известно, сие "приголубивание" стоит Советскому Союзу 2 миллиона долларов в день), то в Эсэсэрии сахара – хоть завались, чуть ли не даром! Даже ученые подсчитали, что для "рационального питания" на каждого "счастливого эсэсэровского" гражданина положено по 37 кг сахара в год. Эти ученые, правда, еще не выяснили, сколько положено мяса на человека. Тут загвоздка в росте поголовья скота и в росте процента того же поголовья. Дело в том, что проценты поголовья растут, но мяса как не было, так и нет: то ли съели его партийные вожди из "родной КПСС", то ли еще что, но эсэсэровским гражданам остается лишь вместо реального мяса питаться "процентами".

Слыхали мы, что за 88 копеек можно купить аж два литра "наиболее распространенного" жигулевского пива. Э-э, в сравнении с нашим канадским "Молсоном" это – совершенная дешевка. Правда, в отличие от нашего пива, которое словно Ниагара течет, жигулевское, как мы узнаем, имеет некоторую особенность. Оно начисто высыхает летом, т.е. именно тогда, когда томит советского гражданина особенно неумная жажда. Ну, а копейками жажды не утолишь.

Далее мы узнаем, что в Эсэсэрии "даже те, кто имеют свой автомобиль, добираются до работы общественным транспортом". Например, на метро за 1 рубль можно купить... аж 20 билетов. Великолепно, что и говорить!

Вот, к примеру, живете вы в городе Лениндзержинске. Для чего же вам ехать на работу на своей комфортабельной "Волге", когда все приличные дороги запружены разными "Чайками", "Зилами" и всякими там "Запорожцами". Вы покупаете себе двадцать билетов, садитесь в охлажденное по случаю летнего сезона метро, пыхтите любимой папироской и читаете по дороге на работу текст новой советской конституции. Идиллия – да и только!..

Важно то, что рубли у вас, как вши у гулаговских ээков, не переводятся. Ибо, как узнаем, "при двух работающих в семье", в вашем кармане оседает аж 302 рублика в месяц. Ну, а допустим, в семье работают не два, а пять человек? Тогда аж 756 рублей выпадает на пять носов. Посчитайте, сколько же килограммов наилучшей говядины (по 3 рубля за кило) можно купить? Просто всю вашу трудолюбивую семейку можно завалить говядиной высшего качества! Жуйте ее на здоровье и не забывайте помянуть добрым словом генерального секретаря цэка капээсэс, президента "самого миролюбивого" государства и при этом маршала Брежнева.

Ну, а ежели вам захочется одеться поприличней, так за 140 рубликов вы ох какой костюмчик отхватить можете! Да что там шмотки "промтоварные" при такой могучей стоимости рубля!

Даже если вы, не дай Господи, захвораете, и то особой беды нет. Как известно, лечение в Эсэрии бесплатное и к вашим услугам – самая передовая в мире советская медицина. Правда, в тех бесплатных поликлиниках слишком тесновато и неудобно. Но ведь есть же к вашим услугам и закрытые поликлиники, где лечат и присматривают совсем по-божески. У вас же большой запас рублей (девять их прямо некуда – все стоит до смешного дешево!), и вы прямиком – туда. Ваши рубли мгновенно откроют вам закрытые двери в комфортабельные палаты.

А что уж говорить про совсем дармовую жилплощадь! Просто смех! Положенные вам восемь (или шесть) квадратных метров стоят копейки! Вы ожидали получения вашей комнаты, пожалуй, больше пятилетки, так теперь на цену вам наплевать. Живите и поживайте на своей шестиметровой территории и варите вашу говядину на коммунальной кухне (из расчета на пять, этак, семейств)!

Правда, изучая всеумудрое марксистско-ленинско-сталинско-хрущевско-брежневское учение, вы можете прочесть, что лидеры коммунизма некогда планировали создание государства без всяких денег (и без проблем вообще). Но тут уж, как видно, вожди дали маху. Поэтому не смущайтесь такими деталями и думайте о том, какие вы счастливые люди, если за вашим "счастьем" стоит могучий и неизменный советский Рубль!



А.ГОРДИН

★ СМЕХОТВОРЕНИЯ ★

История не вмещается в рамки сценария, который для нее написали великие мыслители, и все время порет отсебятину.

Первый акт революций: сливки общества и подонки общества меняются местами.

"Русский, немец и еврей..." – так обычно начинаются анекдоты, посвященные дружбе народов.

Жизнь была бы невыносимо скучной, если бы формы однообразного бытия не были столь разнообразны.

Его жизнь отравляли три организации: СС, КПСС и ОБХСС.

В фигуре редактора было что-то монументальное. Величественный и неподкупный, он, казалось, парил над окружающими, как Медный Всадник... без головы.

"Герои не умирают!" Зная об этом, люди часто стреляли, вешали и сжигали на кострах своих героев.

Л.Брежнев: – Бить или не бить? – вот еврейский вопрос!

Скромность украшает человека, и для многих она – единственное украшение.

Быть нормальным в ненормальных условиях – ненормально.

– Будь для меня Ильфом, а я буду твоим Петровым! – предложил однажды Иванов Сидорову.

Скромный и незаметный, как лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" в газете "Правда".

Афоризмы – жанр, который Музы придумали специально для лентяев, чтобы избавить их от писания статей и романов.

Что такое Свобода, Юность и Любовь, начинаешь понимать лишь тогда, когда теряешь их.

Одним фактом своего существования Талант постоянно унижает Посредственность.

Сальери отравил Моцарта, но будем справедливы к бедному Сальери: ведь и Моцарт отравлял ему существование.

Эволюция коммунизма: от утопии к науке и от науки к анекдоту.

Что же мы знаем о коммунизме?

Его темное прошлое, мрачное настоящее и светлое будущее. Впрочем, о будущем коммунизма мы не знаем ничего. Это, как говорится, дело темное.

Соккрытие правды – самая безопасная техника лжи.

Артель "Вершины коммунизма" имени Героя социалистического труда товарища Сизифа.

Только в государстве-тюрьме желание граждан покинуть страну может рассматриваться как попытка к бегству.

– Нет, мы пойдем иным путем! – сказал юный Ленин, и перед его пророческим взором уже тогда стояли колхозы, психолечебницы и концлагеря.

Кому на Руси жить хорошо?

– Коммунисту, аферисту и интуристу.



ВНИМАНИЮ АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА:

Редакция "Современника" намерена в следующем номере отметить столетнюю годовщину со дня смерти великого русского поэта НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА. Всем материалам, связанным с этим именем, будет отдано предпочтение при публикации на страницах нашего журнала.





БИБЛИОГРАФИЯ

ОЛЕГ БУКОВ. А.Авторханов. Загадка смерти Сталина (Заговор Берия). Франкфурт на Майне, "Посев", 1976.

Автор книги заслуженно известен как один из самых влиятельных советологов. Отличное знание советской истории и марксизма, в сочетании с острым аналитическим умом и талантом великолепно-го рассказчика — таковы основные слагаемые его писательского дара. Перечисленные качества полностью проявились в книге "Загадка смерти Сталина".

В аннотации издательства "Посев" сказано, что книга эта "читается как криминальный роман". Что правда, то правда! Не всякий сюжет Агаты Кристи может соперничать по степени захватывающего интереса с теми интригами кремлевских заправил, которые с ювелирной точностью анализирует А.Авторханов. Прекрасно даны портреты как самого Сталина, так и его "сподвижников": Берия, Хрущева, Маленкова, Жданова; детальнейшим образом прослежены зловещие пути и перепутья, по которым двигались в направлении власти (или к гибели своей) те или иные "водители". Отлично сбалансирована в книге Авторханова мера политического анализа и динамичного рассказа.

Писать историю советского общества в наше время — задача чрезвычайно трудная. Порой почти невозможно докопаться до подлинных источников; не менее тяжело пробиться сквозь дымовой занлон фальсификаций, намеренно искажающих факты гипотез, просто через оболванивающий и до ужаса настойчивый пропагандистский вал. Имея дело со всеми этими проблемами, Авторханов с поистине виртуозной логикой вскрывает многое из того, что лежит подспудно в основании иных событий, остающихся так и не расшифрованными для поверхностных наблюдателей. Даже мельчайшая деталь, психологический штрих миниатюрного, казалось бы, значения, обретает вес, попадая в сферу его анализа. В этом отношении Авторханов, пожалуй, один из самых лучших специалистов по советской истории, на голову выше многих своих западных коллег.

Приведем лишь один пример. В книге Авторханова цитируются воспоминания бывшего посла Индии в СССР К.Менона о встрече со Сталиным 17 февраля 1953 года, т.е. за полмесяца до смерти Сталина. Индийский посол обратил внимание на то, что во время разговора с ним диктатор машинально рисовал на листках своего блокнота волков, с которыми, как он пояснил Менону, русские крестьяне умеют очень хорошо расправляться. Деталь весьма живописная сама по себе; журналист средней руки не преминул бы ее использовать просто в качестве штриха, эффектного и запоминающегося.

Именно так поступает, к примеру, Жорж Бортоли в книге "Смерть Сталина". Описав данный эпизод, он заключает: "Со своими желтыми глазами и грубоватыми манерами, Сталин был одновременно и волком и крестьянином".

Неплохо сказано? – Очень неплохо. Впечатляет? – Безусловно. Но не более того... В книге же Авторханова эта деталь искуснейшим образом вплетается в блестящий разбор обстоятельств борьбы между Сталиным и партийными олигархами, которых он собирался ликвидировать. И Авторханов не просто "смакует" любопытную деталь, а подводит читателя к выводу политико-психологического свойства. Сталин, – пишет он, – "как бы комментируя собственные рисунки... заметил, что крестьяне поступают мудро, уничтожая бешеных волков! Сталин, конечно, думал не о своем визави и не о его, ненавистном Сталину, шефе Неру, а о "бешеных волках" из Политбюро" (А. Авторханов. Загадка смерти Сталина, стр. 197-198).

Русские читатели вправе гордиться, что именно на русском языке появилась в свет книга столь высокого уровня, который не по плечу многим, весьма именитым, западным экспертам по Советскому Союзу. К числу ее интереснейших страниц относятся главы, посвященные как самим обстоятельствам смерти Сталина, так и последующей борьбе за власть между Берия и Хрущевым. Авторханов вскрывает при этом любопытную закономерность советских политических трансформаций. Подчеркнув, что Хрущев своей "десталинизацией" на XX съезде КПСС сделал то, что Берия хотел сделать сразу после смерти Сталина, отметив, что "никакой собственной программы... у Хрущева не было" (Указ. соч., стр. 253), Авторханов невольно заставляет нас вспомнить, что так же в свое время сам Сталин, бывший на словах главным "обличителем троцкизма", использовал в своей практике самые очевидные элементы троцкистской доктрины. История повторяется, а на стезе лицемерно-гнувной советской политики она повторяется особенно уродливо!

Со всем ли в книге А. Авторханова можно согласиться? Нет, конечно. Есть в ней отдельные неувязки и шероховатости. Так, на стр. 105, говоря о замене Булганина на посту министра вооруженных сил СССР Василевским, Авторханов характеризует последнего как бесцветную личность. В данном контексте это довольно странное противопоставление; похоже, что Авторханов считает Булганина чем-то бблшим в качестве военного, нежели маршал Василевский. На деле, разумеется, Василевский, хоть и не сопоставимый с Жуковым или Рокоссовским, является все-таки профессиональным военным, не в пример "случайному маршалу" – Булганину. (Кстати, на стр. 154 сам Авторханов наделяет Булганина тем же самым эпитетом – "бесцветный").

Думается, что Авторханов несколько переоценивает факт терминологических изменений в обозначении поста секретаря КПСС после девятнадцатого съезда 1952 года, видя в этом ослабление ро-

ли Сталина. Как известно, диктатор мог позволить себе иной раз отказаться от лишнего титула. Ведь никого, например, не обманывает то обстоятельство, что в тридцатые годы Сталин не имел поста Председателя Совнаркома. Полнота его власти отнюдь не уменьшалась вознесенным на этот пост ничтожеством — Молотовым. То же самое можно сказать и в связи с деятельностью Маленкова на посту секретаря ЦК в 1952-53 годах. Умозаключения Авторханова в данном пункте кажутся натянутыми.

Однако на фоне общего впечатления от книги "Загадка смерти Сталина" отдельные неувязки являются мелочами микроскопическими. Книга Авторханова — событие в исторической литературе и публицистике. Нельзя сказать, что прочтя ее, мы думаем: все было именно так, как объясняет автор, на сто процентов. Но гораздо важнее, что мы приходим к выводу: пожалуй, процентов на девяносто так оно могло быть!

К. АКУЛА. Юзеф Мацкевич. Не нужно громко говорить. Париж, Изд. "Литературный институт", 1969 г., 560 стр. (На польском языке).

Для наших читателей, владеющих польским языком, не является секретом то, что существует большая и весьма интересная польская (межуарная и художественная) литература, посвященная войне 1939-1945 гг. Книгу одного из виднейших польских писателей Юзефа Мацкевича по праву можно поставить на одно из первых мест в этой литературе.

Действие книги охватывает период от начала советско-германской войны, заканчиваясь изображением немецких лагерей для военнопленных, где оказались варшавские повстанцы — бойцы Армии Крайовой (АК). Автор нарисовал широкую панораму. Среди его персонажей — реальные исторические лица и вымышленные герои. Эпизодично выступают в ходе повествования лидеры Райха, вооруженных сил, гражданской администрации Германии и оккупированных территорий; советские, английские и другие военно-правительственные деятели. Стержнем повести (жанр, как замечает сам автор, — условный) являются действия польской разведки (под кодовым обозначением "Вахляж") и АК на территории Белоруссии и Литвы.

Автор рельефно изобразил то, что делалось на верхах правящих сил союзников. Это одна сторона войны. Другая же — и в этом основа повести — усилия польских разведчиков в борьбе с гитлеровским военным Молохом. Здесь же показаны попытки красной Москвы организовать в Белоруссии партизанское движение. Польские разведчики и АК действуют по приказам эмигрантского правительства в Лондоне и потому стоят перед неразрешимой дилеммой: они должны помо-

гать "союзникам наших союзников" — значит, своим врагам — красным партизанам, либо отказаться от выполнения приказов своего правительства и тем самым сыграть на руку главному врагу — гитлеровской Германии.

Агентов разведки ("Вахляжа", КГБ, Абвэра и др.) тут масса — не менее, чем в романах о пресловутом "007" — и один другого старается перехитрить. На этой основе автору удалось хорошо показать агонию поляков в борьбе. Каков выбор? Слушаться своего правительства и сотрудничать с красной Москвой на свою же погибель? Это Сцилла и Харибда. В конце концов большевики ликвидируют польское Сопротивление, направленное против немцев, ибо на хребет ему влезал Сталин.

Еще одна, изображенная Мацкевичем, сторона войны — это междоусобица национальных меньшинств. Прибалтийцы, поляки, белорусы, русские, казаки, — все они, даже перед лицом страшной опасности со стороны Москвы, борются между собой. Дело доходит до вооруженных конфликтов, убийств, шантажа. Нет только одного — сотрудничества. Все попытки сплотить силы в общей борьбе кончаются крахом. Автор рисует процесс возникновения РОА под командованием генерала Власова ("слишком поздно!"); его нечеткую идеологическую программу ("Россию могут победить только сами русские!") и гитлеровскую нетерпимость, о которую разбились попытки некоторых германских деятелей и представителей подневольных народов организовать общее сопротивление красной Москве.

Мацкевич с большой симпатией относится ко всем поработанным народам. Конечно, читатель может спросить: а как он обходится с исторической правдой? Ответом на это будет встречный вопрос: как он освещает политические устремления народа, из среды которого вышел сам, т.е. белорусского народа?

Под разными именами его персонажи действуют в Минске, Витебске, в Полоцке, а "Вахляж" достигает даже глубоких немецких тылов. Автор неоднократно подчеркивает, что все эти земли — территории бывшей Речи Посполитой. Видимо, Мацкевич является сторонником отжившей и нереальной политики т.н. "моцарствовости" (своего рода 'Drang nach Osten') Польши на Востоке.

На стр. 494 мы читаем: "Генеральный Комиссар Белоруссии СС-группенфюрер, генерал-лейтенант фон Готберг полагал, что уже ничто не имеет значения. Махнув рукой, он согласился, ни с кем не посоветовавшись, на проведение "Второго Белорусского конгресса", который должен был быть повторением "Первого", проведенного в 1918 году и, так сказать, предначертывшего суверенность Белоруссии. 27 июня (1944 г. — К.А.) в Минск съехалось 1039 делегатов".

Мацкевич снисходительно сравнивает Второй Белорусский Конгресс, относительно исторического значения которого нет согласованного мнения и теперь среди белорусских национальных историков, с Первым Всебелорусским Конгрессом, который состоялся в Минске в декабре 1917 года и который эвентуально привел к провозглашению

независимой Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года.

Безусловно, для создания независимого государства Первый Всебелорусский Конгресс имел решающее значение. Новое государство признали тогда де-юре балтийские страны, Финляндия, Украина, Турция и Чехословакия. А что же делала Польша?

Три года назад мне довелось перечитывать копии многих документов британского "Форин Оффис". Эти документы показывают стремление правительства Белорусской Народной Республики завязать контакты с Англией, чтобы добиться дипломатического признания его. Контакты осуществлялись преимущественно через Ригу, Таллин и Копенгаген, в частности, при помощи еврейских деятелей "Бунда", представители которого входили в правительство БНР. Меня тогда, перечитывавшего эти документы, поразили настойчивые усилия (это была настоящая дипломатическая война) польских деятелей везде, где только можно, срывать белорусские планы. Хорошо знакомый с белорусскими политическими устремлениями, Мацкевич, видимо, остается верным идее польской экспансии на Востоке. А, может быть, о невыгодной правде "нельзя говорить громко"?

Мацкевич впечатляюще изобразил своего рода "еврейский Армагеддон", т.е. положение евреев в период войны. В частности, им дана сцена ликвидации поезда с евреями в Панарах (около Вильно) немецкими и латышскими спецкомандами — это одно из самых потрясающих по силе художественного изображения описаний.

Когда в будущем подневольные ныне народы встанут на свои ноги, создав новую жизнь, тогда многие проблемы, затронутые в книге Мацкевича, будут разрешены сами собой в направлении общей благой цели. Отрадно, что и на родине, и в эмиграции виднейшие русские и польские диссиденты-мыслители сделали на этом пути первые шаги. Талантливая книга Мацкевича — одно из тому свидетельств.

АЛЕКСАНДР ГИДОНИ. Советские издания *Мастеров Поэзии*. (Анна Ахматова. Стихи и проза. Л., 1976. Валерий Брюсов. Собрание сочинений в семи томах. М., 1973-75. Евгений Евтушенко. Избранные произведения в двух томах. М., 1975).

Явление больших мастеров большой литературы — вещь сама по себе значительная, независимо от того, имеет ли читатель дело с безупречно академическими изданиями или с книгами, более рассчитанными на широкую публику и не ставящими перед собой цели дать полное представление об их авторах. На советских изданиях Ахматовой, Брюсова и Евтушенко лежит двойственная печать — с одной стороны, хорошего во многом вкуса, известной добросовестности в комментариях, неплохого оформления, а с другой — типичного для

советских условий стремления к фальсификации, грубо тенденциозному нажиму на читательское сознание, цензурированному тексту и посттексту. Можно негодовать на такую ответственность, можно ее хлестко констатировать, но, в общем-то, делая скидку на советскую специфику, хочется сказать: "спасибо и на этом!"

Сначала об Ахматовой. Годы ждановской травли ее ныне кажутся эпохой исторической. Ахматова — одна из великих поэтесс русской литературы, связующее звено между такими именами, как Марина Цветаева, Зинаида Гиппиус и блестящей плеядой современных советских поэтесс Беллы Ахмадулиной, Новеллы Матвеевой, Юнны Мориц и других. (Мы говорим в данном случае не о "похожести" формальной, а о масштабности дарований в цепочке женских имен, запечатленных панорамой русской и советской поэзии). Но место Ахматовой особое еще и потому, что, хронологически вписываясь в историю советской литературы, не принадлежа к эмиграции ни полностью (как З.Гиппиус), ни большей частью своей жизни в послереволюционное время (как М.Цветаева), Ахматова была в постоянной "внутренней эмиграции" по отношению к советскому режиму.

Поэтому официальным изданиям ее стихов в Советском Союзе, равно как и комментариям, сопровождающим эти стихи, особенно доверять не приходится. Любопытная деталь: в рецензируемой нами книге, наряду со стихами, помещены весьма интересные ахматовские эссе о Пушкине, воспоминания о Блоке, Модильяни, Михаиле Лозинском. Они сопровождаются комментариями и примечаниями. К стихам же никаких примечаний нет. И не случайно! В самом деле, как могли бы советские литературоведы объяснить ахматовские инвективы и намеки, наплывы образов жестокого времени и скорбных теней Гумилева и Мандельштама? Все это есть в стихах поэтессы, но это официально не существует для советских комментаторов. И, право же, оно к лучшему, что обошлось на этот раз без рекордов лицемерия и демагогии, подобных тем, кои достигнуты в советском издании О.Мандельштама, искаженного блудливым Дымшицем!

Впрочем, хоть и не в такой степени, как Дымшиц, но автор вступительной статьи "Об Анне Ахматовой" Д.Т. Хренков не мог удержаться от фальсификаций, когда пытается уверить читателей, что Ахматова была чуть ли не "согласна" с травлей ее во времена ждановщины и что на подобных испытаниях судьбы она, мол, "училась политической мудрости" (стр. 7 рецензируемой книги).

Зарубежный русский читатель имеет возможность знать Ахматову полнее и глубже, чем советский, однако познакомиться с ленинградским изданием Ахматовой 1976 года все-таки полезно и для него.

Гораздо более весомым подарком советскому книжному рынку, чем сборник стихов и прозы Ахматовой, является семитомник Валерия Брюсова, начатый изданием к столетию со дня рождения поэта. Как известно, слава Брюсова, зная и расцветы свои и закаты, в целом выдержала испытание временем; сейчас его репутация классика русской поэзии бесспорна. (Не желая вступать в полемику с теми,

кто до сих пор отказывает Брюсову в признании его заслуг как истинного поэта, адресуя их к тому, что является, на мой взгляд, одним из лучших толкований Брюсова, причем в сжатой форме. Именно — к рецензии Романа Гуля на книгу К. Мочульского "Валерий Брюсов", воспроизводимую в "Одвуконъ", 1973 г., стр. 312—315).

Брюсовский семитомник включает в себя значительную часть стихотворных произведений — от юношеских сборников периода декаданса до "научной поэзии" и риторически-советских стихов позднего Брюсова. Очень неплохо представлен в издании Брюсов в качестве историка, критика и литературоведа (интересны и многие комментарии в этом плане). Настаиваем на особой важности знакомства читателей с брюсовским литературно-критическим наследием — оно помогает лучше понять специфику брюсовского таланта, его холодновато-блестящее горение. Брюсов часто мыслил о поэзии лучше, чем мыслил поэтически, и это многое определяло в его стихах.

Отрадно, что в семитомнике представлена художественная проза Брюсова: роман "Огненный ангел" — одна из лучших стилизаций в мировой литературе; его романы "древнеримского" цикла "Алтарь Победы" и "Юпитер поверженный", заслуживающие глобокого внимания современного читателя, как вещи, во многом блестящие. Исключительно интересны шестой и седьмой тома издания, где воспроизведены критические работы Брюсова, его "Пушкиниана", "Статьи об армянской литературе", книга "Учители учителей" с ее грандиозной исторической панорамой и ретроспекцией.

Но, при всем этом, весьма значительны недостатки юбилейного издания. Совершенно не представлен Брюсов как переводчик. Автор предисловия к семитомнику, маститый советский поэт Павел Антокольский признает, что издание сочинений Брюсова "далеко не полное" (спрашивается, а почему бы не издать "полного" — к столетию — Брюсова? Или не заслужил?). Однако, если призадуматься, то многое станет понятным. Во-первых, как не подтягивай брюсовское творчество в убогую схему "эволюции от символизма к реализму", никуда от его символизма — вещи не слишком приятной для советских литературоведов — не деться. Во-вторых, писал Брюсов кое-что и совсем уж "нежелательное" (вроде как Горький, ругавший большевиков в 1917 году). Так, совершенно ясно, что читатель не найдет в советском семитомнике блистательной статьи Брюсова, в которой он начисто разгромил Ленина с его пресловутой "Партийной организацией и партийной литературой", предсказав жуткую тиранию партийных догм в искусстве в случае захвата власти большевиками. Одна эта статья извиняет Брюсова за многое, что он позволил себе после свершившегося в семнадцатом году "захвата"...

И, наконец, двухтомник Евгения Евтушенко. Крупнейший советский поэт середины века представлен в нем стихами, которые, как сам Евтушенко говорит в предисловии, он впервые расположил, "придерживаясь хронологического принципа". И стихи, и поэмы Евтушенко отмечены той школой формального мастерства, которую он сумел

развить, не взирая на все препоны, ставившиеся ему официальной советской критикой. Достижения евтушенковской поэзии сейчас уже спора не вызывают в сущности. Спор идет о политической позиции Евтушенко, которая во многом является контрастом его высокому бытию поэта "Божьей милостью". Советский режим использует литературный авторитет Евтушенко в своих пропагандистских целях и за это даже прощает ему известное "фроньерство", дает позволение на формальный изыск, разрешает некоторую дозу оппозиционности. Однако, если режим использует Евтушенко, то и сам Евтушенко использует режим. Поэзия же его, содействуя повышению уровня литературного мастерства, утверждая те "абстрактно-гуманистические" принципы добра, человеческой самооценности, индивидуальной раскованности, которые столь долго отбрасывались партийной догмой, играет в общественно-литературной жизни современной России огромную и полезную роль.

Двухтомник Евтушенко не включает многих его стихов, как распространявшихся в рукописи, так и напечатанных некогда, но слишком уж "неудобных" для власти по ряду причин: нет его "Наследников Сталина", "Памяти Есенина", "Бабьего Яра", "Мосовощторга в Париже" и др. Имеется и кое-какая правка в отдельных стихах в сторону их "смягчения". В целом, однако, двухтомник неплохо показывает развитие евтушенковской поэзии за двадцать лет, начиная со времени его литературного дебюта в 50-х годах.

Очень хочется отметить с благодарностью и то умное определение самого понятия "поэт", которое дает Евтушенко в предисловии к двухтомнику. Цитируем эту его "заповедь" целиком:

"Мне часто пишут письма начинающие поэты и спрашивают: "Какими качествами надо обладать, чтобы сделаться настоящим поэтом?" Я никогда не отвечал на этот, как я считал, наивный вопрос, но сейчас попытаюсь, хотя это, может быть, тоже наивно.

Таких качеств, пожалуй, пять.

Первое: надо, чтобы у тебя была совесть, но этого мало, чтобы стать поэтом.

Второе: надо, чтобы у тебя был ум, но этого мало, чтобы стать поэтом.

Третье: надо, чтобы у тебя была смелость, но этого мало, чтобы стать поэтом.

Четвертое: надо любить не только свои стихи, но и чужие, однако и этого мало, чтобы стать поэтом.

Пятое: надо хорошо писать стихи, но если у тебя не будет всех предыдущих качеств, этого тоже мало, чтобы стать поэтом, ибо

Поэта без народа нет,
Как сына нет без отчей тени. "

"Отчая тень" любви к России, к поэзии и свободе всегда витала над творчеством Евтушенко и в этом его лучшее оправдание, вопреки всему.

ЮРИЙ ГРИГОРОВ. "Голос Зарубежья" (№ 4–6). Мюнхен, 1977 г.

Новейшие по времени номера журнала "Голос Зарубежья" содержат много чрезвычайно интересного материала, хотя далеко не все в этих номерах может удовлетворить читателя. Как всегда, блестящи по форме и содержанию статьи В. Пирожковой. В номере четвертом она дает великолепный разбор идеологии левых диссидентов, выступивших со сборником "СССР – демократические альтернативы". Подвергнув критике методологию их исторически-философского мышления, она убедительно вскрывает несостоятельность неомарксистских рецептов преобразования общества. Статья В. Пирожковой имеет характерное название "Народный фронт" в эмиграции из СССР": показав духовное родство социологических построений В. Белоцерковского, до ужаса примитивного Л. Плюща, претенциозного Левитина-Краснова с теорией и практикой тоталитаризма, В. Пирожкова обращается с призывом к русской эмиграции не забывать об опасности коммунистической пропаганды, принимающей порой утонченные формы вроде бы "чистого" интеллектуализма или мнимогуманистической проповеди. Призыв как нельзя более своевременный и полезный.

Очень хороша небольшая рецензия В. Пирожковой на брошюру Д. Панина "Вселенная глазами современного человека", так же, как и посвященная памяти С.Л. Франка ее статья "Ересь утопизма" (в пятом номере журнала). В шестом номере "Голоса Зарубежья" она представлена короткими полемическими репликами, в которых все же – по принципу – "словам тесно – мыслям просторно", проявляется прирующий ей дар выразительного и острого анализа.

Из числа материалов других авторов, вызывающих нашу симпатию, укажем на доклад Николая Лобковица "Религиозный элемент в обществе, достойном человечества" (номера 4-5 журнала), очерк по истории и этнографии Вьетнама Епископа Нафанаила (№ 4), статью Альфонса Дальма "На марксистском небе бунтуют ангелы" – о французских философях, порвавших с марксизмом, статью Димитрия Панина "О гуманистическом Манифесте – II" – в номере шестом.

Нельзя не приветствовать перепечатки журналом "Голос Зарубежья" отличной по духу и стилю статьи польского автора Иосифа Мацкевича "Дело не в средствах, а в принципе", а также разбора (и справедливо "разноса") Игорем Синявным пресловутого сборника "Аполлон – 77" (И. Синявин. Путуги сатанизми. – №6 журнала).

Во многом хороша статья Анатолия Михайловского "Не "Иваниана", а "Яновиана", представляющая собой критику концепции русской истории Александра Янова.

Однако, упомянув имя А. Михайловского, мы тем самым затрагиваем вопросы, по которым приходится полемизировать и порой весьма решительно. Публикации этого автора проникнуты духом столь воинствующего шовинизма, что это полностью заслоняет отдельные достоинства его как публициста широкого диапазона и неплохой эрудированности. Если в его разборе книги "Русская религиозно-философ-

ская мысль XX века" имеются справедливые тезисы, попадаются убедительные реплики критического характера (в адрес, например, Т. Пажмусс), но статьи "О "русском империализме" (№5), "О "заявлении по украинскому вопросу" (№6) переполнены грубыми выпадами против национальных идей, без существования которых в современном мире серьезная оппозиция коммунизму просто немыслима. Исторические и логические увертки, софизмы встречаются на каждом шагу. Статья Михайловского "Русская идея в наше время" — это просто сумбурно-славянофильская риторика с выпадами против Бердяева и произвольными историко-логицистскими пассажами.

В №6 "Голоса Зарубежья" помещена статья Е. Вагина "Историческая преемственность в советской оппозиции". Рассказывая в ней о судьбе подпольной организации "ВСХСОН", о ее программе, Вагин отнюдь не всегда верен истине. Так, видимо, применяясь к "модным" настроениям, он отрицает существование насильственных целей у социал-христиан. Между тем, беда организации ВСХСОН заключалась совсем не в стремлении ее свергнуть насильственным путем советский режим. Это как раз было хорошо. Виновны социал-христиане в другом: прежде всего, в легкомысленной конспирации, а, во-вторых, в малодушном поведении на следствии, о чем свидетельствует даже апологетическая по отношению к социал-христианам книга "ВСХСОН" (Париж, 1975, стр. 100, 118, 162, 177).

Литературные обзоры в "Голосе Зарубежья" по-прежнему ведет Владимир Рудинский. Мы уже говорили о нем в "Современнике" как о прекрасном журналисте и сейчас готовы повторить это, делая упор на профессиональном аспекте данной оценки. Но скажем честно: если обычно нам нравятся, как и пишет Рудинский, то очень часто в нас вызывает протест — что он пишет. Никак не убеждают нас его чрезмерно "форсированные" обвинения против З.А. Шаховской и газеты "Русская Мысль" в целом. Невозможно согласиться с ним, будто анализ позиции Сантьяго Каррильо равнозначен восхвалению испанской компартии. Совершенно очевидно, что еврокоммунизм в современной ситуации лучше ортодоксального советизма каких-нибудь Куньяла или Живкова. Если "Русская Мысль" рассуждает о еврокоммунизме под таким углом зрения, в этом нельзя усматривать ее переход "на платформу еврокоммунизма", как утверждает В. Рудинский. Конечно, в п р и н ц и п е нам, антикоммунистам, неприемлемы любые коммунистические доктрины, в том числе и персонифицированные в Берлингуэре или Каррильо. Но ведь ни З.А. Шаховская, ни ее сотрудники в "Русской Мысли", насколько нам известно, никогда и не заявляли о своей п р и н ц и п и а л ь н о й поддержке еврокоммунизма.

В. Рудинский пишет так, как и должен писать настоящий журналист. Стиль его ярок и темпераментен — это не бесцветный язык анемичного Терапиано из той же "Русской Мысли". Но и красота стиля не избавляет от забот о справедливости...

Полемизуя с нами, В. Рудинский ратует за морализирующую

критику, упрекая нас в тенденции к эстетизму. Что ж, признаемся: в суждениях об искусстве и литературе мы предпочитаем эстетический подход к эстетическим явлениям той нормативистско-просветительской манере, которую (на наш взгляд, с ущербом для своего же журналистского таланта) защищает В.Рудинский. У американской поэтессы Дороти Паркер было отличное четверостишие:

«В раю Прекрасную Елену
Узрит любивший вдохновенно,
А всем, любившим осторожно,
В раю зреть Джона Нокса можно».

Для нас "рай искусства" воплощается в Прекрасной Елене. Впрочем, Джон Нокс был вполне почтенным человеком и в свое время не без оснований уличал в грехах Марию Стюарт. Почему-то, правда, людей искусства грешная королева привлекала всегда больше, чем образ праведного Джона Нокса. Не стоит ли задуматься над этой "вызывающе эстетской" аналогией Владимиру Рудинскому?

И еще — о некоторых приемах его полемики. Коснувшись в своем разборе "Современника" книги Александра Гидони "Солнце идет с Запада", В.Рудинский, обвинив автора в "преклонении перед Западом", создает у читателя впечатление, будто стихи, посвященные Канаде (напечатанные в "канадском" отделе "Современника"), являются частью книги Гидони. — Эти стихи, — говорит В.Рудинский, — стоят "на нулевом художественном уровне" и выражают, дескать, "верно-подданнический порыв" автора. ("Голос Зарубежья", №6, стр.37).

Между тем, эти стихи не имеют никакого отношения к упомянутой книге А.Гидони. Более того, они ему не принадлежат и не могут принадлежать, поскольку для "канадского отдела" журнала "Современник" Гидони перевел на русский язык (впервые) текст... канадского национального гимна. В этой связи упреки В.Рудинского насчет "художественного уровня" данного текста звучат не очень тактично (да и присущая В.Рудинскому эрудиция его подвела). Мы отнюдь не усматриваем с его стороны какого-то злого умысла: заметим только, что "со стороны художественной" тексты "Марсельезы" или "Боже, Царя храни" — тоже не шедевры, но в национальных гимнах ищут обычно иные достоинства...

Подведем некоторые итоги нашего разбора трех последних номеров "Голоса Зарубежья". Несмотря на упреки, которые мы высказали по адресу отдельных авторов, публикующихся в журнале, мы по-прежнему рады констатировать, что в целом "Голос Зарубежья" является в высшей степени полезным изданием, верным своей благородной установке на борьбу с коммунизмом. Его место — в первых рядах идейного сопротивления силам зла и безбожия, и это безусловно обеспечивает журналу горячую поддержку всех людей оброй воли.

Рецензируемый номер "Континента" производит неоднородное, но в целом приятное впечатление. Здесь следует в первую очередь приветствовать его "ориентацию на дружелюбность" с влиятельным польским журналом "Культура", тридцатилетняя годовщина которого дала повод Редакции "Континента" предоставить много места в 12-ом номере польским авторам. И с полным основанием не только юбилейного свойства! Ибо стихи Станислава Баранчака (в переводах В. Бетаки), волнующие отрывки из документального повествования о политических процессах в Польше А. Стейнберговой, умнейшее по мысли и тону "Письмо друзьям" А. Хмелевской — все это публикации, которые для русского читателя полезны в высшей степени. Полезность эта увеличивается от сознания, что наконец-то русские журналы берут на себя инициативу в деле дружеского и конструктивного диалога со своими славянскими соседями на началах полного равноправия, без высокомерия и ретроградного шовинизма. Как говорится, в добрый путь!..

Настоящим украшением двенадцатого номера "Континента" является замечательная повесть Леонида Ржевского "Клим и Панночка". Это — маленький шедевр. В тех кусках повествования, которые относятся к жанру "анималистской прозы", Л. Ржевский достигает уровня купринского "Изумруда" и толстовского "Холстомера" ("Панночка" — это лошадь), но и в лепке человеческих характеров и ситуаций, в достоверной емкости деталей, в изящной формальной игре с "обнажением приема" и т.п. автор выше всяких похвал. Одним словом, повесть Л. Ржевского является своего рода сенсацией, причем сенсацией чисто литературного свойства, ибо уровень ее определяется не "важностью темы" или "модой", или беспроигрышным сюжетом политического характера, а уровнем писательского мастерства Леонида Ржевского.

К высокому классу художественной прозы относятся "Репетиция в пятницу" Анатолия Гладиллина, а также вторая часть книги Виктора Некрасова "Взгляд и нечто". Имена авторов заслуженно известны и в особых комментариях не нуждаются.

К сожалению, менее удовлетворяет нас Гелий Снегирев со своей книгой "Мама моя, мама..." (начало публикации в № 11 "Континента"). Говорим "к сожалению", ибо ничего не имея против тематики и намерений Г. Снегирева, мы испытываем чувство неловкости от его совершенно эпитонской манеры подражать стилю Солженицына. Конечно, Солженицын — весьма достойный образец, но нельзя же пересаливать... Это все равно, как читая в Советском Союзе стихи Петра Великого — абсолютного эпитона А. Вознесенского, приходилось краснеть, мысленно говоря: ну так уж нельзя, неловко как-то...

К слову, о стихах двенадцатого номера. Хороша подборка Виктора Некипелова; очень сильно написано стихотворение Н. Коржавина

"Что будет – будет... Мутен взгляд". Но зато его "Ностальгия" – предел безвкусицы и пошлости. Поражаешься тому, как можно было печатать это альбомно-скабрёзное упражнение. Пушкинское "Я помню чудное мгновенье" Н. Коржавин пропустил сквозь образ... дерьма, плавающего в море – такова структура его опуса. От него, действительно, впору впасть в "ностальгию"...

Из критических материалов можно отметить удачную статью Виолетты Иверни о прозе Булата Окуджавы, весьма пронизательный очерк итальянского писателя Родольфо Квадрелли "Другая" литература на Западе", острую и в большей части своей справедливую статью Ларисы Богораз "Мелкие бесы", критикующую роман Анны Герц "К вольной воле заповедные пути..."

Как всегда, богат библиографический отдел "Континента". Интересны многие публикации политического характера, в частности, интервью с польским диссидентом Адамом Михником и послесловие к нему, подписанное В. Буковским, Н. Горбаневской и В. Максимовым.



❖ КНИЖНАЯ ПОЛКА. ❖

ИГОРЬ АВТАМОНОВ. Грозди. Стихи. Поэмы. Сатира. Лос Анжелес, 1977.

В книге "Грозди" собраны стихи русского поэта, живущего в США. Тематика их весьма разнообразна: от стихотворений чисто лирических до исторических зарисовок и поэм. Многие из помещённых в сборнике стихов ранее публиковались в русско-эмигрантских изданиях.

ИВАН ЕЛАГИН. Под созвездием топора. Франкфурт на Майне, "Посев", 1976.

Объединённые в книгу стихи разных сборников выдающегося поэта русского Зарубежья дают читателю представление о глубокой содержательности и высоком формальном мастерстве Ивана Елагина – большого мастера лирики и сатирического гротеска, задушевной интонации и публицистической инвективы.

В.ИНГУЛ. В пути. Стихотворения. 2-я книга. Франкфурт на Майне, "Посев", 1975.

Стихи В.Ингула характеризуют гражданственность и стремление к поэтической исповеди. Идя в русле глубоко традиционной поэзии, стремясь откликнуться на многие современные проблемы, автор способен увлечь читателя искренностью своих переживаний и размышлений о жизни, о борьбе с черными силами деспотизма и варварства.

Н.КОРЖАВИН. Времена. Избранное. Франкфурт на Майне, "Посев", 1976.

Каждый, желающий получить представление о творчестве одного из талантливейших современных поэтов, должен прочесть книгу "Времена". В ней широко представлены стихи и поэмы Коржавина как "советского периода" его жизни, так и те, которые написаны им в эмиграции. Высокая культура стиха, страстность и острая полемичность – характерные приметы его поэзии.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ. Дар. Изд-во "Ардис", 1975.

В год смерти великого русского писателя В.Набокова особенно уместно обратиться к произведениям прекрасного мастера русской прозы. Роман "Дар", написанный Набковым в тридцатые годы, полностью соответствует представлению о нем как о виртуозе стиля и тонкого психологизма.

ЛЕОНИД СЕМЕНЮК. Канада и мы. Рассказы. Лондон (канадский), Изд-во "Заря", 1975.

Сборник рассказов Л.Семенюка привлекает хорошим чувством природы, которое демонстрирует автор. Его канадские зарисовки полны наблюдательности, интересных деталей, временами подлинного лиризма.

ВСЕВОЛОД ХОМИЦКИЙ. Третья книга пьес. Эмигрант Бунчук и другие комедии. Нью-Йорк, Издание Передвижного Русского Театра, 1975.

Отличный драматург и знаток театра, Всеволод Хомецкий представлен в третьей книге своих пьес известной комедией "Эмигрант Бунчук", а также более поздними вещами, весьма сценичными, остроумными и способными доставить истинное наслаждение читателю.



В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "СОВРЕМЕННОК".



В издательстве "Современник" вышел из печати новый сборник стихов ЭЛЛЫ БОБРОВОЙ "ЯНТАРНЫЙ СОК". (Поэмы, легенды, стихи разных лет). В книге пять разделов: "Земля-восторг", "Это было?..", "...Кто век свой ковал", Переводное – с английского, испанского, французского и немецкого).

Цена книги – 4 доллара.

Заказы просим направлять по адресу "Современника".

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

"Сказка о том, как смелые Снежинки помогли девочке Маринке",
Изд. "Леонелла", Торонто, 1961 г. 50 центов.

"Ирина Истомина", повесть в стихах,
Изд. "Современник", Торонто, 1967 г. 2 доллара 50 центов.

"Я чуда жду", стихи.
Изд. "Современник", Торонто, 1970 г. 2 доллара.



Издательство "СОВРЕМЕННОК" выпустило в свет книгу:

Н. и С. УЛЫБЫШЕВ-ВИЛЬДЕ. Стихи о родине и чужбине.
Цена книги – 2 доллара 50 центов.



На складе издательства "Современник" имеются экземпляры книги М.И.МОГИЛЯНСКОГО "Очерк истории Канады". Торонто, Изд-во "Современник", 1975. Цена книги – 10 долларов.



В издательстве "СОВРЕМЕННОК" готовится к печати книга избранной прозы ЛЬВА ФАБРИЦИУСА. В книгу войдут произведения разных жанров: роман, повесть, рассказы, очерки. Следите за объявлениями нашего издательства!





Издательство "СЛАВИЯ"

переиздает книгу В.В.ШУЛЬГИНА (330 страниц)

"ЧТО НАМ В НИХ НЕ ПРАВИТСЯ?"

(Диалог по еврейскому вопросу в России)

Главное представительство на Европу поручено конторе журнала
"ЧАСОВОЙ".

Цена книги (с пересылкой) – 10 долларов.

При предварительной подписке на книгу до 1 ноября с.г. – 10% скидки.

SLAVIA PRESS
P.O. Box 199, Woodbridge, N.Y. 12789
U.S.A.



КНИГИ ПОЧТОЙ:

Г.Климов – ИМЯ МОЕ ЛЕГИОН (роман) 10 долларов
Г.Климов – ДЕЛО Но. 69. Сатанистика 10 долларов
Г.Климов – КРЫЛЬЯ ХОЛОПА (Берлинский Кремль) 10 долларов
В.Шульгин – ЧТО НАМ В НИХ НЕ ПРАВИТСЯ (в печати) .. 10 долларов

Требуйте каталог:

SLAVIA PRESS
P.O. Box 199, Woodbridge, N.Y. 12789
U.S.A.



ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ"

Главный редактор – Виктор Перельман.

В Америке и Канаде проводится подписка на ежемесячный иллюстрированный журнал литературы и общественных проблем
"ВРЕМЯ И МЫ"
на 1977 и 1978 год.

Вышло 22 номера журнала, в которых опубликованы: Артур Кестлер "Тьма в полдень" (впервые на русском языке), Олдос Хаксли "Счастливый новый мир" (впервые на русском языке), Виктор Некрасов "Персональное дело коммуниста Юфы" (рассказ о травле человека, задумавшего уехать из России), Виктор Перельман "Гайд-Парк при социализме" (воспоминания бывшего корреспондента "Литературной газеты"), Андрей Синявский "Я" и "Они" (публицистика одного из крупнейших писателей русского зарубежья), Зиновий Зинник "Извещение" (повесть о судьбе иммигранта из России), "Прага 21 августа" (воспоминания бывшего офицера по делам печати президента Чехословакии Людвиг Свободы), Мария Иоффе "Начало" (воспоминания одной из близких соратниц Троцкого), Борис Суварин "Ленин и Солженицын" (анализ книги "Ленин в Цюрихе" с исторической точки зрения), Владимир Марамзин "Человек, который верил в свое особое назначение" (сексуальная Одиссея советского человека), Фаина Баазова "Прокаженные" (37-ой год в Грузии), Зинаида Шаховская "Третья эмиграция" (диалог главного редактора газеты "Русская Мысль" Зинаиды Шаховской с главным редактором журнала "Время и мы" Виктором Перельманом) и другие.

Стоимость подписки в США и Канаде на год: 39,20 долларов, на полгода: 19,60 долларов. Заказы высылать по адресу:

Nachmany Str., 62, Tel Aviv, 'Time and Us'
Israel

В заказе указать, с какого номера высылать журнал, по какому адресу и приложить чек на соответствующую сумму.

АНОНС – АНОНС – АНОНС

В следующих номерах "Современника" будут публиковаться, в числе других материалов:

Продолжения – книги ЛЕОНАРДА ГЕНДЛИНА "Расстрелянное Пятидесятилетие", "Поэмы без Предмета" ВАЛЕРИЯ ПЕРЕЛЕШИНА, романа ЛЬВА ФАБРИЦИУСА "Возврат".

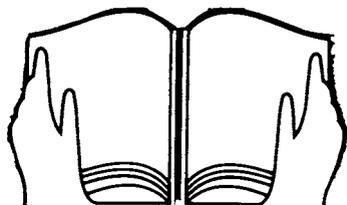
В разделе "Ф о р у м": статья АЛЕКСАНДРА ДОБРОВОЛЬСКОГО "Марксизм. – Теория и практика."

В разделе "Л и т е р а т у р н о е Н а с л е д с т в о" – Автобиография ДМИТРИЯ КЛЕНОВСКОГО.

Рассказы и очерки: С.МЮГЕ, Л.НИКОЛЕНКО, П.ПЕТРОВА и других авторов.

Стихи и переводы: М.ВОЛКОВОЙ, В.ВОРОНЦОВСКОЙ, Е.ДИМЕР, Р.КРАСИЛЬЩИКОВОЙ, Т.ФИЛАНОВСКОЙ и других.

Статьи и публикации: А.ДРУЖИНИНА, Е.КУЛЕШОВОЙ, Г.ПАНИНА, Т.ПАХМУСС, В.САМАРИНА, А.ЦВЕТИКОВА.



О Г Л А В Л Е Н И Е

Содержание на английском языке	3
Памяти А. Н. ЦВЕТИКОВА	5
ИГОРЬ ЧИННОВ. Восемь стихотворений	7
Л. ГЕНДЛИН. Расстрелянное Пятидесятилетие	11
М. МЮЛЛЕР-ГЕННИНГ. Стихотворение	49
Л. РОССАЛИАНИ. Такова жизнь. Рассказы	50
О т Р е д а к ц и и	65
ВЛАДИМИР КАЗАКОВ. Стихи	66
ЛЕВ ФАБРИЦИУС. Возврат. Р о м а н	68
А. ГИДОНИ. Стихи разных лет	98
Е. ЦВЕТКОВ. Через две тысячи лет. Р а с с к а з	106
В. ПЕРЕЛЕШИН. Поэма без Предмета	127
АЛЕКСАНДР ГИДОНИ. Жаркие дни Потьмы. О ч е р к	154
А. ВЕЛИЧКОВСКИЙ. Стихи	171
В. СЕДУРО. Солженицын и традиции полифонического романа Достоевского. (<i>Окончание</i>)	172
Г. РУМЯНЦЕВА. Два стихотворения	179
БОРИС НАРЦИССОВ. Желтоволосый отрок	181
БОРИС НАРЦИССОВ. Хлороформ. Карты. (С т и х и)	192
А. ДРУЖИНИН. История на страницах "Континента"	194
Н. АРСЕНЬЕВ. О "цветении" русской культуры в начале двадцатого века	211

Л и т е р а т у р н о е Н а с л е д и е

ВЛАДИМИР КАЗАКОВ. Зудесник	218
ГЕННАДИЙ ПАНИН. Встреча с Ахматовой	221

Ф О Р У М

А. ШИФРИН. Концлагеря смерти	224
Л. ФАБРИЦИУС. Заметки Редактора	226
Г. ГАЛИН. Сквозь призму времени	229
Н а ш и и н т е р в ь ю (Беседы с УЛАСОМ САМЧУКОМ и с КАСТУСЕМ АКУЛОЙ)	240
В. ИНГУЛ. Ивы. Стихотворение	250
Из редакционной почты (Н. ТЕТЕНОВ и А. СКУРАТОВ)	251
П о л е м и к а, (С. МЮГЕ. Потенциальная утопия. В. И. Об одной утопии. Ответ А. ДРУЖИНИНА)	256

Х р о н и к а 265
"Октябрьщина" (Г. ГАЛИН, К. АКУЛА, А. ГОРДИН) 266

Б и б л и о г р а ф и я

Олег Буков. А. Авторханов. Загадка смерти Сталина. *К. Акула*. Юзеф Мацкевич. Не нужно громко говорить. *А. Гидони*. Советские издания Мастеров Поэзии. *Юрий Григоров*. "Голос Зарубежья" (№ 4-6). *Виктор Темин*. "Континент" № 12, 1977 г. *Книжная Полка* – стр. 271–284

О б ъ я в л е н и я 285–288
Содержание номера на русском языке 289

О т Р е д а к ц и и.

По техническим причинам публикация пьесы Петра Балакшина "Гости с корабля" переносится в следующие номера журнала.



Подписывайтесь на журнал "СОВРЕМЕННОК"! Пишите нам, содействуйте распространению этого независимого журнала русской культурной и национальной мысли. Если можете, то оказывайте журналу материальную помощь. Помните, что это – Ваша помощь развитию и сохранению традиций великой русской литературы! Любая посильная помощь и вклад в наше общее дело будут с благодарностью приняты.

\$5.00

ISSN 0038 – 5948

Издательство и Редакция :

**Sovremennik Publishing Association Incorporated
9 Garnet Ave., Toronto, Ontario, Canada M6G 1V6**